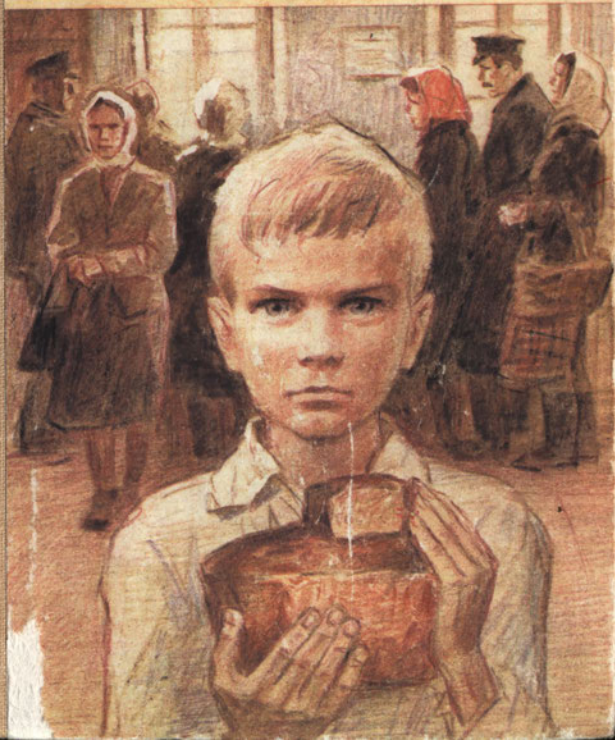


МИХАИЛ КОЛОСОВ • ТРИ КУЛЯ ЧЕРНЫХ СУХАРЕЙ

МИХАИЛ КОЛОСОВ  
**ТРИ КУЛЯ  
ЧЕРНЫХ СУХАРЕЙ**

Д



90 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»









МИХАИЛ КОЛОСОВ

# ТРИ КУЛЯ ЧЕРНЫХ СУХАРЕЙ

ПОВЕСТЬ



МОСКВА • ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА • 1986

P2  
K61

## ХУДОЖНИК С. ТРОФИМОВ

**Колосов М. М.**

**К61** Три куля черных сухарей: Повесть/Худ. С. Трофимов.— М.: Дет. лит., 1986.—383 с., ил.

В пер.: 90 к.

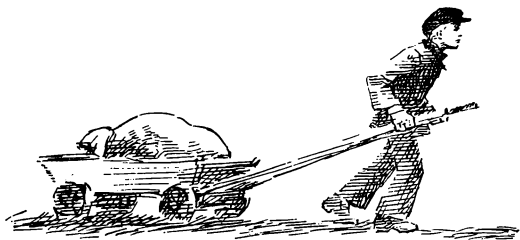
Действие повести, написанной на автобиографическом материале, происходит в предвоенные годы в одном из шахтерских поселков Донбасса. Неповторимая атмосфера, насыщенная героикой и энтузиазмом, рабочий склад мышления и души героев, их нравственное здоровье, несмотря на трудности тех лет, теплота и доброта к людям составляют основное содержание книги.

К  $\frac{4803010102-486}{M101(03)86}$ —273—86

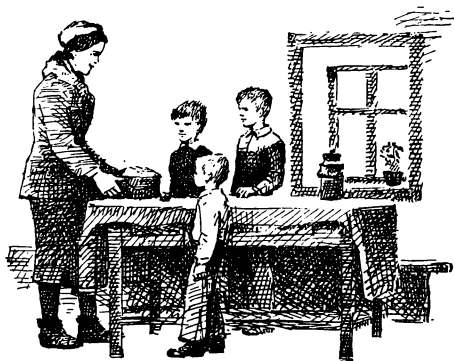
**P2**

© Издательство «Современник», 1979 г.  
Иллюстрации.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





## КРЕСТНЫЕ

*По-воскресному выбрит, в чистой клетчатой рубаше, Карпо подошел к плетню из виноградного хмыза, покричал в наш двор:*

*— Василь, не завтракал ишо? Ну, вот и хорошо. Пойдем, бабка уже приготовила, ждет.*

*На голос из кухни выбежала мать, стала упрекать деверя:*

*— Што ж вы не предупредили? Я ж тоже готовлюсь.*

*— Да получилось так,— развел Карпо руками.— Думали на вечер, а вечером у Микиты там дела... Пойдемте, посидим трошки... Ульяна ждет, а то простынет все.*

*— А может, вы к нам?..— пригласил я крестного.*

*— Да не,— отмахнулся он.— То не порядок. Ты ж скоро уедешь, а как оно получится дальше — не знаю. И не побываешь у нас? Не, то не порядок... Пойдем. И ты, кума, смай фартук.*

*— Ну вот, распорядился всеми! Как же я сниму? Растабарилась, люди поприходят, сестра с Иваном обещалась, братья... Гаврюшка вроде дома сегодня. Надо хоть обед сготовить.*

— Ну, гляди, как знаешь. А Василя отпусти.

— Ладно,— согласилась мать.— Только ж вы не долго. Люди поприходють побалакать...

— Да то как дело покажет,— улыбнулся крестный,— зарекаться не будем. Пойдем, Василь, пойдем.

— Дак ты ж его пожалей,— указала мать на меня.— Люди придут.

— Ладно, не бойси,— пообещал Карпо.

Карпо Гурин — наш сосед и родственник: он доводится мне дядей. И еще он мой крестный. Крестил меня Карпо несколько раз: сначала по-церковному, этого я не помню. Остальные разы — по-своему, когда заставлял в своем горохе или на своей яблоне. Эти «крещения» запомнились.

Карпов огород межуется с нашим, а его дом выходит к нам во двор глухой стеной. Теперь она, правда, уже не глухая и зовется так по привычке. Несколько лет назад, захваченный новой модой, Карпо затеял перестройку внутри дома — делал отдельную спальню. Мудрил, мудрил и выгородил-таки в своей довольно тесной хате темную комнатенку. Тетка Ульяна — жена его — не оценила усилий мужа, назвала спальню гадюшником. Карпо на жену не обиделся, но свое детище попытался защитить:

— Ну а шо тебе надо? Спальня и есть спальня, чтобы спать в ней. Спят же в темноте или как? Так даже и лучше: днем можно прилечь — окно не надо закрывать. И мухи не будут кусать.— Оглядел комнатенку еще раз, заключил: — Побелишь, и все. Потом тебя оттуда и колом не выгонишь: настоящий спальный апартамент! Што ишо надо?

— Куда там!.. — не унималась тетка Ульяна. — «Апартамент»!

Однако на другой день намесила серой глины с кизяком, замазала щели, а когда подсохло, выбелила стены и потолок мелом, подсиненным куксином, вымыла пол и осталась довольна: «А и правда апартамент: хорошо будет! Зазря напала на мужика». И ждет Карпа, не дожидется, спальню показать хочется: пусть порадуется.

А он пришел с работы и опять понес инструмент в «гадюшник». И побелку не заметил, принялся прорубать окно. Пыталась Ульяна отговорить его — не надо рубить, и так, мол, хорошо,— ни в какую, текает, долбит стену.

Прорубил дыру, высунул голову в наш двор, выдохнул облегченно.

Дня три стена зияла после этого черным провалом. Потом Карпо вставил раму, застеклил. С наружной стороны ставню навесил. Сказал Ульяне:

— Вот и все. Теперь глядишь сколько влезет.

Мать моя чувствовала себя неловко от чужого окна, которое стало днем и ночью смотреть в наш двор. Ей казалось, что за его темными стеклами постоянно скрываются чьи-то глаза. И тогда она посадила напротив него абрикосовое деревце, думала: вырастет — заслонит. Деревце росло долго, так, кажется, и не выросло, а мать за это время привыкла к окну и уже не обращала на него внимания.

А может, и не привыкла, может, ее просто отвлекли другие Карповы дела, которых у него было великое множество...

Крестная ждала нас в горнице у накрытого стола, оглядывала его — не забыла ли чего выставить. Обернулась, заулыбалась. Приподнялась на носки, поцеловала меня в губы:

— Здравстуй, сынка... — И стала вытирать фартуком навернувшиеся слезы.

— Плакать-то зачем, крестная?

— Да то я так... Старая уже, не обращай внимания. — И, быстро переключившись на другой тон, пригласила: — Садитесь, пока все горяченькое. А што ж кума?

— Да занята она, готовится, — сказал Карпо.

— А-а... Пришла б хоть на трошечки...

— Некогда ей, — сказал Карпо.

Впервые перед крестными чувствовал я себя неловко. Зимой прислал им журнал с повестью, которая в основном была списана с них. Как они отнеслись к ней — еще не знаю, а узнать хочется. Не обидел ли чем, не сделал ли им неприятное, не поставил ли их в неловкое положение? Тем более что имена оставил без изменений, а дела их описал с иронией. Даже озаглавил повесть шуточно: «Карповы эпопеи». Поймут ли шутку, примут ли?

Спрашивать неудобно, а они молчат, будто и не было ничего — не получали, не видели, не читали.

Карпо, угощая, сказал:

— Ешь колбасу. Домашняя. С «легального» кабана.— И улыбнулся.

А Ульяна засмеялась:

— Это ж надо такое придумать!

Ага! Наконец-то! Это уже разговор пошел о повести — там есть глава, как Карпо свиней держал.

— Почему придумать? — удивился я. — Разве не правда?

— Правда, кто ж говорит! Но вот так все запомнить и в подробностях расписать!.. А правда-то — оно правда... Как вспомнишь... То кожу сдирать заставляли, то совсем держать запрещали... Было, все было! Чертовались с поросятами — не дай бог.

— Да и прибрезал, конечно, много, — неожиданно сказал Карпо раздумчиво.

— И што ты?.. — накинулась на него крестная. — Никакой брехни там нема. Разве не смолили ночью поросенка раскаленными прутьями в сарае? Или, может, скажешь, со шпалами набрезал?

— Ну, шо ты напустилась? — Карпо откинулся на спинку стула, развел руки в стороны. — Ты погоди, погоди, не кричи. Я вот тебе пример приведу, и ты замолчишь. Рельсу кто гнул? А? Молчишь? То-то... Федор Романков с Симкою. А мы привезли прямую. Я ее по закону... Ну, не по закону, а с разрешения взял. А Федор, верно, в кювете горбатую нашел и притащил. И потом об камень ее горбом тем били месяц целый, наверно, пока выпрямили. Ну? А ты мне толкуешь...

— Во, — развела руками Ульяна, не принимая Карповы доводы. — Да, может, он забыл, он же ишо маленький был, — она кинула взгляд на меня. — Разве всех запомнишь, кто што гнул? А ты сразу — «прибрезал»!

— Ну, ладно, не так сказал, беда какая. Ну, не набрезал, а обмшурился.

— Дак так надо и говорить, а то и обидеть человека недолго, — успокоилась Ульяна, заканчивая спор.

— А если бы вы кривой рельс привезли, разогнули б? — спросил я крестного.

— А то нет! Горбатый положил бы чи шо? — И взглянул на жену, ожидая поддержки.

— Разогнул бы! — подтвердила та и рассекла воздух энергичным жестом, словно саблей рубанула.



— Тоже об камень?

— Не знаю. Придумал бы как.— Карпо почесал желобок на подбородке, соображая, как лучше разогнуть рельс.— Я, пожалуй, разогрел бы его. Скорей бы дело было.— И обернулся к жене:— Прикрасил он в своей писанине, конечно, много, че там балакать.

— Во, опять за свое!

— Да ты погоди, не шуми. Я ж понимаю, што без прикрасу нельзя. Вы вон с Дарьей Чуйкиной балакаете про когось — тоже ж не обходитесь без прикрасу? Так и тут.

— Сравнил! — закачала головой Ульяна.— Сравнил бабы сплетни с книжкой. Никакого прикрасу у него нету,— отрубила Ульяна, окончательно защитив меня от Карповой критики.

— Как же нету? — не сдавался Карпо.— А «эпопея» — это што такое? Што оно обозначает?

— Как што? — крестная оглянулась на меня.

— История,— сказал я.

— История,— подхватила она.— Там же в начале все поясняется. История.

— «История»...— передразнил Карпо.— Дак, а че ж он,— кивнул на меня Карпо, как на постороннего,— че ж он?.. Так бы и писал: «история» или «случай», оно б было ясно и понятно каждому. А то «эпопея». Для чего? Ясно, для прикрасу.

— Оно и так понятно каждому,— не сдавалась Ульяна.— Писано для грамотных, для понятливых, а не для таких, как ты...

— Ладно. С тобой спорить — легче рельсу разогнуть. Будя, а то и про гостя забыли. Все уже простыло. Не обращай внимания на нас с бабкой, тебе видней, как оно там надо, чи эпопеи, чи ишо как. Давай...

Уходя от Карпа, я случайно увидел в приоткрытую дверь в чулан большущий полосатый матрас, до половины набитый чем-то комковатым. Бока его распирало твердыми шишками, словно внутри лежали камни. Верхние края матраса были завернуты внутрь и, если их распрямить, достанут, пожалуй, до самого потолка. Этот матрас я запомнил с давнего детства и, совсем не подозревая, что он до сих пор служит ту же службу, спросил:

— Сухари?

— Да,— нехотя, с досадой подтвердил Карпо и толкнул чуланную дверь.

*Сухари! Опять сухари...*

*И в тот же миг — будто вспыхнул передо мной яркий экран и завертелась на нем старая, но бесконечно дорогая и волнующая кинолента — то ли «Мое детство», то ли «Моя юность», то ли еще под каким названием, но только очень моя...*

*Крестный пытался что-то говорить, оправдывался зачем-то, сваливал заботу об этом куле на свою «бабку» Ульяну, но и ее не виноватил, а говорил как-то снисходительно и к бабкиной затее, и к самим сухарям:*

*— Да пущай стоять, места не жалко. Они есть не просят и карман не рвут... А гляди, можа, и пригодятся...*

*А я уже слушал его вполуха и видел все вполглаза: я уже был весь там, в том далеком и совсем недавнем времени, когда мы, ребяташки еще, столкнулись впервые с этим полосатым кулем, набитым до краев сухарями...*



## ЩУРКИ

За глухой саманной стеной забора бесновались потревоженные пчелы. Привычное спокойное облачко их над Чуйкиным двором превратилось в живой гудящий смерчевой столб, в котором неумно кипело пчелиное месиво. Пчелы взлетали, падали, носились вдоль и поперек, и, глядя на них со стороны, казалось, будто насекомые справляют какой-то древний ритуальный танец.

А повыше этого гудящего смерча вилась стая красивых крупных птиц — щурков. Они-то и возмутили спокойствие размеренной жизни Чуйкиного двора. От стаи то и дело отваливалось несколько птиц, они пикировали почти до самой земли, хватали на лету пчел и взмывали вверх, не обращая внимания на Дарью, которая бегала вдоль забора, махала платком и истошно кричала:

— Кыш!.. Кыш, окаянные!.. Откуда вас нанесло на мою голову? И Родьки дома нема, он бы вас из ружья шуганул...

Кыш!.. Кыш!.. Ребятки, да подмогните, каменюками их, каменюками...

«Ребятки» стояли поодаль, с азартом смотрели на Дарьину войну со щурками и явно держали сторону последних: никто из них не внял Дарьиному призыву. В ответ на ее вопли они лишь злорадно посмеивались да перемигивались. Один Илья Солопихин, по-уличному Ахромеев, — главный каменюшник и заядлый голубятник — не смог устоять перед соблазном швырнуть камень. Он давно уже нянчил в руке плоский круглый голыш и не знал, куда его запустить. Обрадовавшись случаю, Илья отвернул кепку козырьком на затылок, отвел руку как можно дальше назад, и камень черной молнией взвился ввысь. Пока голыш набирал высоту, Илья, заложив в рот четыре пальца, засвистел пронзительно, дико, по-разбойничьи.

Камень достиг своего зенита, застыл на какое-то мгновение среди щурков и стремглав понесся вниз. Падал, он угодил прямо в пасеку, загремел каким-то железом, насмерть перепугав цепного кобеля и Дарью. Кобель залился истошным лаем, а Дарья, оцепенев, соображала, что это за грохот такой, и, догадавшись, кинулась к ребятам с бранью:

— Ах вы хулиганы такие-сякие!.. Каменюшники проклятые, чума б вас взяла, жисти от вас никакой нема!

Ребята попятились, но не побежали, как обычно: вины они за собой не чувствовали. Лишь Васька Гурии из первых рядов мигом перебрался в последние и выглядывал оттуда украдкой. За ним была вина, и притом самая свежая. Как только началась Дарьиная баталия со щурками, он тут же оценил подходящий момент, пересек соседские огороды, подлез под хитрую проволочную загородку Чуйкиного сада, нахватал там груш, яблок, наполнил кепку крупным полосатым, с красными разводами крыжовником, спрятал всю эту добычу у себя на чердаке и присоединился к ребятам.

Отступив в задние ряды, Васька сообразил, что для него лучше будет, если Дарья увидит его здесь, и снова вылез наперед — мозолил Дарье глаза, зарабатывал алиби. И все-таки не выдержал, снова отступил на всякий случай: вдруг догадается по глазам или еще как...

Илья стоял на месте как вкопанный. По-цыгански



смуглый, коренастый, со сросшимися на переносице бровями, он смотрел на Дарью насупленно, будто бычок, приготовившийся боднуть противника.

— Во,— огрызнулся он.— То сама просила: «Ребятки, каменюками...», а теперь ругается.

— Просила? Кого я просила? Тебя просила, чтоб ульи все побил, да?

Как бы между прочим, Илья нагнулся и поднял с земли камень, стал подбрасывать его на руке, играя, словно мячиком. Дарья остановилась, продолжая грозить:

— Ну, бандит проклятый, погоди, вот Родя придет...

— Носится со своим Родей! «Родя, Родя наклал на огороде»,— выкрикнул Илья дразнилку про Родиона и повернулся к ребятам.

— Матерщинники, хулиганы! — кричала Дарья и махала платком на бесстрашных щурков.— Воры, безотцовщины!.. Только по чужим садам лазить...

Услышав последнее, Васька вздрогнул: из всех он единственный без отца. И только что из сада. Видела? Догадалась? Или по привычке? А может, она и не о нем, может, она все еще Илью клянет? У него матери нет. Тогда бы она сказала «безматерщинник...», «безматерник...». Нет, не получается... Как же называется, у кого мать умерла?..

— А к тебе лазили, да? — обиделся Илья.— Хоть раз поймала?

— И поймаю, и поймаю, не думай. Кыш, кыш, окаянные, кыш...

— Когдаймаешь, тогда и будешь кричать.

Илья человек бесстрашный, кому хочешь отпор даст. Если не словом, то кулаками, не кулаками — камнем с дальнего расстояния, но в долгу никогда не останется. Побаивались его и взрослые и сверстники. Отступилась от Ильи и Дарья, отмахнулась, как от назойливой мухи,— отвяжись, мол, репей липучий.

Завидовал тогда Илье Солопихину Васька Гурин. Трусливое сердечко билось в груди, а хотелось быть таким же смелым и независимым, как Илья.

В конце улицы показался Родион Чуйкин. Высокий, худой, в железнодорожной фуражке, сдвинутой с затылка на глаза, шел он медленно, раскачиваясь. Двустолка висела на ремне поперек груди, и руки его покоились — левая на стволах, правая на ложе. Рядом так же медленно

и с гордо поднятой головой вышагивал длинноногий, ростом с хорошего теленка, черный пес. Идут — будто два брата, два Родиона, только один человек, а другой — собака, один на двух ногах, а другой — на четырех. Оба гордые, высокомерные, неразговорчивые, оба «ученые». От больших ступней Родиона на пыльной дороге остаются следы-рогульки: словно подражая хозяину, также елочкой расставляет свои лапы и кобель.

Охоты в эту пору никакой не было, но Родион в свободное время всегда брал ружье, собаку и уходил в поле, в лес, бродил по буеракам. Он был штатным инспектором, гонял браконьеров, а заодно натаскивал своих собак и не давал ржаветь ружью. Слово «инспектор» пугало мальчишек и заставляло с почтением относиться к Родиону взрослое население улицы.

Завидев мужа, Дарья крикнула ему, но Родион и сам уже заметил что-то неладное у своего двора, заторопился. Снял через голову ружье, переломил его, вложил в оба ствола по патрону и выстрелил дуплетом в птичью стаю. Щурки шарахнулись вверх, в стороны, улетели с тревожным криком. Лишь одна птица приотсталала, завалилась набок и безжизненной тряпкой упала на дорогу.

Родион не обратил на нее внимания, вошел в калитку, на ходу вытаскивая из ружья пустые дымящиеся гильзы.

— Иди домой, — буркнул он Дарье, и та поспешно скрылась во дворе.

Ребята побежали к щурку, подняли его, Илья растянул веером радужные крылья.

— Вот гад, какую красивую птичку убил... И не целился... — Он распрямил на щурке взлохматившиеся перья, пригладил и понес птицу домой. Там он взял лопату и закопал щурка на огороде.

Возбужденные таким событием, ребята горячо обсуждали его. Одни жалели щурка и ругали Родиона, другие, наоборот, оправдывали его: щурки пчел ловили — вот и получили по заслугам.

— Пчелы полезные, мед делают, а щурки — какая от них польза? — угрюмо вынес свой приговор Никита Гурин, Васькин двоюродный брат и одноклассник.

Никита — суровый мальчишка, глаза у него припухшие, будто со сна, волосы на макушке дыбятся двумя

кустиками, не прилегают: у Никиты две макушки. Значит, два раза жениться будет, говорит Васькина бабушка, есть такая примета. Но Никита о женитьбе пока не думает, и две макушки его беспокоят только потому, что они служат предметом для постоянных насмешек.

Всех птиц и зверей Никита делит на вредных и полезных.

— По-твоему, значит, все насекомоядные — вредные? — возразил ему Васька. — И синицы, и щеглы?

Синиц и щеглов Никита любил. Зимой у себя в саду он устраивал кормушки, ловил их в большом количестве. Всю зиму любовался ими, наслаждался их пением, а весной выпускал на волю.

Насупившись, Никита посмотрел на Ваську, возразил:

— То насекомые, а то — пчелы.

— Вот так да! — воскликнул Васька. — А пчелы, по-твоему, млекопитающие? — Васька, довольный своей остротой, засмеялся.

— То просто насекомые, а то — пчелы, — не сдавался Никита. — У пчел, может, жизнь устроена получше, чем у людей. Они, может, самые разумные. Не знаешь, а хихикаешь.

— Пожалел Родю, — сказал Илья. — У Роди пчел — ульями таскай — не перетаскаешь.

— Будто шурки знают, кто там живет: Родя или еще кто, — усмехнулся Никита.

— Так что, сразу убивать, да? — упрекнул Васька Никиту, будто это он, Никита, а не Родион подстрелил шурка.

Взглянув на небо, Илья вскочил как ужаленный:

— Чужак? — И, не дожидаясь ответа, побежал к себе во двор.

Возвратился быстро, вынес в каждой руке по голубю. Ребята потянулись к ним руками — каждому хотелось погладить упругие, лоснящиеся перышки птиц. Но Илья отстранил их, трогать не позволил.

— Не лапай — не купишь, — говорил он, а сам шарил по небу ястребиными своими глазами — искал «чужака». Заметил и швырнул натренированно голубя вверх.

Голубь камнем взмыл на высоту дома и только там расправил крылья, замахал ими, нацеливаясь опуститься на крышу. Илья снял кенку, подбросил ее, отпугнул

голубя, и тот, будто рассердился, захлопал крыльями, сделал круг над двором, стал набирать высоту. Переложив другого голубя из левой руки в правую, Илья тем же манером швырнул и его. Этот сразу устремился вверх, присоединился к своему напарнику, и они повисли над домом.

Поднял кепку Илья, ударил ею о коленку, нахлобучил на голову.

В конце улицы в тот же миг взлетели сразу с полдесятка голубей. Илья усмехнулся:

— Игнатки своих трухнѹли, хотят заманить. Ничего не выйдет!

Вскоре на соседней улице тоже поднялась целая стая.

— И Лама своих поднял, — узнал Илья. — Все зарится на моих.

Лама — пожилой мужик, страстный голубятник, держит только белых. У него их, наверное, с полсотни. Жадность и наглость этого голубятника не имела границ. Если к нему попадал чужой голубь, отдавал он только за выкуп. Впрочем, и другие, в том числе и Илья, тоже были не добрее, но Лама своей наглостью превосходил всех...

Тем временем голуби поднимались все выше и выше, превращаясь в еле заметные точки. Чужой голубь продолжал летать самостоятельно и к ним не приближался.

Ребята стояли, задрав головы, смотрели в небо, будто там происходило что-то необычное.

Не отрываясь, смотрел в небо и Васька. Своих голубей у него не было, а любил он их страстно и поэтому всегда радовался безмерно, если случайно удавалось подержать эту птицу в руках.

— Осаживать пора, — заволновался он, — уже совсем не видно.

— Ничего, — успокоил его Илья и продолжал наблюдать за голубями.

Лишь когда с севера стала наплывать туча, Илья забеспокоился, побежал в сарай, выгнал оттуда голубей. Они с шорохом взлетели на крышу. Илья слегка испугивал их, перегоняя с места на место. Парившая в небе парочка стала быстро снижаться и вскоре опустилась прямо на землю во дворе. А чужой голубь, так и не снизившись, удалился в сторону шахтерского поселка и вскоре скрылся с глаз.

— Старый чей-то, — определил Илья, любуясь своим красавцем, который, не успев опуститься, тут же, без передышки, распушил хвост и, подметая им землю, принялся сердито ворковать, наступая на голубку, словно отчитывал ее за какую-то провинность.

В ответ та кротко пригибала головку и отстранялась от него, а потом не спеша пошагала в дверь сарая. Голубь последовал за ней, и долго еще оттуда слышался его басистый голос.

Один за одним слетели с крыши и другие голуби. Лишь молоденький пискун остался на коньке. Он почему-то пугливо озирался по сторонам, а потом вдруг снялся и полетел вдоль улицы. Поплутав между домами, он опустился на Чуйкину хату.

— Во, дурак! — удивился Илья и тут же, торопливо взогнав голубей снова на крышу, побежал к Чуйкиным.

Подбирая на бегу с дороги камни, Илья мчался как на пожар. Дышал тяжело, глаза горели — торопился спасти голубя. Еще издали он стал бросать камни на Чуйкину хату. Камни гремели о черепицу, падали во двор. Побеспокоенный цепной пес поднял лай. На шум выбежала Дарья, увидела Илью, стала ругать его:

— Опять, идол, с камнями! Спасу от тебя никакого нема.

— Голубенок вон мой у вас на крыше, — сердито сказал Илья, продолжая бросать камни.

— Черепицу всю побил, проклятый.

Голубь наконец снялся и полетел домой, Илья побежал вслед за ним. А Дарья все не унималась, кричала на всю улицу свои проклятья.

— Да тю на тебя! — вышла из ворот Ульяна Гурина — Никитина мать. Маленькая, шустрая, голосистая, она никому спуска не давала. — Че разоралась? Ужась какой-то, цельный день гвалт. И кричать, и стреляють, будто Мамай налетел.

— Понаплодили иродов, жисти от них нема, — не унималась Чуйкина.

— То-то ты жисти хорошей хотела — ни одного не выплодила, — обиделась Ульяна. — Нашла чем попрекать!

— А мы виновати? Может, то наше горе, што у нас детей нема... — оправдывалась Дарья.

— Оно и видно — горе. От жадности все. Кабы б горе, дак приютили б какую сиротинку. А то все легкой жисти хотели, только себе, только себе. Загородились кругом проволокой да колючими кустами. Ишь понатыкали в забор стекла, как тюрьму сделали.

— Дак то же от воров.

— От людей то, а не от воров. Горе у нее! А ты хоть одного приютила, приласкала, хоть раз покормила сирот Нюрки Гуриной? Она, бедная, бьется с тремя одна. Как думаешь, легко ей? А у Ахромей? Тоже трое без матери растут. То по-твоему не горе, то ироды, а у тебя горе. «Понаплодили»! Родила б хоть одного, тогда б знала, как с ними. Ишь ты — мимо не пройди ребенку.

Нюрка Гурина — это Васькина мать. Услышав от крестной ее имя, Ваське стало стыдно и тоскливо, хотелось плакать...

— Дарья! — отозвался со двора Родион. — Перестань, иди в хату.

Дарья махнула безнадежно рукой на Ульяну, захлопнула за собой калитку.

— Микита-а! — крикнула Ульяна. — Марш сейчас же домой, сапустат. Дома делов непочатый край, а он с голубями... Ну, кому сказала?

— Во, а я шо?.. — заворчал Никита и нехотя поплелся домой.

Вслед за ним заторопился и Васька — у него дома тоже дел невпроворот: мать наказывала огород полоть, а он и думать об этом забыл.

## ЧЕРДАК

Любимое Васькино место — чердак. Там он отключался от всего житейского и погружался в свой мир, в свои мечты. То он Гаврош на баррикадах, то вдруг вообразит себя Робинзоном на необитаемом острове, то он пробирается сквозь вулканическое жерло к центру Земли. А последнее время он все больше летает на аэроплане и кружит над своим поселком. С высоты ему до подробностей видно, что делается на земле: вот мать картошку полет на огороде, а вон в своем дворе Карпо, Васькин крестный, чертуется со шпалами — пилит их дисковой пилой на доски. Никита

помогает отцу, хотя самому давно охота улизнуть с ребятами на ставок купаться. И Чуйкино подворье как на ладони: пасека, огороженная квадратной стеной, кобель дремлет у порога, а сам Родион ходит по саду, заглядывает на деревья и откусывает садовыми ножницами на длинном шесте сухие веточки.

Аэроплан!.. Как-то шли они с матерью из буерака, хворост несли, и вдруг из-за бугра выплыла тарахтящая крылатая машина на двух колесах. С крутящимся винтом, переваливаясь с боку на бок, она пронеслась над головой и скрылась. Но Васька успел многое разглядеть: летчика в кожаном шлеме и в больших очках, косые прутья-распорки между крыльями, велосипедные спицы на колесах. Самолет Васька видел впервые и потому стоял как замороженный с поднятой стриженной круглой головой и смотрел вдаль, куда скрылась винтокрылая птица.

Мать тоже остановилась в испуге. Проводив самолет печальным взглядом, проговорила:

— Ироплан... Неужто война будет? Вот так, помню, пролетел ироплан, и тут же война началась. А мы только поженились с отцом, и его на войну забрали. Вернулся уже в революцию, когда царя скинули.

Самолеты с тех пор стали летать все чаще и чаще. А вскоре возле города построили аэродром, и уже не было дня, чтобы они не кувыркались над поселком. И были это уже совсем другие самолеты, не те стрекозы, что появились поначалу, а какие-то маленькие, тупорылые, шустрые. Взлетит такой самолет повыше, заглушит мотор, перевернется вверх колесами и долго летит таким ненормальным манером. Или задерет хвост и винтом падает почти до самой земли, аж свист стоит. У Васьки даже дух перехватит — вот-вот врежется самолет в землю, но нет, взревет мотором и снова вверх взбирается.

По одному, а то и по два сразу выделывают они вот такие опасные трюки. Накувыркаются вдоволь и улетают на аэродром.

Ваське с чердака хорошо видно, как они там перед посадкой долго кружат — наверное, выбирают место, принаравливаются, куда получше опуститься. А о войне пока ничего не было слышно. Напрасно мать так испугалась «ироплана». Война началась позже, и то не у нас, а в далекой Абиссинии, а потом в Испании. А у нас было

озеро Хасан, Халхин-Гол. Но это еще была не война, а просто «конфликты», и было это позднее.

...На чердаке Ваське хорошо: один и опять же высота! Подойдет к слуховому окну и смотрит на улицу. Там люди ходят, подводы ездят, и кажутся они ему сверху маленькими, приплюснутыми, будто не настоящие. И высота-то не ахти какая, а поди ж ты, как все меняется. А каково, если поглядеть на землю с аэроплана?.. Полетать бы! «Вырасту — пойду в летчики!» — решает Васька.

И еще он мечтал в это время найти мешок денег. Случилось бы так: идет он в поле по дороге и видит — мешок лежит. Развязал, а там деньги! Взвалил на плечи и понес домой огородами, чтобы никто не видел. Вот бы, наверное, мать обрадовалась! Накупили б они тогда всем обуи и одежи, топлива на зиму запасли, и на харчи б еще осталось. Борщ бы варили с мясом, а на второе — кашу пшеничную, да не на воде, как теперь, а на молоке, да еще с коровьим маслом. И мать бы перестала жаловаться, что ей тяжело с тремя ртами, что пенсия за отца мала. И голубей, пожалуй, разрешила б купить...

Для голубей у Васьки уже все приготовлено. Вдоль и поперек всего чердака проложены дощечки — голубиные дорожки; к стропилам приделаны разные полочки, шесты — там будут они спать; в укромных уголочках прилажены ящички, старые чугуны — для гнезд. В каждое Васька уже и соломки напихал и всякий раз мнет ее кулаком, чтобы голубяткам мягче было в гнездышке.

Залез Васька на чердак, выглянул — увидел Алешку, поманил. Обрадовался тот, покарабкался по лестнице вверх. Васька подхватил его за ручки, втащил на чердак. Запыхался Алешка, пока лез, но тут вскочил с четверенек на ноги и зырк-зырк по чердаку. Заглянул в один угол, в другой — ничего не увидел, уставился на брата.

— Чего ты?

— Я думал, голубь... — сказал Алешка разочарованно.

— «Голубь»! Не прилетел ишо. — И Васька повел его к дальнему фронтоу, снял щербатый чугунок с полки, приподнял солому. — Во яички какие! Ешь.

— Где ты взял? — обрадованно закричал Алешка. — У Роди?



— Тише ты. Ешь да помалкивай.

Алешка схватил несколько ягод крыжовника, стал вытирать их о рубаху.

— Лохматый какой, — удивился он. — Глянь, весь в волосах. Я такого и не видал.

— А какой ты видел?

Покраснел Алешка, сник, голубые глазенки заблестели, забегали.

— Обнаковенный, мелкенький. — И признался: — Он прямо возле проволоки и растет. А в сад я не лазил, присел на Симаковом огороде и наелся от пуза. Никто и не видел.

— Не лазь больше, а то Родя из ружья солью стреляет.

— А ты?

— Шо я? — Васька пожалел, что открылся брательнику. — Мне дали.

— Дали-и! — покачал Алешка головой, хитро улыбаясь. — Дали-и! Они дадут!

Поначалу Васька хотел и сестру угостить, но тут же раздумал: Танька — ябеда, сразу выдаст матери.

— Таньке не говори только, — предупредил Васька.

Словно почувствовав что-то неладное, из хаты вышла Танька, завопила:

— Алешка-а!..

— Молчи, — шепнул Васька.

— Алешка-а!.. — продолжала звать Танька.

Васька знал, что она не уймется, пока не найдет Алешку: она «няня», мать всегда ей приказывает следить за ним.

— Ну, чего разоралась? — выглянул Васька. — Тут он.

— На чердаке?! — ужаснулась Танька. — Вот вам попа-а-дет от мамы. Все расскажу.

— Ну и рассказывай, ябеда лохматая! — рассердился Васька.

— Лохматая? — крутанула Танька длинными прямыми волосами. — Раз лохматая, расскажу все.

— Что все? — насторожился Васька.

— Што ты на чердак лазил, што ты с собой Алешку туда таскал и што вы там штось делали, — перечислила Танька.

— Ну и получишь, — пообещал Васька и, показав ей кулак, скрылся в черном проеме чердака.

Не успели они догрызть яблоки, как услышали голос матери:

— А где ж ребята?

— Где ж... На чердаке, — сказала Танька. — А Васька еще и побить меня грозитя.

— Мама пришла, — прошептал Васька, выхватил у Алешки огрызок яблока, запихал в чугунок, прикрыл соломой.

— И маленького туда потащил! — ужаснулась мать. — Боже мой, ну что мне с вами делать! Целый день на работе болит душа, чую, что-то неладное дома. А мне говорят: успокойся, дети уже большие. А они хуже маленьких. Васька, ну что ты думаешь себе? Упадет ведь ребенок — калекой на всю жизнь сделается. Где ты там, маленький мой, иди сюда, я тебе подмогну слезть. — Мать встала на лестницу, протянула руки в дверцу чердака.

Облизываясь, Алешка несмело приблизился к проему, встал на четвереньки, пополз задом к лестнице.

— Боже мой, ну, если бы не пришла я пораньше, как бы ты слез? Ошарахнулся б, и все. Мұка мне с вами. И ты вылазь! — крикнула она Ваське. — Слазь, бить буду.

— Сразу бить, — заворчал Васька.

— А то что ж? Отца нема, слов не понимаешь. Как же с тобой ишо балакать! В школу уже какой год ходишь — понимать бы должен, а ты не понимаешь. — Она подняла подсолнечный стебель, отломилла пустую корзинку, чтобы удобнее держать, и, как только Васька ступнул на последнюю перекладину, стебанула его по спине. Ударилла не очень больно, но Васька вскрикнул, спрыгнул на землю и, когда мать снова замахнулась, схватил руками за стебель, не дал себя ударить.

— Пусти, идол! — рассердилась мать. — На матерю руки поднимаешь?

Васька не выпускал стебель, мать рванула его, и хлипкая палка переломилась. Она бросила обломки на землю, заплакала и пошла в хату, причитая:

— Вырос, уже не совладаю... На матерю руки поднимает... Пропал, пропал ребенок...

Досадно сделалось Ваське, обидно. Рассердился на мать, на себя: невезучий он какой-то, постоянно его шпыняют. От этого жить даже не хочется, убежать бы подальше из дому и не возвращаться. И Васька снова лезет

на чердак, сидит там, думает, думает о дальних странах, где много еды, где люди не дерутся, не бранятся... Думает, как бы найти мешок денег и принести матери, а самому умереть. Пусть бы тогда узнала, какой он, Васька, добрый, не жадный, принес все, отдал им, себе ни копейки не взял и умер...

А мать не унималась. Пока еду готовила, все упрекала его:

— Вся надежда на старшего. Думала, вырастет, помощником будет, а он вон какой неслух растет.

Сготовила, есть позвала. Васька не отозвался. Вышла во двор — нету Васьки. Догадалась:

— Опять на чердаке? Да што там — медом намазано? Я тебе не раз говорила и ишо скажу: и не затевай ото там! Видела — нагородил. Вот время выберу — переломаю и по-выбрасываю все с чердака. И не думай! Увижу — появятся голуби, — сразу головы поотрываю. И тебе и им. Так и знай. Самое последнее дело — голуби. Появятся — все пропало: и школа, и все. Ты погляди: хоть один порядочный человек возится с голубями? Ахромеев — што хорошего? Или ты хочешь быть, как Лама? Слазь, обедать будем.

Васька не отозвался.

— Ну и сиди, нам больше достанется. Губа толще — живот тоньше.

К вечеру только, когда все куда-то разбрелись, Васька вылез из своего убежища, вошел в комнату. На столе он увидел кусочек хлеба — его пай — и в эмалированной мисочке под тарелкой суп.

Подкрепился Васька, и на душе потеплело. И жизнь уже не казалась ему такой мрачной, какой была до этого. И мать... А что мать? Она добрая, заботливая. Гоняет Ваську? А кого не гоняют? Никиту крестная вон как муштрует. А тут еще ничего, жить можно. Когда на работу уйдет — так и совсем красота: сам себе хозяин.

## МАТЬ

Работа у матери чистая — сиделкой в больнице работает. Но это только так называется — сиделка. На самом деле она там совсем не сидит, все дежурство на

ногах, за больными ухаживает: еду им раздает, уборку делает. Намается за день, домой приходит усталая, жалуется:

— Понагиналась я нынче, спина болит. Тяжелых больных много. Тот стонет и тот стонет, тому подушку поправь, тому «утку» подай. И напарница захворала — одной тяжело.

А иногда приходит — ничего, радостная. Даже гостинцы, бывает, приносит. Родственники передачи таскают больным, а те с сиделками делятся. И мать радуется не столько гостинцам, сколько доброму отношению к ней. Больные довольны ею, зовут ее ласково: Нюра, Нюша, Аннушка. Благодарности ей выносят. Обо всем она дома рассказывает, и Ваське приятно, что у него мать такая старательная, работающая, добрая к людям.

Васька любит свою мать, но молча, про себя. Она заботливая и красивая. Об этом все говорят, да он и сам видит. Черные блестящие волосы у нее всегда гладко расчесаны и скручены в тугой пучок на затылке. Брови шнурочком, лицо смуглое. А когда она подпудрится, губы подмажет — совсем становится красавицей. Говорят, что Васька на мать похож и потому он счастливый. Если сын в мать, а дочь в отца, значит, они счастливые. Но Васька этому не верит. Какое у него счастье? Отца нет, голубей мать держать не разрешает, шпыняет его постоянно за разные провинности, живут они трудно. Нет, не верит Васька в свое счастье, он считает себя самым несчастным человеком на белом свете.

Не очень радуется ему это сходство еще и потому, что Танька тоже, говорят, похожа на мать. Вот и разберись тут! Танька ведь совсем некрасивая, а может, даже и уродливая: рот большой, волосы прямые, жесткие. Ни в косы их заплести, ни лентой перевязать: косы тут же распрямляются, как стальная проволока, а лента сползает. На кого Васька хотел бы походить, так это на дядей, материнных братьев, особенно на Гаврюшку — красивого, с волнистым чубом, парня.

Когда Васька был еще совсем маленьким, мать, уходя на ночное дежурство, всегда просила кого-нибудь из соседских девчат переночевать с детьми. Девчата охотно соглашались, особенно зимой, устраивали в хате «улицу». На эту «улицу» приходил и Гаврюшка с товарищами. Васька

видел, как уважительно к Гаврюшке относились ребята, как млели перед ним девчата.

Но до Гаврюшки Ваське далеко — и мал еще, и шутить так смешно, как Гаврюшка, он не умеет, и волосы у него не будут так кудрявиться. Уж это-то он знает точно. Волосы у Васьки, как и у Таньки, жесткие, когда крестный стрижет его, всегда жалуется:

— Ну, Василь, теперь мне целый день придется ножницы точить, — и долго отряхивается потом, вытирает глаза. — У кабана щетина и то мягче. Другой раз, если защитные очки не достану, буду тебя смолить, как поросенка.

Перекраснеет Васька, перетерпит и вскоре забывает. Бегаёт стриженный, своих волос нет, не видно, какие они у него, а Танькины на виду. К тому же Танька вредная: злая, крикуха, плакса и ябеда, и он никак не хочет, чтобы она была похожа на мать, а значит, и на него. Ваське больше по душе Алешка — добродушный белобрысый пацан. Алешка — в отца. Ласкает его мать, приговаривает:

— Маленький мой, радость моя светленькая. Тебя мне отец на память оставил.

Подойдет Васька к большой увеличенной фотографии отца, смотрит, ищет сходство с Алешкой и не находит. Отец на фотографии суровый, с усами и вовсе не белобрысый. Да и живого отца Васька помнит еще, смутно, но помнит. Котельщиком в паровозном депо работал, котлы ремонтировал. Как-то пришел с работы, снял грязную одежду в сенях, умылся, взял Ваську и поднял до самого потолка.

— Расти большой — вот такой!

Ваське радостно и боязно было, мать заступилась за него.

— Перепугаешь ребенка.

А потом отец уехал куда-то надолго, и оттуда привезли его прямо в больницу. Васька ходил с матерью проведать. В белой палате лежал он бледный, с провалившимися глазами, говорил тихо, тяжело. Пока отец с матерью разговаривали, Васька занялся вентилям на батарее. Крутил его, крутил, пока не уронил на пол круглое колесико вентиля. Оно громко загремело в больничной тишине и покатилося под койку. Васька перепугался, мать ударила его по рукам, но отец сказал:

— Не бей...



И все, больше отца живого он не видел, привезли его домой в гробу. Мать долго плакала, причитала:

— На кого ж ты меня покинул с малыми детьми?..

После уже Васька узнал, что отца посылали в деревню помогать колхоз организовывать. Кулаки ночью подкараулили его и избили палками.

— Все унутренности отбили, — говорила мать.

Алешка родился вскоре после смерти отца...

Смотрит Васька на фотографию — нет, не похож на него белоголовый Алешка.

— Похож, похож, — упрямится мать. — Копия. То у отца волосы темные от копоти, работа у него была такая.

Васькина мать — чистюля. Детей гоняет, чтобы умывались как следует, уши заставляя мыть, ноги — каждый вечер.

— Заведутся цыпки — самим же хуже: болеть будете.

За стол с грязными руками не пустит.

— Грязь — самое последнее дело. От нее все болезни, — наставительно говорила она. — Главный врач нам лекцию читал: холера — от грязи, тиф — от грязи. Воши тиф переносят, они тоже от грязи.

И каждую неделю устраивала большое всеобщее купанье: грела воды в большой цинковой выварке, сама мыла всем головы.

Васька ничего, понимал, мылся без понукания, Алешка тоже воды не боялся, а вот с Танькой всегда было мучение. Не любила она мыть голову. Орала, визжала, будто ее в кипящую смолу окунали. И после мытья она долго еще всхлипывала и сердилась на всех, а больше всего на мать.

— Вот дура-то! — возмущалась мать. — А еще девочка. Девочка должна сама за своей чистотой следить, а ее силком всегда моешь. Ну рази ж плохо чистой ходить?

И стирает мать часто.

— Хоть в стареньком, да в чистом, — приговаривала она. — Поглядите, вы ж не хуже других ходите. Постирай, выгладь — оно и лучше нового. Вы вот все мне глаза колете: тому то купили, тому то. А где я наберусь одна на всех? Беречь надо одежду-обужу.

Как-то пришла мать с работы с большим свертком, позвала Алешку:

— Иди, маленький, погляди, что я тебе принесла!

Поковылял к ней торопливо Алешка, схватил сверток, развернул газету, обрадовался: фанерный грузовичок! Такой игрушки в доме еще не было. Настоящая машина: кабина, кузов, колесики — все как у настоящего грузовика. Покрашен он только необычно — фиолетовыми чернилами. Вертел машину Алешка и так, и эдак, рассматривал дотошно, перевернул вверх колесами, крутил их — крутятся. Осторожно поставил на пол, толкнул — покати-лась машина. Засмеялся, довольный.

— Бечевочку надо привязать, и будешь таскать за собой, — посоветовала мать. — Это больной сделал. Тот, што я вам рассказывала, с рудника. С переломанной ногой. Уже выздоравливает, скоро выпишется. Хороший человек, а жены у него нема, умерла. Дите одно, вот как Таня, девочка, приходила с теткой проведовать отца. Хороший человек, не курит и, говорит, не пьет. И — мастеровой. Вишь, какую машину сделал. На костылях ишо ходит, а уже дело себе нашел. Завхозу помогает в больничной мастерской — табуретки починяет. И грузовик там сделал. «Возьми, — говорит, — Аннушка, отнеси своему маленькому».

Говорила мать о больном тепло, глаза ее ласково смотрели на Алешкину игру с грузовичком. А Ваське почему-то сделалось не по себе, защемило сердце, обиделся за что-то на мать. За что — и сам не знает. Буркнул:

— А отец шо, не сделал бы такой?

— Какой отец?

— Да наш? «Какой»...

— Сделал бы, — сказала мать грустно. — Ишо лучше сделал бы...

Отлегло у Васьки, успокоился, повеселел. Но мать продолжала:

— Сделал бы, да где он? Бросил...

— Как бросил? — насторожился Васька.

— Нема ж его, оставил нас.

— Шо ж, он жить не хотел?

— Хотел! — сказала она и вздохнула. — Как же не хотел? Хату вон собирался переделать, материалу наготовил. А то ж у нас была маленькая хатенка, под соломой. Помнишь же, наверное, какая у нас хата была?

Васька помнит: завалюха. Маленькая, скособоченная, два маленьких оконца — одно на улицу, другое во двор



глядело. Когда разбирали — одна труха от той хаты, ни одной крепкой саманины не выбрали. И отца Васька помнит. Да только не об этом сейчас речь. Ему кажется, что мать к отцу несправедлива, и он буркнул:

— А говоришь...

— Что я говорю? — обернулась она к Ваське. — Ты чего это насупырился? И тебе игрушку надо? Дак ты ж большой уже...

— Очень она мне нужна. — И Васька пнул грузовичок ногой.

Алешка заорал, а мать покачала головой:

— Глупой ты, Вася... Большой, а еще совсем глупой...

Вечером бабушка пришла проведать внучат. Старенькая уже, располневшая, раскачиваясь, она шла огородам, внимательно присматриваясь к грядкам: порядок ли на них? Бывало, заметит что — ворчит:

— Не прополото, запустили. Сама не успеваешь, детей заставляй, большие уже. Я в такую пору, — кивала она на Ваську, — вон как робила.

Хотя лето уже к концу катилось и огород особого ухода не требовал — это не весна, но она и тут находила, за что зацепиться.

— Эй, девка, — заговорила она еще в сенях, — спелые подсолнухи надо срезать, а то обсыплются или птицы повыклюют. Где вы тут? — открыла она дверь в комнату. — Все дома? Ну, водяные, как вы тут, помогаете матери?

— Помогают, — махнула мать рукой. — За столом хорошо помогают.

Бабушка полезла под фартук, достала из кармашка на юбке кусочек сала, завернутый в белую тряпочку, положила на стол.

— На вот, в борщ на зажарку. Иван на работе, и Нинки тоже дома нема, дак я украла, — улыбнулась она ласково.

— Ой, ну зачем? — напустилась на нее мать. — Узнают, ругаться будут.

— Я трошечки, на зажарку. — И нагнулась к Алешке: — Что это у тебя, внучек?

— Антанабиль, — сказал тот радостно. — Во, с колесами!

— Ух, водяной! Покатай бабушку на антанабиле.

— Не, вы большая, раздавите.

— Кто ж это тебе сделал?

— Больной один, — сказала мать.

— Хороший, видать, человек. Это тот, что с рудника? Ну, дак вот... — Она хотела что-то сказать и запнулась. — Отца надо вам, водяные, он бы вам всего наделал. А мать работу бросила и была б всегда с вами, дома.

— Не надо об этом, — попросила мать.

— И што ты думаешь, Нюрка? Пока молодая, ищи себе мужика, иначе пропадешь. Находится человек — не кобенясь.

— Да кому я нужна с тремя детьми, ну вы только подумайте, — всплеснула мать руками.

Васька слушал их разговор, хмурился. Мать взглянула на него, кивнула бабушке — «вон, мол, посмотрите».

— А шо на его глядеть? И ему отец нужен? Без отца разбалуетя...

— Не надо мне отца, — угрюмо сказал Васька.

— Глядеть на них, дак... — начала было бабушка, но мать перебила ее:

— А на кого ж мне глядеть? Рази што бросить их?

Это она уже сказала просто так, чтобы лишний раз припугнуть детей, особенно Ваську. Но все равно — обидно ему слышать такие слова. Васька поднялся, вышел во двор и полез на чердак.

На другой день он исподлобья смотрел, как мать собирается на работу. Причесывается тщательно, приглаживает волосы. Достала пудру, обмахнулась слегка ваткой, стала искать что-то на угольнике. Васька знает, что она ищет — губную помаду. Молчит.

— А кто видел помаду? — спросила она. Ей никто не ответил. — Куда ж она девалась?..

— Я выбросил ее, — вдруг выпалил Васька.

— Выбросил? — удивилась мать и остановилась, глядя на него пристально. Глаза ее сделались печальными — вот-вот заплачет. — Выбросил... Эх, глупой ты... Да чи ты думаешь?.. То ж все гигиена — и пудра, и помада, — стала она объяснять. — Я ж в больнице работаю... Глупой ты ишо... Может, когда вырастешь — поймешь.

Уходя, она приказала ему:

— Спелые подсолнухи посрезайте и на завалинку положите — нехай сохнуть. Да глядите, штоб куры не поклювали. И не балуйтесь тут, не шкодите. За маленьким приглядайте...

## ДАРЬЯ ЧУЙКИНА

Идет Васька серединой улицы, банку консервную футболил, гремит ею, пугает собак. Поднял голову — Дарья стоит у своих ворот, руки скрестила на большой груди, смотрит, щурясь, на нижний огород. У Чуйкиных два огорода: один возле дома — сад, а другой через улицу, напротив дома, — спускается вниз до самой речки. На этом огороде картошка растет, огурцы, помидоры. В самом низу, на лугу, Родион когда-то выкопал большую квадратную яму, наполнил водой и напустил туда мальков карпа. Но с рыбой ему не повезло — не прижилась она почему-то у него. Вода со временем покрылась ряской, лягушки развелись, в весеннюю пору они теперь такой крик поднимают, что оглохнуть можно. Дарья пользуется Родионовым прудом — черпает воду из него, поливает помидоры, огурцы, капусту...

Знает Васька, куда она смотрит, — не залез ли кто на ее грядки. Помидоры у нее особые — круглые, мясистые, сладкие. Разломишь — мякоть будто изморозью покрыта. Ребята говорят — сахар выступает. Вкусные помидоры.

Бросил Васька банку, нагнул голову, перешел на другую сторону и побыстрее мимо Дарьи.

— Вася, — вдруг слышит он сладкий Дарьин голос. — Ты што ж это и не здоровкаешься? Или вас в школе не учуть со старшими здороваться?

— Дравствуйте, — быстро говорит Васька. — Я не заметил вас...

— Подойди сюда, детка. — Голос у Дарьи ласковый, а у Васьки сердце в пятки ушло: «Зачем я ей? Наверное, узнала, что в сад к ним лазил, следы заметила». Но подошел, стоит, смотрит в землю, ковыряет большим пальцем ноги дорогу. — Ну, што ты так-то? Не бойси, я ж не злая, не укусю тебя. То люди злые наговаривают все. — Положила руку на его голову, Васька увернулся. — Я хотела тебя попросить: подмогни мне вышник оборвать. Остался высоко на ветках — мне не достать. А оборвать надо да завтря у город на базар отвезть, штоб уже душа не бодела. Оставлять его шпакам жалко. А?

Молчит Васька: необычное что-то, никогда не просила, а тут вдруг понадобился. «Хитрит, наверное, — думает он, — приведет в сад да и скажет: «Поставь ногу вот в эту

ступку» — и все, поймался. Не пойду, — решает он. — Скажу — некогда, Алешка один дома». Но он не успевает отказаться, Дарья уже ведет его в калитку. Переступив через порожек, Васька остановился, попятился: огромный рыжий кобель, звякнув цепью, уставился на Ваську, не решаясь при Дарье облаять чужого.

— Не бойси, он привязан, не достанет. — И тут же прикрикнула на кобеля: — Не тронь, иди ляжь! По-над стенкой иди, не достанет.

Во дворе у Чуйкиных подметено — нигде ни веточки, ни щепочки. Возле крыльца даже серой глиной с кизяком смазано, как земля в Васькиной хате. Завалинка тоже смазана, уголки на ней ровненькие, острые. Не сравнить с гуриной — обшарпанной, с вывалившимися кирпичами. Свежевыбеленные стены по низу окаймлены сажой — ровная черная полоска опоясывает всю хату. Культурно, ничего не скажешь.

— Иди в хату, посиди, покамест я ведерки приготавливаю. — Дарья открыла дверь в комнату,пустила Ваську.

Вошел он несмело и остановился у порога, будто споткнулся: поразила чистота. Такая первозданная чистота кругом, будто тут и нога человеческая никогда не ступала. Крашенные полы блестят, красные ковровые дорожки с зеленой каемкой проложены вдоль и вкось. В комнате как-то по-нежилому прохладно.

— Иди, иди, не бойся, — подбодрила его Дарья и закрыла за ним дверь.

Огляделся Васька и, поддаваясь любопытству, тихо, по-кошачьи прошел по дорожке, заглянул в горницу. Там почти никакой мебели не было, лишь платяной шкаф сиротливо прижался в правом ближнем углу. Всю комнату занимал огромный фикус. Он рос из большой деревянной, опоясанной железными обручами кадки, длинные ветви его вольготно раскинулись во все стороны. Большие, как лопата, жирные листья фикуса маслянисто блестели. Ствол у фикуса толстый, черный, как у старой вишни. Можно залезть на него — не сломается.

Вот это цветок! Пораженный увиденным, Васька качал головой и причмокивал губами. «Наверное, в жарких странах фикусы растут большими деревьями», — решил он.

Загляделся Васька на фикус, не услышал, как Дарья в комнату вошла.

— Пойдем, готово, — позвала она его.

В сенях уже стояли два цинковых ведра, изнутри они были аккуратно выстланы газетами. Дарья сняла с гвоздя фартук, подала Ваське.

— Подвязывай. Потужей подвязывай. — И, не доверяя ему, сама завязала тесемки у Васьки за спиной. Подняла подол, подоткнула уголки ему за пояс, расправила образовавшийся большой карман на Васькином животе. — Пойдем. — И сама первая направилась по тропинке в сад.

А у Васьки ноги будто ватные — не слушаются. Не верит все еще он Дарье: ведет она его следы мерить, не иначе. «Если пронесет, никогда не полезу больше к ним в сад, — дает себе клятву Васька и шепчет про себя: — Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло...»

Пришли в сад, Дарья поставила ведра в тенечке, указала Ваське на деревья:

— Ну вот, залезь и рви. — Нагнулась, подняла несколько опавших вишен, сдула с них крошки земли, бросила в ведро. — Хозяйнуй тут сам, а я пойду. Осторожно, гляди ветки не ломай. Помногу в фартук не набирай — вишник давиться будет. Наберешь немножко и высыпай, — наставляла Дарья. — Ну, лезь.

Повеселел Васька — вроде пронесло, поплевал на ладони, схватился за крепкую ветку, взобрался на дерево.

Дарья проследила немного за ним и ушла. Легко сделалось Ваське, огляделся с высоты. Вон то дерево, с которого он яблоки воровал. Поискал свои давние следы — не видно. Зря, дурак, волновался. Окинул сад — большой, в саду порядок: деревья растут рядами, яблони отдельно, сливы отдельно. Вдоль сада тропка утоптанная и проволока протянута — кобель по ней ночью бегаёт, сторожит.

«Да, — думает Васька. — Иметь бы такой сад, кто б по чужим лазил». Нет у Васьки сада. Мать говорит: «Был бы отец живой — насадил бы». А у Никиты и отец есть, а огород голый.

— Сад — то баловство, — отмахивается Карпо, когда заходит об этом разговор. — Землю только зря занимать. Лучше картохи поболее насадить. Картоха — еда, а яблоки што? Съел — и нема, и голодный.

Но тут как-то он притащил все-таки пучок саженцев, понатыкал вдоль межи. И Васькиной матери дал несколько штук:

— Возьми, кума, посади. Только не посеред огорода, в сторонке где-нибудь. А то разрастутся — под ними потом ниче не уродится, заглушат. Примутся — вырастет забава детям, не так на чужие сады будут зариться.

— Когда ж они вырастут?.. — возразила мать. — Тогда уже и не нужны будут: дети большими станут.

Но саженцы взяла, посадила. Растут медленно, за год Ваське по грудь всего выросли. Не скоро дело с ними будет. Да еще и не известно, что за яблоки, может, кислые дички...

Сорвал Васька несколько вишен — черные, переспелые, чуть подсушенные солнцем, они липли к пальцам, — бросил в рот. Сладкие. Принялся за работу: наберет пригоршню, переспелые в рот бросит, остальные — в фартук. Обобрал одно дерево, на другое перелез, увлекся. Вот бы кто из ребят увидел его в Родином саду — удивился бы! Глянул по сторонам — Никита в своем дворе что-то делает. Хотел крикнуть, но постеснялся. И все-таки не выдержал — окликнул. Услышал тот, поднял голову, крутит во все стороны, а Ваську не видит. В Родин сад глянуть не догадывается. Еще раз крикнул Васька, увидел его Никита и остолбенел. Потом побежал на свой огород, поближе, шепотом, но так, чтобы Васька услышал, спросил:

— Никого дома нема?

— Дома. Тетка Дарья попросила вишник с верхушек собрать.

— Кинь яблоков, — попросил Никита.

Оглянулся на двор Васька — не видно Дарьи. Мигом спустился, сорвал два крупных яблока, швырнул через Симаков огород Никите. Поднял Никита яблоки, вытер о штаны, принялся грызть.

— Уходи, а то увидит! — крикнул Васька.

Кивнул Никита, побежал с глаз долой.

Часа через два пришла Дарья проверить Васькину работу. Обрадовалась: одно ведро наполнено доверху, в другом больше половины. Похвалила:

— Молодец! — Подхватила полное ведро за дужку, понесла. Ваське наказала: — Дорвешь до краев, и хватит, принесешь сам.

— Ладно.

Наполнил Васька и второе ведро, потащил не спеша. Разглядывает сад внимательно, примечает, что где растет, — может, пригодится. Если не себе, ребятам расскажет, где какие груши растут, яблоки, абрикосы, сливы, где крыжовник, где смородина.

Принес ведро, поставил на крылечко. Фартук развязал, положил бережно сверху.

— Ну, я пойду...

— Как пойду? Пообедай сперва, — сказала Дарья.

— Я есть не хочу, — застеснялся Васька и направился к калитке.

— Куда ж ты пошел? — обиженно крикнула вслед Дарья. — Робил, робил... А што люди скажут? Работать заставила, а обедом не накормила. Ты ж меня опозоришь на всю улицу. Есть он не хочет! Так я и поверила. Ну, дикой, ну, дикой!.. Вернись.

Но Васька не оглянулся, торопливо шмыгнул за калитку, побежал домой.

Почти вслед за Васькой пришла Дарья. Мать увидела ее в окно, ужаснулась:

— Дарья Чуйкина чегось идеть... Наверно, жалиться. — Обернулась к Ваське: — Опять нашкодил что-нибудь?

Васька выглянул в окно, пожал плечами. А Дарья уже в сенях, скребется в дверь.

— Можно к вам? Никак не открою...

— Редко ходите, — сказала мать робко, помогая ей открыть дверь.

В руках у Дарьи был узелок с яблоками и кастрюлька.

— Покорми моего помощника. — Дарья протянула кастрюльку и узелок матери.

— Што это? — удивилась та.

— Вася подмогнул мне вишник оборвать, а обедать не остался.

— В сад залез? — воскликнула мать.

— Да нет, твои по садам не лазют. Я сама попросила его, — успокоила ее Дарья. — Подмогни, кажу. Не отказался, спасибо ему. На ветках высоко, самой не достать, а шпаки клюют, жалко. Отвезу завтра в город, продам последние. А без спросу он не лазить, нет, молодец. Не то что Ахромеев, анчихрист. Да оно и не жалко, только ж ветки ломают. — Дарья присела на табуретку. — У тебя дети хорошие. Одни, можно сказать, растут, без отца, а смирные.

Не шкodyть. Мы с Родионом Васильичем часто об твоих ребятах балакаем. Хорошие, ничего не скажешь.

— Хорошие, — проговорила мать. — Не дужа-то и хорошие.

— Не, не, — не соглашалась Дарья. — Грех жалиться. Ты только с Ильей не водись, — обернулась она к Ваське. — То бандит растет. С голубями своими всю черепицу побил, сладу с им нема никакого.

— От Ильи и я его отбиваю, — поспешила поддакнуть мать.

Когда Дарья ушла, она радостно сказала:

— Вот видишь? Рази ж плохо такое слухать? И мне приятно, и тебе тоже. Рази я плохому вас учу? Как хорошо — так оно хорошо и есть, все так и скажут.

Надоело Ваське слушать эти причитания, хочется сказать матери, что зря они тут расхваливали его, — лазил он в сад и к Чуйкиным, и к другим, но сдерживает себя, молчит: не хочет огорчать мать.

## СУХАРИ

Как-то так случилось, что на два двора, на Васькин и на Карпов, полными хозяевами осталась одна детвора. Лучшим способом использовать такой простор и свободу для ребят была игра в прятки: бегай, прячься где хочешь, никто тебя не остановит, не прогонит. Чердаки, чуланы, сарай, погреба — все было в их нераздельном распоряжении.

Заводилы — Никита и Васька — приняли в игру на равных всех обитателей двух домов: своих сестренек, Клавку и Таньку, и даже трехлетнего карапуза Алешку, который наравне со всеми водил и прятался. По малолетству его, правда, щадили, но зато уж девочкам спуска не давали — мучали их как следует, чуть не до слез.

Не принимал участия в игре один лишь Петро — Ульянин сосунок. Он лежал в люльке, сучил ножонками и пускал пузыри. А когда ему надоедало это занятие и он начинал орать, игра приостанавливалась до тех пор, пока Клавка не успокаивала своего брательника. Обычно ей удавалось сделать это легко и быстро: она совала ему в рот



красную резиновую соску, натянутую на бутылку с козьим молоком, и Петро умолкал.

Никита и Васька были самыми опытными прятальщиками, «застукать» их было трудно. Свои укромные места они старались не выдавать, выжидали, когда спрячутся другие, и только потом прятались сами.

Однажды, когда случилось водить Таньке и когда все уже затаились, Никита кивнул Ваське и направился к себе в сени. Васька тихонько последовал за ним.

Не открывая глаз, Танька начала громко выкрикивать считалку:

Раз, два, три, четыре, пять —  
Я иду шукать.  
Кто не схоронился,  
Я не виноват!

Чтобы не портить считалку, Танька произносила ее на мальчишечий лад — «не виноват».

В сенях Никита открыл дверь в чулан и поманил Ваську. В Карповом чулане Васька никогда раньше не был и потому со света не сразу сообразил, куда тут можно забраться. Среди нагромождений разного чуланного хлама первым в глаза ему бросился огромный, шишकाстый, в широкую полоску матрас. Он занимал весь угол и возвышался почти до самого потолка.

— Ого, какой чужал! — поразился Васька. — Что в нем?

— Сухари, — сказал Никита. — Полезем наверх.

Для удобства они подставили подвернувшийся под руки ящик и, помогая друг другу, мигом вскарабкались на матрас. Стукаясь головами о потолок, сгорбившись, как забойщики в тесном штреке, ребята уселись на сухари и затаились, выглядывая оттуда, будто из ласточкиного гнезда.

Дух захватывало от высоты, а больше всего от находчивости: пусть теперь Танька поищет!

— Никит, а для чего столько сухарей? — спросил шепотом Васька.

— Для голодовки, — ответил тот быстро.

— Какой голодовки?

— А я знаю?.. Молчи, услышат. — Никита взглянул на Ваську суровыми припухшими глазами. Жесткие волосы на его голове дыбились, как у молодого ежишки.

По разговорам, доносившимся с воли, они знали, что

Танька уже нашла Алешку, что уже «отстукалась» Клавка и теперь Танька искала только Никиту и Ваську. Несколько раз она заглядывала в чулан, но взглянуть наверх не догадалась и поэтому уходила ни с чем.

— Будем сидеть долго, — предупредил Никита. — Пока не найдет.

— Ладно, — согласился Васька.

Но долго сидеть на сухарях было неудобно. Жесткие куски врезались острыми краями в тело, и ребята поминутно ерзали, шуршали сухарями, перемалывая их в мелкие крошки.

— А есть захочем — сухари будем грызть, — сказал Никита и улыбнулся.

— Ага, — Ваське это очень понравилось, и он тут же достал из-под себя сухарь, который давно колол ему в ногу, принялся грызть. Крепкий, как камень, сухарь не поддавался зубам. С трудом отколов кусочек, Васька долго катал его во рту, пока он не размок.

Ребят уже искали все — к Таньке присоединились Клавка и Алешка. Они сердились, грозили, что бросят игру и больше не будут искать. Танька начала почему-то беспокоиться и принялась слезливо звать Ваську, просила его выйти, но ребята упорно сидели в своем сухарином гнезде и не отзывались.

Алешке надоела такая игра, и он захныкал. Потеряв надежду выманить брата по-доброму, Танька прокричала:

— Вася-колбаса, вылазь, а то все маме расскажу!

«Погоди, лохматая, вылезу — набью, будешь знать, как дразниться», — решил про себя Васька.

Клавка стала зывать к Никитиной совести:

— Никита — голова опилками набита, вылазь: Петька плачет.

— Ну, я ей и дам же!.. — прошипел Никита. — Я покажу ей опилки, зайка проклятая.

Клавка не была зайкой, она просто произносила слова как-то прерывисто, будто сил не хватало выговорить слово единым духом. Но, наверное, без прозвища нельзя, и поэтому ее дразнили зайкой.

Когда Клавка снова повторила свою дразнилку, Никита не выдержал, полез из матраса. Свесив ноги, он схватился за край мешка и повис на нем, ища ногами ящик. Не дожидаясь, когда спрыгнет Никита, заторопился наружу

и Васька. Повиснув на руках рядом с Никитой, он задрывал ногами.

Матрас не выдержал двойной тяжести, потерял устойчивость и стал валиться. Сообразив, в чем дело, ребята быстро прыгнули наземь и подперли плечами тяжеленный куль. Но их силенок было явно недостаточно: куль рухнул на пол. Падая, он отбросил Ваську к стене, а Никиту повалил и засыпал сухарями с ног до головы.

Сухари разлетались по чулану, по сеням, а самые верхние вылетели через все двери на двор. Запахло прелым, затхлым, плесневелым.

На шум прибежали остальные. Танька и Клавка тут же в один голос завопили:

— Ага, вот теперь вам по-опа-адет!..

С перепугу Васька не погнал их, а молча кинулся разгребать сухари, спасая Никиту, который не подавал никаких признаков жизни. Наконец тот зашевелился, приподнялся, стал стряхивать с себя сухаринную крошку. Лицо его было все исцарапано, из ранок сочилась кровь. Девчонки замолчали, смотрели на Никиту жалостно. Алешка прижался к стенке, не понимая, что произошло.

Раньше всех пришел в себя Никита. Окинул рассыпавшиеся сухари, проговорил деловито:

— Надо собрать побыстрее. — И, ступая прямо по сухарям, направился к матрасу. Кивнул Ваське: — Давай выпрямим чужал.

Ребята быстро отгребли от куля высыпавшиеся сухари и принялись выравнивать куль. То плечами, то коленками они кое-как водворили куль с остатками сухарей на место, поставили его в вертикальное положение, выровняли, и оказался он совсем маленьким — всего по пояс.

Никита закатал края матраса, подобно рукаву на рубаше, снова кивнул Ваське:

— Давай кидай, — и сам первым нагнулся, захватил из-под ног двумя руками несколько сухарей, бросил их в матрас. — А вы же стоите? Помогайте, — оглянулся он на девчонок.

Это было сказано так строго, что те не посмели ослушаться, подошли, стали собирать сухари. Алешка тоже нагнулся, поднял подгорелую краюшку, протянул Ваське:

— Ты, Алеш, не мешайся, — сказал ему Васька и тут же

посоветовал: — Подбериай вон там, во дворе, и носи сюда, а мы будем складывать их в чувал.

Алешка послушался, поковыляя на крыльцо.

— А плесневелые тоже класть? — спросила Клавка, показывая Никите белые, словно в инее, сухари.

— Перебирать будем, што ли? — огрызнулся тот, не оборачиваясь.

Работали молча. Слышно было только старательное сопение да каменный стук сухарей. Матрас быстро наполнялся. Время от времени Никита останавливал работу, утрясал сухари, ровнял, раскатывал края матраса, приподнимал их — делал все основательно, по-хозяйски, чтобы никто не придрался.

Упруго пузаться, матрас заметно поднимался к потолку. Никита последний раз разровнял сухари в куле, оглянулся и повеселел: сухарей под ногами осталось совсем мало. Послал Клавку за веником — крошки подмести. И вдруг в дверях появилась большая тень, в чулане стало темно. Все оглянулись и увидели на пороге Ульяну. У Васьки тотчас внутри что-то оторвалось, он вяло бросил в матрас сухарь и отступил в сторонку, словно давал ей полюбоваться всей картиной. Никита отряхнул рубаху и тоже попятился от мешка. В наступившей тишине под его ногой предательски громко хрустнул сухарь. Этот хруст вывел Ульяну из оцепенения, она быстро прошла в чулан, огляделась и негромко, будто при больном, горестно всхлипнула:

— Че натворили, идолы?..

— Он сам упал, — подал голос Никита.

— Сам? Сколько годов стоял, не падал, а тут упал... — Она обернулась, вырвала у Клавки веник и стебанула Никиту по плечу. — Сам? Я тебе вот покажу «сам».

Никита не сдвинулся с места, стоял как вкопанный, хмуро смотрел на мать. Он только чуть сжался, ожидая нового удара. Васька не стал ждать, когда очередь дойдет до него, шмыгнул в дверь.

— Не убежешь! — прокричала ему вслед Ульяна. — И тебя найду, не думай! Знаю твою похоронку и на горыщах достану.

Хорошо, что предупредила, — прятаться на чердак Васька не полез, убежал на огород, в подсолнухи. Вслед за ним прибежал туда и Алешка. Отдышались, сидят,

выколупывают из подсолнуха семечки, грызут их молча. Друг на друга не глядят.

Через какое-то время Васька послал Алешку в разведку.

— Иди посмотри, что там. Не бойся, тебя бить не будут.

Алешка ходил долго, Васька решил, что он забыл о нем, и хотел уже сам пробираться к дому, когда появился разведчик и сказал:

— Иди домой, мама кличет обедать.

— Мама уже пришла? — удивился Васька и снова присел на землю, стал колупать семечки. Сделалось тоскливо, никуда идти не хотелось: опять будет взбучка. Спросил: — Ругается?

— Не...

— А Танька сказала ей?

— Не знаю, — повел плечами Алешка.

— Ну, вот... Ничего и не разузнал. — Васька нехотя встал и поплелся домой.

— Где вы там запропастились? — торопила мать. — Давайте обедать. Голодные небось? Почему ж вы не пообедали без меня?

Мать была спокойна, похоже, никакой бури не предвиделось. Васька взглянул на Таньку, та быстро закрутила головой: «Не сказала». «Ну, слава богу, на этот раз не наябедничала. Кажется, пронесло...»

Но радовался Васька рано. Обед еще не кончился, как к ним пришла Ульяна. Обомлев, Васька опустил ложку и глядел тупо вниз. Ульяна поставила на угол стола щербатый кувшин, проговорила весело:

— Хлеб-соль!.. Вот вам как раз к обеду.

— Что это! — спросила мать.

— Молочка трошки, — сказала Ульяна.

— Ой, ну что ты, Ульян! Сколько она там дает, та коза, и ты отрываешь... У самой же трое.

— Хватит и им. Есть што есть, слава богу, окромя молока. — Она поймала Васькин взгляд, погрозила кулаком: — Убег! Досталось бы и тебе.

— Натворил что-нибудь? — всполошилась мать.

— Да не, — успокоила ее Ульяна. — Чувал с сухарями перекувырнули.

— Какой чувал?

— В чулане у нас. Нашли где хорониться, идола.

— Ну?

— Да ниче,— отмахнулась Ульяна.— Ото ишо после той голодовки стала я кусочки сушить да в чувал складать. Напужались тогда, в двадцать первом, помнишь, как было?

— Как не помнить,— отозвалась мать.— Солому всю с крыши съели.— Обернулась она к Ваське: — Солому с хаты снимали, в ступе толкли — лепешки пекли и ели. Страшная голодовка была. Хаты, какие под соломой были, все раскрытыми сделались, стояли как скелеты — одни кроквы да латы, будто ребры. Страшно глядеть.

— Да куда там! Не приведи господи еще раз такое,— продолжала Ульяна.— Так я ото ж по-трошки, по-немножку, кидала по сухарику. Нехай, думаю, стоять про черный день. Есть они не просят. А вдруг случится неурожай или еще какая беда? Стоял чувал, никого не трогал, пока не перекувырнули его вот эти обормоты. Да нема худа без добра: сухари почти все заплеснили, преть начали. Придется поросенку отдать.

— Ох, Васька, не можешь ты без шкоды! — погрозила мать.— Никак не можешь!

— Ниче, ниче, не ругай дужа. Я Микиту сгоряча хлобыстнула веником, а потом пожалела: они ж не нарочно. Это вот когда по чужим садам лазють да с каменюками бегают за голубями — то я не люблю. За воровство, сказала Никите, убью! — сердито крикнула Ульяна.

— Воровство — то не дай бог,— согласилась мать.— Я уж так приказываю, так приказываю: последнее дело — воровать. Уйду на дежурство, а у самой душа болит: вдруг, думаю, сманит Илья Ахромеев, полезут к Родиону в сад — тот же не пожалеет, из ружья застрелит.

— Застрелит,— сказала Ульяна.— Убьет, и все. А што ты скажешь?

Наговорившись, Ульяна ушла, а мать принялась разливать молоко по стаканам.

— Пейте.

— Не хочу,— заупрямилась Танька, брезгливо перекосив лицо.

— Это еще что?

— Оно козой воняет,— Танька брезгливо оттопырила нижнюю губу.

— Подумайте! — пропела мать удивленно.— Ишо разбирается! Спасибо скажи хоть за такое. Ну, не хочешь — как хочешь. Алеша выпьет. Пей, сынок, не гляди на нес.

Козье ишо лучше, чем коровье, оно жирнее. Пей — вырастешь большой и сильный.

Васька молчал, думал о сухарях, о голоде, о котором часто говорили взрослые. Не представлял он себе, как это бывает, когда совсем есть нечего. Ведь по карточкам дают и хлеб, и крупу, и сахар. Мало, правда, но живут же. И неурожай — как он бывает? Все растет каждое лето, не было еще такого, чтобы посадили, а оно не выросло. Спросил у матери про неурожай, как он бывает, почему.

— Дождя не будет — вот тебе и неурожай. Все посохнет — собирать нечего. Дело не хитрое.

— А если поливать?

— Не наполиваешься. Дождя нема — все пересыхает, даже в колодезях вода куда-то уходит. Вон и нынче лето какое плохое. Картошка как раз в завязь пошла, цвель началась, а тут сушь. Она и спеклась, наверно. На огород нынче мало надежи.

— А че ж мы сухари не сушим?

— Суши,— сказала мать просто.— У тебя остается хлеб, вот и суши.

Нет, у Васьки хлеб не оставался.

— Вот то-то же,— качнула мать головой.— Не сохнет у нас хлеб. Да на всю жисть все одно не напасешься. Рази угадаешь, с какой стороны он клюнет, тот голод. Ешьте, пока есть, а не будет... Как люди, так и мы...

Страх, который пережили ребята после опрокинутого куля с сухарями, быстро прошел, жизнь их вошла в обычную колею, одни события наслаивались на другие, и сухари вскоре забылись. Но, к сожалению, ненадолго. Очень скоро им пришлось вспомнить их и горько пожалеть о той «школе», которая помогла скормить поросенку сухари.

## КАПУСТА

Осень. Сады облетели, стоят прозрачные, сквозь них даль просматривается. Одна белая акация зеленеет, будто лето в разгаре.

Ночью хватил первый предзимок. Встал Васька утром,

сунулся в ведро с водой в сенцах — ткнулась кружка в твердую гладь. Заглянул — замерзла вода крепко, даже лед пузырем вдулся; ударил по нему железной кружкой, пробить хотел, не пробил, только в том месте, куда ударил, засахарился лед и белые полосы лучами разбежались к краям. Сильнее ударить Васька не решился, пожалел кружку — эмаль обобьется. Взял ведро, потащил в комнату:

— Смотрите, лед!

Подбежал Алешка, водит рукой по гладкой твердой воде, радуется.

— На плитку поставь, — советует Танька.

Поставил. Затуманилось ведро, капельками пота покрылось. А вскоре Васька вытащил из него ледяной кругляш, посмотрел сквозь него на окно — ничего не видно, хотя и прозрачный. Алешка тянется — тоже хочет посмотреть. Отдал ему Васька, вертит малыш хрупкое колесо, не знает, куда его приладить: держать — рукам холодно, положить — жалко. Вертел, вертел, выскользнул кругляш, разлетелся на мелкие осколки. Земь под ними стала быстро темнеть мокрыми пятнами.

— Ну вот, не можете без шкоды, — подражая матери, укорила Танька ребят и принялась быстро собирать кусочки льда и бросать их в ведро с углем. — Испортили земь.

— Ничего, высохнет, — успокоил ее Васька.

Оделся, вышел во двор. Акация совсем раздетая стоит, лишь кое-где листочки задержались, висят безжизненно, какие-то припухшие, потемневшие. А под деревом — постель из зеленых листьев.

Вот и все, пришел черед и акации, скоро зима.

А на лугу — шум, гвалт. Ребята катаются на замерзших лужайках, трут подошвы ботинок. Побежал туда и Васька. По пути бьет каблуками лед в лунках. Разобьет и удивляется — пусто в лунках, нет воды, вымерзла.

С разбегу прыгнул на исцарапанную ледяную дорожку, покатился, расставив крыльями руки. Не рассчитал с первого раза, на большой скорости ткнулись ботинки в землю, полетел Васька на хрустящую траву. Не успел подняться, кто-то упал на него. Смех, крик — куча мала!

Будто только пришел, а уже бежит Танька, кричит издали:



— Васька-а, иди, мама зовет!

Врет, наверное, откуда матери взяться — недавно на работу ушла. Но послушался. Прибежал — верно, мать дома, скатывает в трубку мешок.

— Катаешься? — спросила с упреком. — Бьешь ботинки. А впереди зима, в чем в школу ходить будешь? Новых не будет, не жди.

Стоит Васька, молчит, ждет, что еще скажет: не за этим же она пришла с работы.

— Иди попроси у Карпа тачку, поедем в больницу — там капусту привезли, будут давать сотрудникам. Да побыстрее, а то я только на один час отпросилась. Уроки делал?

— Нет ишо...

— Ну, вот. Скорей на улицу бежишь.

— Дак нынче ж выходной.

— Выходной. Сколько раз говорила: кончил дело — гуляй смело. Ну, иди, иди, а то ж время нема. И мешок ишо один попроси у них! — крикнула она вдогонку.

Крестный был дома, выслушал Васькину просьбу, пошел медленно за сарай, где стояла тачка с задранными вверх оглоблями, выкатил. Не любил он давать ни тачку, ни инструменты, но никогда не отказывал Ваське, понимал — больше не у кого ему просить.

— Бери, да гляди там, поаккуратнее. — Посмотрел колеса — в порядке. Посоветовал: — Будете накладывать, назад много не кладите, а то перевесит и оглоблями по зубам может ударить. — Вынес мешок, бросил в ящик. — Как привезете, так сразу возверни. А то мне тачка тоже нужна будет.

— Ладно.

Впрягся Васька в оглобли, покатил. Дорога сухая, тачка легкая, подпрыгивает на мерзлых кочках, погромыхивает. Мать взялась сбоку за оглоблю, помогает.

— Не надо, — просит ее Васька. — Не тяжело. Я сам.

— Да я только так, держусь, чтоб не отстать, — говорит мать. — Господи, хоть бы мешка два досталось, тогда б мы с капустой были. А то беда прямо: картошка не уродилась, самая крупная — с голубинное яйцо, до весны не хватит. А зима долгая. Поганое лето было, дожди не вовремя шли. Самая завязь — а тут сушь, вот и спеклась картошка.

Во дворе больницы у топливного сарая толпа — очередь

за капустой. Люди волнуются — мало капусты, но распределили так, чтобы всем хватило. Подошла материна очередь, кликнула Ваську:

— Держи мешок. — А сама берет кочаны, опускает осторожно. Попался рыхлый, отбросила.

— Не выбирай, не выбирай, бери подряд, — закричали из очереди.

— Все, хватит, — сказал мужчина у весов.

— Да што ж тут?.. — удивилась мать. — Ишо ж не полный.

— «Не полный»! По полному на всех не хватит. Ставь.

Погрустнела мать, потащила мешок на весы. Откинул мужчина рукоятку, двинул балансир.

— Еще маленький кочашок положи.

Обрадовалась мать, кинулась к куче, подняла кочан, положила, смотрит внимательно на весы. Качаются утиные носики весов, будто клюнуть друг друга хотят. Не клюнули, разошлись — один вверх, другой вниз.

— Хорош, снимай. Следующий.

Взвалили они с Васькой мешок на тачку, поправила мать платок, сказала:

— Подожди меня, сынок, я на минутку в палату сбегаю, погляжу.

— Да я и сам доведу. Что тут везти?..

— Тяжело.

— Не, совсем легко.

— Ну, ладно, — согласилась мать, потрогав зачем-то мешок. — Вези потихоньку. Через Баню не вези — там гора крутая, через Куликов мосточек ровнее. Приезешь, аккуратно по кочану в сенцах сложишь. Целиком мешок не тащи — надорвешься. — И опять потрогала капусту. — Мало-то как! А будет ли еще, привезут ли — надежи никакой. Ну, вези, я до ворот тебе подмогну. — Она уперлась сзади в тачку.

За воротами отстала и долго смотрела вслед, пока Васька не скрылся за углом больничного забора.

Везет Васька капусту, легко ему: под горку тачка сама катится, подталкивает Ваську — только держи оглобли да смотри, чтобы колесо в водомоину не сползло.

Хорошо у Васьки на душе, весело. Солнышко пригревает, поблескивает в покрытых ледком лужах. И не заметил Васька, когда расквасило дорогу, когда грязь нали-

пять на ботинки стала, когда ноги в стороны разъезжаться начали. Солнце поднялось — растопило кочки, дорога заскользила, колеса в большие ошметья грязи оделись. Но Васька не унывает, везет капусту. До мосточка — под низок, легко докатит. От мосточка трудновато будет, на горку, но ничего, как-нибудь вытянет, груз на тачке не велик.

Переехал мосточек, остановился отдохнуть, сил набраться. Поднял палку, очистил грязь с колес, чтобы легче было. Посмотрел на горку — небольшая, если бы не грязь, запросто можно взобраться. А сейчас попытеть придется.

Стоит Васька, соображает, как быть, как лучше везти тачку. Может, съехать с раскисшей дороги на траву — на целине грязь на колеса не так налипать будет?

Ничего не придумал, побрел к ручью. Чистая прозрачная вода журчит по камешкам. Ни лягушек, ни тины в воде — очистилась, как в роднике. По краям тонкий ледок поблескивает, под ним воздушные пузыри бегают. Спустился Васька к воде, бросил веточку, понаблюдал, как она проплыла подо льдом. Обрушил ногой хрупкий ледок с рваными краями, пустил по течению осколки и снова вылез наверх. Стоит тачка, ждет его. Подошел, впрягся, потащил. Теперь тачка показала все вдвое тяжелее, а ближе к горке она делалась все упрямее: то одно колесо попадет в выбоину и Ваську толкнет оглоблей в сторону, то другое. Стал на горку взбираться — совсем застопорилось дело: как ни силился, как ни упирался ребрами подошв в землю, ничто не помогло: ботинки скользят, зацепиться не за что, а тачка ни с места. Пока Васька прохлаждался у ручья, дорогу совсем развезло. Теперь ругает он себя, да только делу это мало помогает.

Попытался съехать на траву и совсем застрял: колесо попало в глубокую колею, вывернуть из которой Ваське было не под силу. Вспотел, расстегнул пальтишко, чешет затылок. Взялся руками за грязные спицы колеса, выкатил его кое-как, снова впрягся в оглобли. На траве не лучше: мокро, скользко. Чувствует Васька — не справиться ему с тачкой. А что делать? Бросить и пойти Таньку позвать на помощь? Опасно, капусту могут унести. Постоял, постоял Васька, ничего не придумал и снова впрягся в оглобли. Пыхтел, пыхтел — все без толку. Поднял голову и, к радости своей, увидел: крестный идет, кричит сверху:

— Погоди, Василь, не надрывайся.— Подошел, оглядел: — А че ж ты не по дороге?

— Думал, тут легче будет. На дороге грязь налипает.

— А я раз вышел, гляжу, хтось порается. Ну, думаю, ладно. Другой раз вышел — все на том же месте. Тогда я только догадался, што это ты тут застрял. Дай, думаю, пойду подмогну, а то он там до ночи просидит.— Потрогал мешок.— Ото и вся капуста?

Карпо поднял оглобли и легко потащил тачку. Васька уперся сзади, толкал изо всех сил, помогал, показывая крестному, что он еще не совсем обессилел.

— Не тужься,— сказал крестный.— Ты и так ухекался.

Тачку Карпо подкатил к самому порогу, подхватил капусту под мышку, снес в сени, поставил в угол. Коленкой толкнул скособочившийся мешок, поправил, капуста в нем жалобно скрипнула.

— Да, не дужа разжились... С капусткой нынче, видать, туго.— Покачал головой и покатил тачку домой.

Вечером в Васькином доме шла горячая работа. Васька срезал с кочанов гнилые листья, счищал с них грязь, а мать, повязав голову белым платочком, большим широким ножом рубила капусту в лапшу. Танька моет морковку, скребет ее, отхватывает от каждой по кусочку, бросает в рот, хрустит. Только Алешке нечего делать, и он беспрестанно канючит:

— Ма, очисти хряпку.

— Вася очистит, мне некогда.

Мать бросила Ваське кочерыжку. Васька очистил белую мякоть, откусил кончик, остальное отдал братишке. Захрумкал Алешка, довольный, заулыбался.

— И мне,— просит Танька.

— И тебе будет. Всем хватит,— говорит мать.— Ты сбегай к Чуйкиным, купи яблочков. Положим в капусту.

Достала рубль, подала Таньке. Та побежала, принесла с полдесятка.

— Вот. Больше, говорит, нема. И деньги не взяла.

— Ну и ладно.— Мать выбрала белый крепкий кочанчик, похлопала по нему ладошкой.— Целым положить, што ли? Отец ваш любил соленые кочаны.

Когда ворох резаной капусты на столе вырос в большую гору, мать пересыпала ее солью, перемешала, сгребла в большую эмалированную чашку, понесла в погреб. Таньке наказала:

— Помой яблоки и принеси. Положу на самое дно, а то, близко положишь, потаскаете, просолиться не успеют. И кочанчик захвати.

Дорезав последний кочан, мать принялась перебирать капустные листья, которые Васька счищал с кочанов.

— То ты жирно чистил, такими листочками теперь грех бросаться.

Она вырезала из листьев черные пятна, отрезала порченые краешки, мыла листья и рубила их тоже в лапшу.

Понесла последнюю чашку, покрепче кулаками вмяла капусту в кадушке, накрыла чистой тряпочкой, на нее дощатый кружок положила, сверху камнем придавила и перекрестила:

— Ну, будь удачливой.— И добавила с грустью: — Мало только, и полкадушки не получилось...

## КОНЬКИ

Зима выдалась снежной, вьюжной. Намело сугробы под самые крыши. Открыл двери Васька, а перед ним ровная белая стена — не видно Никитиной хаты. Даже следов материных не заметно, будто она по воздуху через двор перелетела, когда рано утром на работу уходила.

Взял Васька лопату и принялся резать ровные кирпичи — отбрасывать снег на стороны. Прокопал узкую траншею от двери до середины двора — светлее стало. Во дворе снегу меньше, гонит его ветер с огорода прямо на улицу. Оглянулся и сразу сник — напрасно трудился: ветер засыпает траншею. Вернулся в сени, поставил лопату. «Утихнет — тогда расчищу, а сейчас в школу пора». Подхватил ранец, полез по сугробам к Никитиной хате, поскребся в заснеженное окно. Выглянула тетка Ульяна:

— Чего тебе?

— Никиту. В школу пора! — прокричал Васька.

— Какая школа в такое вихоло! Не пойдет он.

Она еще что-то говорила, но Васька за воем ветра не расслышал. Постоял немного, раздумывал, что делать. Может, и ему не идти? Нет, ему нельзя, мать заругает потом. Прогул в школе она ни за что не простит. Никите хорошо...

Надвинул шапку поглубже, нагнул голову, пошагал Васька навстречу ветру.

Школа стояла за поселком на выгоне. Квадратное кирпичное здание, построенное еще земством, обросло большим садом. Летом школа, будто зеленый оазис в пустынном поле, шумит широкими листьями кленов и тополей. Зимой же издали, среди снежной целины, она похожа на забытое зимовье на севере — чернеет на отшибе одинокая. Только и оживляются тропинки к ней, когда со всех концов группками и в одиночку тянутся на занятия ребяташки. А отзвенит звонок, пробежит запоздалый ученик — и снова ни души, ни звука.

Поднял голову Васька, огляделся — ничего не видно: ни ребят, ни школы, все скрыто снежной мглой.

В поле ветер свирепее, с ног валит, лицо сечет, дух захватывает. Повернулся Васька спиной к ветру, зашагал задом наперед: дорогу в школу он с закрытыми глазами найдет. Прошел немного, споткнулся, упал, но тут же поднялся, снег из рукавов вытряхнул, повернулся к ветру боком, нагнулся и пошел упрямо, будто напролом. И сердце его вдруг наполнилось гордостью: вот какой он смелый, один в такую пургу не побоялся идти в школу! А Никита дома, на печке сидит...

Долго шел Васька, уже должна бы и завиднеться школа, а ее все нет и нет. Глушь, ветер воет, рвет Васькино пальто, снегом забрасывает.

Остановился, в одну сторону посмотрел, в другую, и вдруг показалось Ваське, что он сбился с дороги. Где север, где юг, где поселок, где школа — все перевернулось как-то, ничего не понять. Куда идти — не знает Васька. Вспомнил: когда он вышел из поселка, ветер дул ему в лицо, значит, чтобы вернуться обратно, ветер должен дуть в спину. Не долго думая, повернулся Васька к ветру спиной и зашагал в обратную сторону. Решил: «Дойду до крайних хат, а там соображу, куда идти».

Шел Васька быстро — ветер в спину подталкивал, поторапливал. Порой так поддавал, что Васька чуть носом в снег не зарывался.

Бежит Васька, будто убегает от кого. Дышит тяжело, вспотел весь... От страха убегает, не от ненастья.

И вдруг увидел: в снежном мареве деревья замаячили. Обрадовался: куда-то вышел! Подошел поближе, узнал:

школа! Только она почему-то другой стороной повернута. Догадался: сбился с дороги он и прошел мимо. Не поверни Васька в обратную сторону, неизвестно, куда попал и где бы он сейчас был.

На крыльце стряхнул с себя торопливо снег, постучал ногами, вошел в коридор. В коридоре пусто, тишина.

«Опоздал,— огорчился Васька.— Пока блукал, занятия начались».

На стук Васькиных ног появилась сторожиха. Увидела Ваську, воскликнула:

— Боже мой, или у тебя отца-матери нема?

Васька посмотрел на нее виновато, стал оправдываться:

— Заблудился я...— Спросил: — Давно сели?

— Куда сели? Никого нет, занятия отменили.

У Васьки будто гора с плеч: не опоздал! Но все-таки не поверил, открыл тихонько дверь в класс, заглянул — пусто. Улыбнулся:

— Вот здорово! — И повернулся к двери.— Можно домой идти, значит?

— Куда домой? — схватила его за рукав сторожиха.— Посиди. Утихнет, тогда и пойдешь. Замерзнешь в поле, кто отвечать будет?

Не хочется Ваське сидеть в школе одному, но подчинился. Снял шапку, расстегнул пальто, ходит по коридору, перечитывает плакаты, стенные газеты. С одного плаката прямо на Ваську едет зеленый трактор с большими, в шипах, задними колесами. За рулем сидит девушка в красной косынке и с поднятой рукой. От трактора в испуге разбегаются в разные стороны бородатые кулаки. «В сжатые сроки проведем сплошную коллективизацию!»

На другом — чумазый, как негр, шахтер отбойным молотком отковыривает огромные глыбы угля: «Дадим стране больше топлива! Выполним пятилетку в четыре года!»

Все прочитал Васька, все изучил, делать больше нечего, томится. А ветер воет, не утихает.

— К обеду затихнет,— заверила сторожиха.

И правда, вскоре вой прекратился. Вышел Васька — светло на улице, солнышко даже проглядывает, поселок виден. Подался домой радостный: «Нету занятий! Отменили!» Забежал к Никите обрадовать:

— Никита, не бойсь, у тебя прогула не будет: сегодня не было занятий, отменили!

— Да ты, никак, в школу ходил? — удивилась Никитина мать, оглядывая Ваську. — Я ж тебе сказала, штоб не ходил. — И, посмотрев на него долгим, изучающим взглядом, заключила серьезно: — Вот из него выйдет толк. — Обернулась к Никите: — Видишь, как рвется к занятиям человек? В любую погоду идет в школу. А ты? — Она ткнула Никиту в лоб. — Скажи тебе: «Бросай школу» — тут же бросишь.

Никита проворчал:

— Во, то сама сказала: «Не ходи», а теперь попрекает.

Ваське сделалось неловко, хотел уйти, но тут вошел Карпо, протянул Никите какие-то деревяшки, перевитые веревками.

— На, — сказал он. — Катайси, все подошвы целее будуть.

— Вот, — не унималась Ульяна. — Што захочет — все ему делают. Насвши, обувши, а теперь ишо и коники ему сделал. А учиться кто будет? — заглянула она Никите в глаза.

— Да погоди ты! — сказал ей Карпо. — Расходилась! А чего кипятится, и сама не знает.

— Знаю. То ты не знаешь, — переключилась теперь она на Карпа. — Балуй басурмана, балуй.

Карпо отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, сказал Никите:

— Меряй.

Подошел Васька поближе, смотрит — коньки деревянные отец сделал Никите. Два треугольных чурбачка, одно ребро на них округло скошено, и вдоль него проволока медная укреплена — полоз. Там, где пяткой становиться, выемка для каблука вырезана. Впереди по два ушка ременных прибито, сквозь них веревка продета. Сзади вместо ушка большая петля, тоже ременная. Взял Никита коньки и тут же, не рассматривая долго, стал прикреплять к сапогам. Вдел носок под веревку, перехлестнул ее, концы продел сквозь заднюю петлю, натянул и завязал спереди.

Привязал Никита коньки, для верности постучал о пол, заулыбался.

— Бурульки надо... — проговорил он. — Пойду вырежу.

— Есть «бурульки», — сказал отец и достал из кармана



две свежееоструганные палочки толщиной с карандаш.— Весь приклад тебе.

«Бурульки», кажется, больше поразили Никиту, чем коньки: аккуратненькие, гладко отшлифованные, они приятно щекотали ладони. Повертел, любуясь, поддел под веревку в том месте, где они перекрещивались, перекрутил раз-другой, веревка сдавила ногу, конек перестал болтаться.

— Сильно не стягивай,— посоветовал отец,— веревка лопнет. Да и ноги быстро замерзнут в тесноте: ногам должен быть простор, чтобы пальцы шевелились.

Не стал Никита дослушивать отцову мудрость, кивнул Ваське — айда на луг.

— Гляди, осторожно там,— прокричала ему вслед мать.— В Родионову копань не лезь, а то провалишься. Будет тогда делов с тобой.

Васька вышел из хаты вместе с Никитой, но на луг идти ему расхотелось. Еще в комнате при виде коньков Васька загрустил и сник. Никита радовался, а ему плакать хотелось.

— Чего ты? — оглянулся Никита.— Пойдем...

Покрутил головой Васька, слезы навернулись на глаза, он быстро отвернулся и пошел домой.

— Пойдем,— звал его Никита.— Я покатаюсь и тебе дам...

— Книжки положу.— Не оглядываясь, Васька поднял ранец.

— Приходи,— прокричал Никита.

Луг весь в ледяных плешинах — с осени водой залило его, вода замерзла — образовались малые и большие гладкие катки.

Садами, огородами сбежал Никита на луг, еще издали заметил самый большой разлив, направился к нему. С разбегу прыгнул на лед, покатались коньки, легко понесли его по скользкой глади. Не ожидал Никита от них такой прыти, закачался, замахал руками, как ветряная мельница, не удержался, упал — шлепнулся задом на лед, клацнул зубами так, что в голове зазвенело. Во рту соленый привкус появился, сплюнул на лед — кровь: язык прикусил, падая.

Оглянулся по сторонам — не смотрит ли кто? Никого не видно. Поднялся и, осторожно скользя то одной, то другой

ногой, с трудом выбрался на снег. Долго не решался снова ступить на лед. Подждал Ваську: придет — поможет обуздать коней.

Но Васька на луг так и не пришел.

Обидно Ваське — нет ему счастья в жизни. У других, что захотят — все им делают, покупают: голубей так голубей, коньки так коньки... А тут одни упреки...

— Ой, так рано из школы? — выскочила навстречу Танька и заулыбалась ехидно: — Опять с уроков сбежал? Вот я маме скажу-у-у...

— Чего? — Васька угрожающе вытянул нижнюю губу. — Ябеда!.. — Он замахнулся на нее ранцем.

Танька спряталась за стенку, прокричала:

— Прогульщик!

Не стал с ней связываться Васька, повесил ранец на гвоздь, вышел в сарай, принялся перебирать дрова — искал подходящие чурки для коньков. Выбрал два полена, долго вертел в руках, прикидывал, с чего начинать мастерить коньки. Инструмента у него нет подходящего — вот беда. Но ничего, главный инструмент тут — острый нож. Остругать поленья, подровнять их, выемку для каблука вырезать, нижнее ребро в носке на конус стесать — вот и вся премудрость. Проволоку на ребре укрепить — пожалуй, самая трудность будет. Как это сделать, Васька пока не представлял, но был уверен — придумает что-либо.

Принес чурки в комнату, полез в стол, достал нож, попробовал лезвие — тупое. Снова вышел во двор, принялся точить о камень. Долго точил. Сначала на сухом камне, потом поплевал на него и направил осторожно «жало» на мокром. Тронул пальцем лезвие — острое, так и цепляет за кожу, чуть надави — тут же располосует.

Вернулся в комнату, Алешка уже схватил поленья, строит из них дом — ставит шалашиком на полу.

— Зачем взял? — напустился на братишку Васька. — Для этого я принес?..

Видит Алешка — нож наточенный у Васьки в руках, догадался — мастерить что-то будет, спросил:

— Чижик будешь делать?

— Коньки, — сказал Васька просто, будто он переделал их уже не один десяток.

— Коньки?! — удивился Алешка. — Деревянные коньки?..

- Да.
- Как у Илюхи Ахромеева?
- Да. И у Никиты, дядя Карпо ему сделал.
- И у нас будут, — уверенно заключил Алешка.

На душе у Васьки легче стало — уверенность появилась, сказал весело:

— Ага, будут.

— Сначала себе сделаешь, а потом мне? Ладно? — не унимался Алешка.

— Подожди загадывать, — поосторожничал Васька. — Думаешь, легко сделать их? Проволоку как ты прикрепишь?

— А ты посмотри, как у них сделано.

— Смотрел... — проворчал Васька недовольно: мол, учить еще будет, сам знаю, как надо делать.

Он взял полено, принялся строгать, ровнять стороны. Полено было намного толще, чем нужно, и стесывать ножом его, снимать тонкими стружками лишнее — работа долгая. Это Васька сразу понял. Чтобы ускорить дело, решил действовать по-другому. Принес из чулана молоток, оседлал табуретку, поставил полено между ног, приставил нож и, чтобы сразу отсечь ненужный кусок, ударил по ножу молотком. Нож на всю ширину лезвия вошел в дерево и попал на сучок. Васька попытался вытащить нож, но он накрепко засел в полене и не поддавался.

На стук вышла Танька, увидела стружки на полу, напустилась на Ваську с упреками:

— Опять намусорил! В сарае места тебе мало? Вот не буду убирать, пусть мама увидит...

Но Ваське было не до нее, досада брала — нож никак не поддавался, не мог освободить его Васька.

— Уйди, — сверкнул Васька на сестру сердитыми глазами. Поставил снова полено между ног, ударил изо всей силы молотком по выступавшему концу ножа — хотел сучок разрубить.

Треснуло полено, и увидел Васька, что треснуло оно совсем не так, как ему хотелось: трещина пошла через всю деревяшку наискосок. Рассердился Васька от такой неудачи. А все Танька виновата — лезет под руку со своими разговорами. Размахнулся и уже не для дела, а просто так, чтобы на чем-то зло сорвать, ударил раз, другой молотком по полену, по ножу. Разлетелось полено,

и в тот же миг почувствовал он острую боль в левой руке. Поднял вгорячах руку, хотел в рот сунуть онемевшие пальцы, но увидел кровь, остановился. Смотрит, как кровь капает на белое дерево и расплывается на нем вдоль волокон, словно чернила на промокательной бумаге.

Танька, скрестив руки на груди, по-старушечьи твердила:

— Так и знала... Так я и знала: без шкоды не может ни одного дня!..

— Йод подай! В угольнике... — крикнул ей Васька. — Скулишь тут... Все из-за тебя.

Танька нашла пузырек с йодом, принялась смазывать рану на Васькиной руке. Он морщился от боли, но терпел. Под конец ему стало плохо — затошнило, на лбу выступил пот, Танька перед глазами куда-то поплыла, и он стал валиться с табуретки. Но тут же выпрямился, потер здоровой рукой голову, поплелся к кровати.

— Завяжи чем-нибудь...

— А чем? — Танька плаксиво наморщилась. Она поняла, что шутки с Васькой плохи, надо помочь ему, а как?.. — Чем завязать? — И тут же сообразила: выдвинула нижний ящик в шкафу, выбрала из вороха разных обрезков чистую полоску, замотала рану.

А кровь не унимается — проступает сквозь повязку. Тогда она сняла с вешалки материну белую косынку, не пожалела, запеленала ею Васькину руку, сказала мягко:

— Лежи...

Алешка испуганно смотрел на брата, удивлялся, что тот не плачет, и сам крепился, чтобы не заплакать. Когда Васька уже лежал на кровати, он принялся собирать с пола отщепленный кусок полена, молоток, нож... Нож оказался сломанным — из ручки торчал небольшой остаток лезвия. Алешка поискал и нашел в дальнем углу комнаты конец от ножа, стал прилаживать его к ручке. Молча показал сломанный нож Ваське. Тот увидел, и глаза его расширились, даже боль сникла: ну, теперь попадет от матери! Единственный нож сломал... Нет, не везет Ваське в жизни...

И ждет Васька теперь мать. От каждого шороха вздрагивает — думает: она идет.

Но мать, к его великому удивлению, не стала Ваську ругать. Увидев забинтованную руку, она вскрикнула,

подбежала к нему, стала спрашивать, что случилось. Развязала, посмотрела рану, сама завязала аккуратно.

— Ничего, кость цела... Заживет. Ну как же это ты?.. Надо же осторожно.

Вечером бабушка пришла, мать пожаловалась ей:

— Коньки хотел сделать... Рази ж они ему под силу? И Карпо — тоже... Делаеть своим, ну, и не обойди ж и этих. Хоть один, хоть плохонький сделай. Они ж дети твоего родного брата... Им же тоже хочеться... Был бы Кузьма живой, тот бы склепал железные. Помню, парубком ишо был, брату Петьке подарил «снегурки». Сам клепал. Вы бы пошукали, может, где у вас там валяются они, никому не нужные?

Бабушка жалостливо смотрела на Ваську, вздыхала:

— Ну, што, водяной? На кониках захотелось покататься? И-их, рази ж так можно? А если калекой останешься? — И успокоила: — Ну, ничего, ничего... Бог даст, до свадьбы заживет. Я вот поспрошаю у Петьки, куда он девал свои коники. А были у него, были... Потом, когда стал женихаться, забросил куда-то... Пошукаю, внучек, на чердак полезу — там хламу разного много, может, найду. Вот и пожалеешь, что нет мужика в доме.

— Што ж теперь жалеть... — возразила мать.

— Не в жалости дело, — вела свое бабушка. — Находился человек — надо было соглашаться. Им отец нужен.

Ваське не хочеться слушать эти разговоры о «новом» отце, в другое время он бы не преминул возразить бабушке, но сейчас молчит. И тут вдруг вознегодовал Алешка. Приковылял к бабушке, ударил ее ладонью по коленке и заявил сердито:

— Не надо нам отца!

— Ой, боже мой! — удивилась бабушка. — И этот голос подает!

А через день бабушка пришла с большим свертком, развернула, пригласила внуков весело:

— Ну, водяные! Идите, выбирайте, на все вкусы! — И высыпала с грохотом на пол свою ношу. — Вон сколько добра всякого!

Подбежал Васька, смотрит — и в самом деле добро! Два железных конька и один деревянный. Железные, правда, не парные: старая самодельная «снегурка» с завитым носом,

как рог у барашка, и «ледка» фабричной работы. Когда-то на ней были винтовые зажимы, но теперь от них остались только дыры на передней стойке, а на задней торчал «бубон». Васька знал, как крепятся такие коньки. В каблук продельвается дыра, на каблук прибивается пластинка с овальным отверстием, в него-то и вставляется конек «бубоном». А спереди за подошвы винтами прихватывается — вот и все, и держится конек без веревок, без «бурулек». Видел однажды он такие коньки в городе, только не иметь их Ваське — слишком дорогие. Поэтому рад он до смерти и этим. Что ржавые они — не беда, почистит! Что разные — тоже не беда, зато железные, получше Никитиных. На «ледке» даже кое-где остались блестящие никеля.

Алешка нацелился на «снегурку», схватил ее, примеряет к своему ботинку.

— Куда ты лепишь? — отнял у него Васька «снегурку». — Не видишь, она велика тебе?

— Все тебе, да? — обиделся Алешка.

— А тебе куда? Вон деревянный бери себе.

— Бери, бери, внучек, — посоветовала бабушка. — Это хороший коник, падать не будешь. На нем, наверно, еще твой дедушка Павел катался. Возьми. Научишься сначала на одном, а потом и другой подыщем.

Принялись братья нацеплять коньки. Трудно Ваське натягивать веревки одной рукой: другая ведь перевязана, болит. Кое-как укрепил все-таки, Алешке бабушка помогла. Подались оба на луг. Васька впереди, идет по снегу враскоряку, где попадет на ледок — поскользнется, вскинет руки, удержится с трудом и дальше ковыляет. За ним Алешка на одном коньке, подпрыгивает: левая нога едет, правая подталкивает. Хорошо получается.

Смотрит им бабушка вслед, улыбается:

— Ишь, водяные, обрадовались... — Прокричала: — Полегче на льду-то, не разбейтесь.

Не слышат они бабушку, на лед спешат. Окружили их ребята, рассматривают коньки. Никита подкатил, с разгону затормозил — аж лед закрипел. Он уже твердо стоит на ногах, сделал около Васьки круг, присел на корточки, смотрит на «ледку». Не скрывает своего удивления:

— Ого, беговой конек! Где ты его взял?

Илья растолкал всех, дернул за конек, Васька не удержался, шлепнулся на снег.

— Тише ты...

Но Илья будто не заметил, что Васька упал, так даже и удобнее рассматривать его коньки.

— Много ты понимаешь, — покосился он на Никиту. — «Беговой»! Беговые длинные, как ножи. А это обыкновенный, для катания на льду. Носиком отпихиваться, видишь вот зазубрины на кончике.

Ваське приятно, конечно, что его коньки заинтересовали ребят, но ему не терпится прокатиться, и он пытается встать, но Илья крепко вцепился в конек, не может оторваться от него. И вдруг предлагает:

— Продай?

— Во! — удивился Васька. — Самому только что дали...

— Ну, сменяем? — не отставал Илья. — Хочешь пару за один?

— Деревяшки?

— Так зато парные. А «снегурку» отдашь вон Алешке, и будет у вас по два.

Посмотрел Васька на братишку — видит по глазам: хочет Алешка иметь второй конек, но отдавать такую «ледку» жалко.

— Не хочу, — сказал он.

— Голубя в придачу дам. Хочешь?

Екнуло сердце у Васьки — не ослышался ли? Голубя! Но виду не подал, что обрадовался, спросил:

— Дикаря какого-нибудь подсунешь...

— Дикарей не держим, — обиделся Илья. — Ну? Да или нет?

— Ладно, — выдавил из себя Васька и тут же испугался своего голоса, чужим он показался ему. Зря, наверное, согласился, обманет его Илья.

А Илья, не дав Ваське опомниться, в одно мгновение содрал с его ноги конек, отвязал свои и бросил на лед к Васькиным ногам. Крутит «ледку» перед глазами, трогает «бубон» — не расшатан ли. Нет, все крепко на коньке. Доволен Илья.

Сидит Васька на снегу один, все ребята возле Илья вьются, рассматривают конек, обсуждают сделку, и по всему видно, что Илья все-таки остался в выигрыше. Обидно Ваське, поднялся, подошел к Илье.

— А голубя когда отдашь?

— Сейчас, побегу за ним! — сказал Илья с издевкой и захохотал.

— Не отдашь?

— Да отдам! — отмахнулся Илья. — При свидетелях сказал: отдам, значит, отдам.

— А какого?

— Там посмотрим. — Илья встал на конек, оттолкнулся свободной ногой, покатился по льду.

— Дуррак, — сказал Никита Ваське вполголоса. — Думаешь, он хорошего голубя тебе даст?

— Иди ты, — Васька отвернулся от Никиты. Он и сам чувствовал, что сделал что-то не то. Не успел появиться конек, и уже его не стало.

Повесил голову Васька и поплелся домой. Алешка покрутился, покрутился, послушал, как смеется довольный Илья, не выдержал, попрыгал вслед за братом.

— Что ж так быстро накатились? — встретила их бабушка.

Взглянула на Васькины ноги, увидела только один конек, удивилась: — А коник где? Потерял? — И только тут заметила, что Васька чем-то расстроен: — Никак, отнял какой-то сапустат?

— Он променял его, — сказал Алешка. — Илья дал ему два деревянных коника и еще голубя даст.

— Променял? На голубя? Вот так раз! — Она смотрела на Ваську и не знала, как ей быть, что говорить. — Променял на голубя... Ну и как же теперь?

Услышала разговор мать, сдвинула брови:

— Променял? На голубя? — И, узнав подробности, долго смотрела на Ваську неподвижными глазами, как на чужого, а потом вдруг стукнула кулаком по столу и закричала: — Не позволю! Не позволю, чтобы ты менял, торговал, воровал, мошенничал. Не позволю! Менять — значит стараться обмануть. Не хочу знать, кто кого из вас обманул, а чтобы конек сейчас же дома был! И никаких голубей не потерплю! Еще мне не хватало заботы — голубятника в доме держать! Связался с Ильей! Сколько раз тебе говорила — обходи его десятой дорогой!

Мать разгорячилась, на глазах у нее выступили слезы. Бабушка хотела ее успокоить, но она и на бабушку накинулась:



— Не заступайтесь! Разве вы не видите, куда он растет? — И опять к Ваське: — Иди и сейчас же принеси конек. А иначе и домой не приходи.

Стыдно Ваське слушать материны упреки, а еще стыднее идти и умолять Илью разменяться обратно. А если он не согласится?..

Вышел Васька на улицу — на лугу пусто, разбежались уже все по домам. «Ну, и хорошо, — подумал Васька. — Не смотреть ребятам в глаза». Направился к Илье домой. Постучал в окошко, вышел Илья радостный во двор, рот набит едой — жует что-то.

— Чего тебе? — А язык с трудом во рту ворочается, никак не прожует. — Голубя? Я еще не шешив... — Наконец прожевал, сглотнул, поправился: — Я еще не решил, какого тебе отдать. Не распаровывать же? А лишнего у меня сейчас нема. Подожди, вот поймаю чужака — сразу отдам. Куда тебе торопиться?

— «Ледку» отдай обратно... — выдавил из себя Васька. — Мама ругается. — И он бросил к порогу деревянные коньки Илья.

Посмотрел Илья на коньки и перекошил сердито лицо:

— Чего? Чего? Назад раком? Нет уж, брат, дудки.

— Отдай. — Щеки у Васьки дрогнули, на глаза навернулись слезы. — Я, что ли, сам... Мама ругается...

— «Мама», «мама»... — передразнил его Илья. — Раньше надо было думать. — И повернулся к двери.

— Отдай... — Васька схватил его за рукав.

— Эх ты, тюлька мариупольская! — обозвал Илья Ваську, поднял в сених конек, сунул Ваське в живот. — Возьми свою железяку... По правилам — тебе бы морду надо набить, чтобы другой раз знал, как меняться. Да ладно уж... — И он вдруг вырвал конек из Васькиных рук, размахнулся и бросил его далеко за ворота на улицу в снег.

Васька побежал, поднял конек, оглянулся на Илью, прокричал:

— Илюх́а — требуха!

В ответ Илья пустил в Ваську кусок ледышки. Васька пригнулся, лед со свистом пролетел мимо уха.

— Требуха!

— Попадись мне, я тебе требуху выпущу, — пригрозил Илья.

Пришел Васька домой, бросил у порога конек, а мать все никак не успокоится, костит его:

— Стыдно? Пусть! Будешь знать другой раз, как менять-торговать. Это тебе наука. Ишь какой! Гляди у меня, меняльщик. Может, ты и на деньги играешь? Узнаю — руки отобью.

Молчит Васька, чувствует вину, не огрызается.

## БОЛЬНИЧНЫЙ СУП

Мать оказалась права: год выдался тяжелым. Уже в феврале кончилась картошка, и сразу почувствовалось, как мал паек, который давался на карточки. Особенно стало не хватать хлеба. Пойдет Васька в магазин, продавщица выстрижет из карточки талончик, бросит на весы треугольную вырезку из буханки тяжелого клейкого хлеба и долго смотрит на качающиеся весы, норовя схватить и еще отрезать от куска. А Васька стоит и тоже напряженно смотрит за чашками весов, хочется ему, чтобы она еще и маленький довесок положила. Тогда Васька этот довесок съест и хоть как-то утолит голод.

Покачались, покачались весы, и застыла вверх чашка с хлебом. Продавщица бросила на нее кусочек величиной с райское яблочко и тут же смахнула все с весов на прилавок. Васька облегченно вздохнул — дорог ему этот кусочек: довесок всегда был как бы наградой ему за то, что он ходит за продуктами в магазин. Сегодня довесок, правда, слишком мал, но все лучше, чем ничего.

Еще не выходя из магазина, отщипнул он крошку от довеска, остальное сунул в карман — хотелось растянуть кусочек на всю дорогу. Погонял, погонял во рту кусочек, и хлеб будто растаял. Не жевал, не глотал, а его уже и нет, даже на половину пути довеска того не хватило. И голод не утолил, есть еще больше захотелось, только раздражил себя. Незаметно как-то получилось — отколупнул Васька уголок от основного куска и тут же стал снова его прилеплять — уж больно заметно. Но уголок не прилипал, и опять получилось как-то само собой — бросил его Васька в рот и проглотил.

Дома мать взяла хлеб, повертела, покачала головой:

— И што это тебе всегда хлеб без довеска дают? Как наловчились продавщицы отрезать.

Васька покраснел, признался:

— Был маленький... Я съел.

— Как же ты съел? А делить буду на всех поровну — и тебе, и всем?.. Значит, от Алешкиной доли, от Танькиной надо и тебе выделять, а ты ведь свое уже съел. Оно ж обидно им будет?

Молчит Васька, стыдно ему: права мать, несправедливо получается. Но ведь не удержаться голодному, чтобы нести в руках хлеб и за всю дорогу не отщипнуть ни крошки. Желая как-то оправдать себя, Васька проворчал недовольно:

— Ну и нехай тогда они сами ходють в магазин... Поглядим, какие они довески будут носить...

— А што ж я так не рассуждаю? Я тоже сказала б: «Не буду на вас работать, сами добывайте себе харчи, одежду-обузу. Давайте — каждый себе». Ну?

Мать не ругалась, не кричала на Ваську, говорила медленно, раздумчиво и спокойно, и от этого Ваське было почему-то тяжелее выслушивать ее. Он стоял, ковырял ногтем лупившуюся от времени чешуей клеенку на столе и от стыда готов был сквозь землю провалиться.

— Оно само как-то... — пробубнил он. — Не вытерпеть...

— Как же я терплю? Все собираю, все домой несу, чтобы на всех разделить, сама в рот ни крошки не брошу. — И мать положила на стол узелок, развязала — кусочки различной величины рассыпались по столу.

— А это вон белый! — удивленно закричал Алешка, придавив пальцем один кусочек.

— Белый, белый... Погоди трошки, — мать посмотрела на Ваську. — Вот. Могла б я это съесть? Могла, и вы б ничего и не знали. А я несу. Вам несу. Больной какой не съест — подбираю все. Прячу в карман, потом в узелочек...

Все эти куски — объедки со стола больных — еще совсем недавно вызывали у Васьки отвращение, и он отсовывал их от себя, морщился:

— Может, они заразные...

— Значит, пока не голодный, — спокойно говорила мать.

И правда, был, наверное, еще не голоден, теперь бы он съел все их без разбору.

Мать принялась раскладывать куски на четыре кучки. Все молча следили за дележом. Еще не знали, кому какая кучка достанется, и потому ни ревности, ни зависти не было, тем более что дележ шел абсолютно точно. Разделила и тут же подвинула каждому:

— Берите...

— А белый? — посмотрел на мать Алешка.

— А белый иссушим в сухарик и спрячем. Может, кто заболает...

Вдохнул Алешка и признался:

— Я хочу заболеть.

— Глупый.

— Больным белый хлеб дают.

— Глупый, — повторила мать. — Этот больной нынче утром умер, вот его пай от завтрака и остался нетронутым...

Она взяла магазинный хлеб, разрежала на три части и положила Таньке, Алешке и себе.

— А ты свое уже съел, — сказала она Ваське.

— Ну и ладно, — проворчал тот сердито сквозь слезы.

— Да не «ну и ладно», а совесть надо иметь! — прикрикнула на него мать. — «Ну и ладно»!

Нагнув голову, Васька поплелся от стола.

— Куда? Вернись! — строго приказала мать. — Есть будем. Я вон в бидончике супу принесла. Спасибо — повар хороший, сознательный, сам нынче предложил. «Иди, — говорит, — супу налей себе, остался в котле, покормишь своих ребятешек».

Суп в бидончике мать приносит из больницы не впервые, и Васька подозревал, что она, как и куски, собирает его из тарелок больных. Поэтому ел он всегда этот суп с опаской, с брезгливостью. Спросить же, где она берет этот суп, стеснялся.

— А вчера? — вернувшись к столу, буркнул он матери.

— Шо вчера?

— Вчера где взяла суп?

Мать обернулась, долго удивленно смотрела на сына, не понимая, о чем он ее спрашивает.

— Как где? В больнице... Или ты думаешь — украла? Я ж помогаю на кухне — посуду мою, котлы чищу. Вот мне и нальют тарелку пополей, а я не ем, в бидончик выливаю. В котле всегда остается ложка-две, я их выбираю...

Успокоился Васька: значит, не из недоеденных больными тарелок этот суп.

— Думаешь, я воровка? — не унималась мать. — Я за этот суп работаю, кроме своей работы, еще и на кухне...

— При чем тут воровка? — проворчал Васька, не желая говорить о своих недавних подозрениях.

— Голод не тетка, прижмет — может, и воровкой станешь. Вон люди уже от голода пухнут, а вы еще слава богу. Если б не эти куски, да не этот суп, так, наверно, не так бы заговорил. Вон Ахромеевы, кажут, побираться ходят в дальние деревни. То-то: сытый голодному не верит. Так и ты.

«Сытый», — переговаривает про себя Васька и надолго задумывается: Илья Ахромеев давно уже в школу не ходит, и говорят о них разное. Один раз Васька встретил Илью, шел тот откуда-то домой медленно, нес какой-то оклунок. Но мало ли где он был и что нес. На Васькин вопрос: «Откуда?» — ничего не ответил, только взглянул исподлобья, как на чужого, и поплелся дальше. «Больной», — подумал Васька. И в школе сказал, что Солопихин болеет. Видел, как он шел медленно-медленно, наверное, из больницы.

А теперь похоже, что не из больницы...

— Весь хлеб не ешьте, оставьте на завтра, — предупредила мать. — Я когда еще приду да и принесу ли чего, а день прожить надо... Вот если бы Вася в обед прибежал к больнице, может, еще удастся разжиться... — И посмотрела на Ваську, ожидая ответа.

Не хочется Ваське идти за супом в больницу, стыдно, и он начинает лихорадочно соображать, как отказаться, какую найти причину, чтобы не идти.

— А в школу? — спрашивает он и в душе торжествует: уроки пропускать — на это мать ни за что не согласится.

— Обед-то когда? — спокойно говорит она. — В два. Кончатся уроки, прямо из школы и приходи. Возле ворот стой, я буду выглядывать тебя, — закончила она.

Поджал Васька недовольно губы: не прошел номер.

— Ну, как хочешь, — сердито сказала мать. — Для себя, что ли, я уговариваю? Для вас же. Не хочешь, сидите голодные, ждите, когда приду. Стыдишься. А мне, думаешь, не стыдно с этим бидончиком?..

— А Танька? Что она, не донесет?...

— Придумал! — воскликнула мать. — Собака какая привяжется, унюхает суп, разве ж она отобьется?

— Ладно... — выдавливает наконец из себя Васька и склоняется над тарелкой.

На другой день в школе у него все время не выходит из головы больничный суп — боится, что узнают об этом ребята и будут дразнить. Хотя редко кому из них было до смеха — всем голодно. Правда, не всем одинаково. Те, у кого отцы работали на заводе, на транспорте или на шахте, жили нормально: у них рабочие карточки, хлеба давали им по восемьсот граммов на рабочего и по четыреста граммов на иждивенца. И других продуктов перепадало поболее. А Васькина мать работала в сельской больнице, и карточка у нее сельская. Хлеба по этой карточке они на всю семью получали семьсот пятьдесят граммов. Вот и живи...

«И почему так устроено? — недоумевал Васька. — В поселке две больницы: сельская и на станции — железнодорожная. Почему бы матери не работать в железнодорожной? Такая же больница, такие же больные, а продуктовые карточки там как у рабочих. Надо же случиться так, что мать попала именно в сельскую больницу...»

После уроков покрутился Васька в школе еще какое-то время, подождал, пока Никита ушел домой — боялся Никитиных расспросов, — и направился к матери. Через решетчатые ворота заглянул в больничный двор — никого. Идти к матери в палату неудобно, да она и не велела. Стоит Васька, ждет, наблюдает за тихим безлюдным двором, садиком — на всем лежит нетронутая снежная белизна. Только дорожки аккуратно расчищены и песком посыпаны. Но, наверное, сейчас и песок мало помогает: сверху сыплется, идет какая-то изморозь, «круп», и все покрывается ледяной коркой. Пока Васька дошел до больницы, чуть ноги не повыкручивал: гололед.

Ждать ему недолго пришлось, мать сразу заметила его. Смотрит Васька — бежит женщина в халате, торопится к воротам. Васька не сразу и узнал в ней свою мать. Только когда она уже была совсем близко, улыбнулся ей. А мать не улыбается, какая-то она вся напряженная, перепуганная, отвернула полу халата, просовывает меж прутьев бидончик, а сама воровато оглядывается по сторонам.

— Бери скорее. Не дай бог, увидит главный врач... Неси.

Васька заторопился, схватил бидончик, наклонил его, крышка слетела на снег, а на руку ему плеснулся теплый пахучий суп.

— Бери, бери двумя руками, — торопила его мать. — Дома всем поровну раздашь, не обижай никого. Мне не оставляйте, я тут поем.

И когда уже Васька отошел от ворот, прокричала ему вдогонку посмелее:

— Осторожнее носи, не поскользнись гляди.

Несет Васька суп, а перед глазами все стоит перепуганная мать. «Говорила, повар наливает, а сама оглядывается, будто украла...» — недоумевает он. Но вскоре уснокоился, и уже совсем другие мысли заполнили его голову. Вкусный запах от бидончика все время донимал Ваську, и он то и дело сглатывал голодную слюну. Хотелось остановиться и попробовать суп — отпить через край из бидончика, но он всякий раз решительно гнал это желание и ускорял шаг. Утешал себя тем, что скоро придет домой, разделит поровну суп и будет не торопясь есть свою долю.

Но так, видно, устроено в мире: если не везет человеку, то не везет во всем. Не успел Васька подумать о домашней трапезе, как тут же поскользнулся и упал навзничь, больно ударившись головой о дорогу. Не чувствуя боли, он тут же вскочил, пытаясь как-то предотвратить основную беду — спасти суп. Но ничего уже сделать было нельзя: пустой бидончик, подпрыгивая на неровностях дороги, катился под горку, рядом с ним растекалась белесая лужа, разваренное пшено, кусочки картошки валялись на дороге. И только теперь Васька ощутил, как звенит в голове. Подняв бидончик, он стал собирать в него картошку, сгребать ладошками пшено. Нашел в кювете крышку, закрыл, нахлебучил шапку и медленно поплелся домой.

Танька и Алешка с нетерпением ждали Ваську и, когда увидели его с бидончиком, заулыбались радостно. Алешка подбежал к брату, но, боясь помешать донести до стола драгоценную ношу, попятился и так шел перед Васькой задом наперед, пока не наткнулся на стол. Васька молча протянул ему бидончик и стал раздеваться.

Бидончик показался Алешке необычайно легким, и тот, недоумевая, зачем-то встряхнул его, а потом, сняв крышку,





заглянул внутрь. Почувствовав неладное, подошла Татьяна, отобрала у Алешки бидончик и тоже заглянула в него.

— Сожрал... — проговорила она, скосив глаза на Ваську. — Ребенка голодным оставил...

Алешка захныкал.

Васька резко обернулся, хотел по привычке запустить чем-либо в сестру, но сдержался, проговорил:

— Если бы сожрал... Упал я... Поскользнулся и упал на Баниной горе. Вон шишку какую набил. Еле поднялся... — Он стал тереть ушибленное место. — Потрогай...

Танька недоверчиво потрогала Васькину голову. Нащупав шишку с голубиное яйцо, все равно не смягчилась:

— Под ноги надо было глядеть...

— Сама пошла б, раз такая умная, — огрызнулся Васька. — Не плачь, Алеш, сейчас что-нибудь сделаем. — Он взял кочергу и вышел из комнат.

Во дворе Васька очистил снег у погреба, поддел кочергой и отвернул заиндеветшую с внутренней стороны крышку. Из темной дыры погреба дохнуло затхлой теплотой. По скользкой лестнице Васька спустился в погреб. Здесь было сыро, пахло бочками из-под солений, овощной гнилью, плесенью.

Заглянул Васька в одну бочку — пусто, в ней когда-то была капуста, давно кончилась. Заглянул в другую — толстый слой плесени покрыл протухший рассол. Закатал Васька рукав повыше и сунул руку по самый локоть в бочку, стал шарить в холодном рассоле. Разбухшие бодылья укропа и разложившиеся уже, неприятно мягкие широкие листья хрена липли к руке. Рассол оказался холодным, и рука быстро заоченела, в пальцах закололо, но Васька все шарил и шарил, пока под руку не попался огурец. Огурец был старый, осклизлый, с провалившимся боком, но Васька и такому был рад. Положил его на деревянный кружок, подул на пальцы, отогрел и снова полез в рассол. Но сколько ни мутил его, больше ничего не выудил.

Вытер руку валявшейся тряпкой, сунул под мышку — стал отогревать. Увидел в углу, где когда-то хранилась картошка, кучу мусора. Тонкие, бледные картофельные ростки тянулись из нее вверх. Схватив кочергу, Васька принялся разгребать кучу. Перевернув всю, он нашел

лишь несколько штук мелких, не больше наперстка, мягких, сморщенных картофелин и такую же маленькую и мягкую луковицу. «Улов» был невелик, но Васька обрадовался и этой находке, обдул, сунул в карман.

В другом углу, в песке, где с осени лежали морковь и свекла, Васька совсем ничего не обнаружил.

Собрав свои трофеи, Васька понес их в дом.

Танька и Алешка встретили его пытливыми голодными взглядами. Чтобы успокоить их, Васька бодро сказал:

— Сейчас суп сварим... Рассольник, — и он выложил на стол свою добычу.

Танька, осмотрев огурец, сморщила презрительно нос:

— Он же гнилой.

— Ничего. Это он сырой такой. А сварится — совсем другой будет, — успокоил ее Васька.

Поверив брату, Танька принялась шуровать в печке, а Васька стал чистить картошку. Чтобы не срезать мякоть, он скоблил ее, как скоблят молодые, только вытщенные из-под зеленого куста клубни. Мягкая, будто из ваты, картошка не поддавалась скоблению, и тогда Васька помыл ее тщательно в нескольких водах и так, прямо в кожуре, разрезал на мелкие кусочки и бросил в кипящую воду.

От огурца несло гнилью, и чем больше Васька его мыл, тем меньше от него оставалось.

— Может, не надо его класть? — усомнилась Танька. — Он воняет...

— «Воняет, воняет»... — рассердился Васька. — А что же класть? Воняет — за тобой не гоняет, можешь не есть.

Он раскрошил огурец и положил в ту же кастрюлю. Лук надо было пережарить на сковородке, но жиров в доме никаких не было, и Васька, раскромсав луковицу, бросил и ее в суп.

Кипит варево в кастрюле, ждут его Алешка и Танька не дождутся. А Васька, как заправский повар, не торопится, все делает как надо, как делает обычно мать, когда готовит обед. И эта обстоятельность, и Васькина деловитость внушают ребятам уверенность, что скоро они будут сыты.

В довершение ко всему Васька вылил в кастрюлю содержимое бидончика и, подождав, пока снова закипит, сдвинул кастрюлю на край плиты.

— Ну, налетайте! — скомандовал он весело и стал разливать суп по тарелкам.

Первой попробовала суп Танька и тут же, не сумев проглотить, сморщилась, заплелась, бросила на стол ложку.

— Ты чего, ты чего? — строго закричал Васька. — Не нравится — не ешь, а другим аппетит не порть. Ешь, Алеш. Только подсоли, я забыл посолить.

— Он горький и вонючий... — сказала Танька.

— Опять «вонючий»! Привередливая какая! Ешь, Алеш, ешь, не обращай на нее внимания.

Алешка недоверчиво мешал суп ложкой, но есть не решался.

Васька зачерпнул полную ложку и, не раздумывая, проглотил, как глотал когда-то горькое лекарство.

— Ну и ничего. Суп как суп, — сказал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не сплунуть горечь.

— А песок? — не унималась Танька.

— Че песок?

— Песок на зубах скрипит.

— Ну и что? Это, наверное, попал с пшеном, когда я собирал его с дороги. — И посоветовал: — А ты ложкой не гребь по дну тарелки, бери с вершочку. Песок на дно оседает. И зубами нечего жевать. Че тут жевать? Бери в рот и глотай. — И Васька глотал ложку за ложкой. Глотал да подхваливал.

А к вечеру у него разболелся живот, началась рвота, расстроился желудок. И когда мать пришла с работы, его уже так вымотало, что пришлось вызывать врача. У Васьки врач признал дизентерию, и его немедленно отвезли в больницу...

## БУРАКИ

Лечили Ваську долго. Вышел он из больницы стриженный, тощий и длинный. От худобы скулы выпирали, как у монгола. Глаза провалились в глубокие синие впадины.

Вышел, а на улице снега уже нет и в помине, солнышко светит, тропки просохли, на пригорках травка зеленет. Пришлось Ваське снять шапку, завернуть в узелок. Мать проводила его за больничные ворота, спросила:

— Дойдешь ли?

— Дойду...— И улыбнулся Васька. Солнышку, траве, просохшим тропкам улыбнулся.

— Шапку надел бы: совсем не жарко, простудишься.

— Не...— сказал Васька и пошел медленно домой.

Таньку и Алешку он увидел в конце огорода, ползали они там вдоль межи, собирали что-то. Подошел к ним, те прекратили работу, уставились на брата. На руках у них старые варежки, на земле стоит матерчатая сумочка с травой.

— Что вы делаете? — спросил Васька.

— Крапиву рвем. На борщ, — сказала Танька. — Мама кипятком ее обдаёт и варит борщ. Вкусный получается, кисленький, как со щавелем.

— Тебе хорошо, ты в больнице лежал, — упрекнул брата Алешка. — А я так и не заболел...

— А худые, — сказал Васька, разглядывая ребят.

— Супу-то маме больше не дают, — сообщила Танька. — Только свою порцию приносит, и все. Хорошего повара уволили, а взяли плохого, жадного.

— А я и не знал, — удивился Васька. — Мне мама ничего не говорила. — Он присел на корточки, сорвал молодую крапиву и, бросив ее в сумку, стал разглядывать руку. — Жжется.

— Рукавичку надень, — посоветовала Танька.

Вечером мать попросила Ваську:

— После школы зайти к тете Груне. Я встретила ее сегодня, обещала бураков дать. Дядя Иван в колхозе разжился.

В школе последний час — урок труда, уборка школьного сада. Ребята сгребают прошлогодние листья, ломают сухие прутья бурьяна, жгут костер. Вялый дымок от него медленно плывет сквозь сад, стелется огородами. Девочки метут, мальчишки окапывают деревья. Никита Карпов — крепыш, от его ноги лопата с хрустом вонзается в землю по самые закрайки, будто в рыхлый песок. Вывернет Никита черный ком, увидит красного выползка, схватит рукой и бросит девочкам. А те с визгом врассыпную.

— Да ну, Гурин... Ну не бросайся! — заверещат на разные голоса и тут же вновь сбегутся в кучу, разглядывают «животное», морщатся, плюются.

— Гурин, не балуйся, — оборачивается на визг

учительница и смотрит то на Ваську, то на Никиту, не знает, какой Гурин бросается червями.

Никита уже успел насупиться — принял свой обычный вид, копает сосредоточенно, будто и не слышит, что делается вокруг.

Васька тоже с лопатой, но ему не до шуток, работа у него идет туго. Давит ногой лопату, качается на ней, а она не слушается его, даже на полштыка в землю не залезает. Перед глазами у Васьки круги плывут, поташнивает от голода. Отдохнет немного, опять принимается за работу.

Поднял голову на голос учительницы, увидел на миг ее, и вдруг она поплыла перед глазами, будто в тумане. Васька покачнулся, но успел схватиться за дерево, устоял, не упал.

Подбежала учительница, спросила испуганно:

— Тебе плохо, Гурин?

Но у Васьки в глазах уже прояснилось, он видит перепуганную учительницу, лица ребят, уставившихся на него, говорит виновато:

— Не...

— Сядь, отдохни, Гурин.

— Не... — повторил Васька. Ему стыдно, что на него все смотрят, и он ищет свою лопату, нагибается к ней, но учительница опережает его, поднимает упавшую лопату, подает Ваське. Он опирается на нее, пытается снова копать.

— Отдохни, Гурин, — говорит учительница и отходит от него, машет всем рукой — работайте, мол, не отвлекайтесь.

Ваське действительно становится лучше, он начинает ковырять землю.

Увидел в выемке, будто выводок в гнездышке, штук пять ростков молодых кленов. Крепенькие, пушистые, уже по второй паре листочков выпустили. Захотелось Ваське выкопать осторожно этот выводок и рассадить дома в палисаднике. Представил себе, как эти клены вырастут, разрастутся, какая тень вокруг будет летом. Ваське давно хотелось, чтобы возле дома росли деревья, как в школьном саду, особенно белая акация и клен. Клен ему нравился за широкую крону, за резные большие листья, за «аэропланчики», которыми увешивает себя это дерево осенью. Акацию Васька любит за цветы. Скоро она будет цвести, вся украсится белыми гроздьями соцветий —

сладкими, пахучими. Если бы у Васьки была своя акация, он бы сл ее цветы, не лазил бы через заборы на чужие деревья.

Поискал глазами, нашел прутик акации — торчит из земли, между колючек уже зеленые почечки проклюнулись. Выкопать бы и ее, да поглубже, чтобы корень не повредить, и унести домой, во дворе посадить. Позвал Никиту:

— Никит, выкопай мне... А то у меня лопата тупая...

Никита подошел не спеша, посмотрел на молодые кленки, спросил:

— Зачем тебе они?

— Дома посажу.

Усмехнулся Никита:

— Нашел что сажать... Лучше абрикосу или сливу.

— Абрикоса у нас уже есть. А клен красивый, — сказал Васька. — И вот эту акацию выкопай.

Никита выкопал аккуратно все деревца, посоветовал:

— Ты корешки грязью облепи и какой-нибудь тряпкой обмотай, чтобы не высохли.

Васька так и сделал. Только тряпки не нашел, подобрал обрывок газеты, завернул в нее.

Прямо из школы Васька пошел к тетке — материнной сестре — за бураками. Чтобы не испачкать рубаху, он нес на ладони пучочек молодых деревцев.

Тетка Груня жила далеко, на противоположной стороне поселка. Идти к ней надо через мосток, а потом — на Куциярову гору. Идти Ваське тяжело, по дороге он несколько раз присаживался отдыхать. Отдохнет, кружение в голове прекратится, туман перед глазами рассеется — снова идет потихоньку. Только бы дойти...

К тетке Груне Васька всегда ходил с охотой — она добрая: обязательно накормит, угостит чем-нибудь вкусным и с собой даст. И все приговаривает: «Ивану только не кажите, а то ругать меня будет... А может, и не будет — с какой ноги встанет. Лучше, если он ничего знать не будет».

Ваське казалось, что она напраслину наговаривает на своего мужа. Дядя Иван — крепкий, здоровый мужик, работающий, каких мало встретишь. Работает он на заводе, отпуск свой проводит в колхозе — корм корове зарабатывает. Если выдается свободное время — выходные,

вечера, — прямо с завода бежит на огород, что за посадкой. Там у него припрятаны тяпка, лопата. Работает дотемна, а если лунно, то и ночи прихватит.

— Иван, загонишь ты себя, — ругает его тетка Груня, а он в ответ только отмахивается:

— Молочко любишь, а чем же корову кормить? Без корму она доиться не будет.

— Да нехай она сгорить...

— И-их, — качает дядя Иван головой. — Ума ж у тебя нема и вот столечки. При детях! Завтра забирай всех — и в посадку, шоб по мешку травы нарвали.

— Во, пожалела на свою голову...

Вот и вся обычная их перебранка, а чтобы он показал когда-нибудь свою жадность и ругал тетку за то, что она покормила кого или дала лишнее, — такого Васька не помнит.

С трудом добрался Васька до тетkinsого дома, а во двор войти сил не хватило, присел на завалинку. Увидела его тетка, всплеснула руками:

— Вася?.. А в хату почему не идешь? — И тут же заторопилась: — Ну, ладно, посиди, я сейчас бурачков достану. Пока Ивана дома нема...

Тетка Груня — родная сестра Васькиной матери, но друг на дружку они совсем не похожи. Мать — смуглянка, черные волосы блестят, как вороново крыло, а тетка — белобрысая и худая (сколько Васька ее помнит, она всегда вот такая — кожа да кости). У матери глаза темно-коричневые в длинных черных ресницах, у тетки глаза голубые, а ресницы светлые. И лицо у тетки немного попорчено оспой. А характерами с матерью они одинаковы, особенно когда на своих детей кричат, даже голоса схожи...

Тетка вынесла Ваське три продолговатых бледно-желтых свеклины. «Сахарные», — догадался Васька и посмотрел на свои руки — они были заняты саженцами и книгами.

— Шо это ты за траву такую носишь? — кивнула она на кленки. — Зачем она тебе? Выбрось.

— Это клен... — сказал Васька. — Дома посажу.

— Ой, боже мой! Он еще про клен думает! А как же ты бураки понесешь? Ну, ладно, подожди.

Она положила свеклу на завалинку, побежала в дом,

принесла старый платочек, завязала в него драгоценные «плоды».

— Вот так... — Взглянула на Ваську: — Да ты ж, наверно, голодный? А мне и покормить тебя нечем, племянничек мой дорогой. Корова наша, как назло, перегуливает. Сказала Ивану: «Зарежь ее к сатанам, хоть мясо поедим. Что ж дармеедка стоит?» Не хочет, водил к ветерану, тот сказал, что она тельная, но будет поздно. А я не верю. И в доме нет ничего, один бурак варится... Может, он уже сварился? Ходи в хату, оставь это все тут, никуда не денется.

Она повела Ваську в дом. Еще в сенях его окутал тяжелый дух свекольного варева, такой дух обычно стоит у Карпа в кухне, когда они варят еду поросенку. Но сейчас Васька даже не поморщился, а когда тетка открыла большую кастрюлю и, не боясь ожечья, стала рыться в ней длинной мешалкой, он невольно сглотнул слюну. Достала наконец, положила на тарелку перед Васькой две дымящиеся паром свекольные скибочки — белые, с чуть синеватым оттенком, будто вареное сало.

— Пробуй. Сыроватые, наверно?

Васька грызнул осторожно кусочек, зубы легко откусили мякоть. Покрутил головой — нет, не сырые. Ест. Ближе к середине свекла, правда, тверже, сыра еще, не проварилась, но он не хочет этого замечать, съел кусок до конца, принялся за второй.

Идет домой и чувствует: не кружится голова и сил будто прибавилось. И хочется ему скорее донести домой свеклу, рассказать, какая она сладкая и вкусная, поскорее сварить ее и накормить своих младших.

Чтобы сократить путь, Васька не пошел улицей, а завернул на огороды и направился через выгон. Идет полем, радуется весне. Вдали зеленым морем озимь раскинулась, жаворонок невидимый неумоимо звенит в поднебесье, терпко молодой полынью пахнет. И вдруг увидел на пригорке, где солончак на солнце белеет, дым от костерка поднимается и двое ребятшек возле него сидят. Присмотрелся и узнал по одежде — Илья Ахромеев и его младший братишка Игнатка. Возле них ведро стоит. «Наверное, сусликов ловят», — догадался Васька и направился к ним.

Подошел и чуть не побежал обратно от испуга. Лицо



у Ильи было пухлое, какое-то водянистое и блестело, как зеленое бутылочное стекло, глаза бессмысленные, взглянул на Ваську и ничего не увидел, продолжал медленно свое дело. Все движения его были удивительно замедленными. Игнатка сидел прямо на земле, смотрел в костер и постоянно сглатывал слюну. Илья подкладывал в костер сухие пучочки прошлогодней травы, стебельки бурьяна и ждал, когда они вспыхнут пламенем. Раздуть огонь у него, наверное, не хватало сил. Когда трава перегорела, Илья отгреб пепел, и Васька увидел обгорелого суслика. Он лежал на животе с закрытыми глазами, круглый и тугой, словно надутый. Шерсть на его спинке совсем обгорела, и кожа коричневела, как у смоленого кабана. Да и весь суслик был похож на маленького поросеночка.

Илья поскоблил суслика ножичком и перевернул его на спину, лапками вверх. На брюшке еще лохматилась мокрая рыжая шерсть. Илья обложил суслика снова сухой травой, подгорнул тлевшие угли, и костерок задымил.

— Зачем вы?.. Есть будете ховрашка? — спросил Васька.

Но ему никто не ответил, ни Илья, ни Игнатка даже не пошевелились, сидели будто заколдованные.

Тогда Васька развязал узелок, достал одну свеклину и протянул Илье:

— Возьми, испеките в костре.

Глаза у Ильи оживились, он повел ими из стороны в сторону, но больше никакого движения не сделал и не протянул руки, чтобы взять свеклу, словно околел. Васька положил возле него свеклу, завязал узелок и медленно пошел от них, осторожно ступая, будто боялся разбудить кого-то.

Когда Васька пришел домой, мать уже вернулась с работы и сидела разговаривала с бабушкой. Сидела, правда, только бабушка, а мать стояла перед ней и, вытирая глаза, громко ей выговаривала:

— Брат родной называется, а хоть бы раз пришел да поглядел, как тут сестра его живет с тремя ртами. Может, они уже и померли все от голода. Ишо зимой просила: «Платон, устроил бы ты меня куда-нибудь на транспорт, ты ж большой начальник. Устрой, чтобы я получала рабочую карточку». — «А куда я устрою? Вагоны мыть?» — «Да хоть и вагоны. Што я, работы боюсь! Не боюсь». — «Ладно,

поговорю. Может, в столовую официанткой... сможешь?» — «Да чи не сумею? Больным угоджаю, а то здоровым не смогу тарелку подать». — «В столовой было б хорошо. И сама сыта, и карточка рабочая... Ладно, поговорю». Да и до сих пор говорит. Ну, есть у него совесть? Я и не знаю, дотянем мы до новины или нет. Да и што она даст нам, та новина? Огород незасаженным остается, нечего сажать. Принесла вон картофельных очисток, посадила. Говорят, если глазки целы, могут дать ростки. Да все это пустое: какое семя, такое и племя. Только трата пустая трудов. Чего ждать? — Мать заплакала. — До того доходит, что руки на себя накласть хочется, чтобы не видеть их голодные глазенки.

— Ну-ну, не дури, — строго сказала бабушка. — «Руки накласть»! Ишо што придумала! А об них подумала? — кивнула она на детей.

— А што ж я одна, никто помочь не хочет. Што ему, тяжело, Платону? Нет, просто возиться не хочет. Сам наевши — и ладно, а другие как хотите. Брат называется.

— Ну, не плачь, не плачь. Я вот прямо от вас да к нему пойду, поругаю. Поможет устроиться на другую работу. И правда, што это за работа — хлеба на четырех дают, будто писклятам.

Мать обернулась к Ваське, отобрала узелок.

— Спасибо, хоть сестра пока не отворачивается, все што-нибудь подкинет. — Развязала, спросила у Васьки: — Только две дала? А говорила, Иван полмешка принес...

— Три... — сказал Васька.

— А где же третья? Потерял?

— Илюхе Ахромееву отдал. — И Васька рассказал о своей встрече на выгоне. Рассказал и ждал, что мать будет ругать его, но она задумчиво молчала. И тогда Васька, чтобы опередить ее, напомнил: — Сама ж говорила: «Дай бог давать, да не дай бог просить...»

— А я тебя ругаю? — обиделась мать. — А это что? — кивнула она на Васькины саженцы.

— Клен и акация.

— Зачем?

— Посажу. Клены — в палисаднике, а акацию во дворе.

— Блаженный какой-то, — вздохнула мать. — Огород надо сажать, семян никаких нема, а он клен, акацию...

Васька ничего не сказал матери, рассадил деревца, как

и задумал, полил их обильно водой, а чтобы никто не сломал, огородил их частым заборчиком из сухих веточек. Пока сажал деревца, все время думал об Илье. Так и стояли они с Игнаткой перед глазами — пухлые, угрюмые, медлительные. И — обгорелый суслик...

Кончил дело Васька, не выдержал, побежал к Никите. Рассказал ему все об Илье, под конец попросил:

— Слушай, Никит, дай ему сухарей, у вас же целый чувал огромный... Дай, а то они умрут...

Никита посмотрел на Ваську исподлобья, буркнул:

— Во! Откуда они у нас?

— Да как же... А помнишь?..

— «Помнишь»... Дураки тогда были, полезли хорониться в сухари и перекувырнули.

— Ну и што? Мы ж их собрали.

— Собрали. А толку? Мамка их поросенку скормила, цвелье. Если бы не свалили тогда, может, и достоялись... Сам сейчас съел бы, хоть и цвельый...

— Все-все скормили? — удивился Васька. — И ни одного не оставили?..

Он вспомнил вкус того сухаря, который грыз, сидя на верхотуре набитого матраса, и пожалел, что не набил тогда ими карманы про запас: как бы сейчас онигодились...

## ПЛАТОН

После материного разговора с бабушкой прошло немало дней, Васька уже стал забывать его. Сначала у него затеплилась кое-какая надежда, что мать устроится на другую работу и они получают рабочую карточку, но время шло, а перемен никаких не предвиделось.

И вдруг грохот в сенях и громкий мужской голос:

— Есть ли кто живой в доме?

— Есть, есть, — тут же отозвалась мать и впустила в комнату своего старшего брата Платона. — А ты што ж, думал, что мы уже померли, хоронить пришел? И за то спасибо... А мы, слава богу, ишо живы, так што не огорчайся.

— Ну и колючая ж ты, сестра! — покрутил головой Платон. — Погоди, ругаться потом будем. Давай сначала поздороваемся. — Он протянул ей руку, поцеловал в щеку.

Потом, как взрослым, пожал руки всем детям. Васькину руку задержал. — Большой какой вырос! А мать все плачет! Сына скоро женить будешь. Помощник! Как жизнь, Василь?

— Ниче, — сказал Васька.

— Ну вот и хорошо. — Платон положил на стол круглый газетный сверток. — Это вам гостинец.

Платон здоровый, плотный мужик в железнодорожном кителе с поблескивающими в петлицах красными «шпалами», разговаривает громко, независимо, разговор все время держит на шутейной волне. Снял фуражку, ладонью вытер лоб, поискал табуретку, опустился на нее грузно.

— Ну, што там у тебя, жалуйся. А то бабка пришла, накричала, а за што — не пойму. — И он повел вокруг глазами, словно изучал жилище.

— «Не пойму»! — обиделась мать. — Конечно, куда ж тебе понять! Живот вон какой наел — рази поймешь? С таким животом нынче по улице стыдно ходить...

— Ну вот, теперь живот ей мой помешал! Куда ж мне его девать? — усмехнулся Платон.

А матери не до шуток и не до смеха, не принимает его тон разговора, сердится.

— Погляди, на кого они похожи? — указала она на детей. — Это я еще больничным супом спасаю, а так бы, может, давно б уже посинели или побираться б пошли... И никому делов нет, никто не спросит, как ты там, как с тремя детьми в такое голодное время?.. — Мать не выдержала, заплакала.

— Не надо, не плачь, — поморщился Платон. — Шо ты слезами поможешь?

— Они сами текут... Я знаю, што не поможешь... Каждый об себе только заботится...

— Да ну зачем же так?

— А затем. — Мать вытерла слезы и крикнула громко: — Когда был Кузьма живой — так всем он был нужен. И туда его, и туда, всякую дырку им затыкали. Ни от чего не отказывался, куда пошлют — идет, потому сознательный был, партийный, активист. А как убили, похоронили, и всё, забыли. Хоть бы детей вспомнили его, так нет, кому они нужны, пока малые. Вырастут — тогда дело другое, тогда увидят и их...

— Ну, это ты зря, — посерьезнел Платон. — Не надо.

— А шо, я с чужим разговариваю?

— Неважно. Одно с другим не мешай. Убили... Ну, что же теперь? Случай. Послали б меня — меня б убили.

— Так не послали ж и не убили, а убили его.

— Я виноват, да? Ну, убили б меня — осталось бы семеро. Лучше, что ли, тебе бы легче было?

— Легче, мне было б легче, и Кузьма твоих детей не оставил бы, ты это знаешь, знаешь, какой он был. А потом — я вовсе не о том говорю, — махнула мать сердито на Платона. — Не путай меня. Разве я сказала, что лучше б тебя убили? А только обидно. Вон деверь, Карпо, всю жизнь никуда его не трогают, живет только для себя, а его дети получают по четыреста граммов хлеба, а мои, то есть Кузьмовы, который жизни своей не пожалел, — по сто пятьдесят. Почему? И ты — братом называешься, партийный, в активистах ходишь, начальник, а тоже, видать, только об своим животе печешься...

— Опять! — заерзал на стуле Платон.

Васька любил всех материных братьев — Платона, Гаврюшку, Ивана, Петра. Все они разные, и каждый по-своему чем-то Ваське по душе. Больше всех, конечно, любил он Гаврюшку — высокого, кудрявого, остроумного парня, на него он хотел быть похожим. Платоном Васька гордился — большой человек, и как человек он был для него недосыгаем. Когда Васька бывал у них в гостях, Платона почти никогда не было дома — на работе. А если случалось, что он приходил вдруг, то он приходил только, чтоб отдохнуть, и тогда всю многочисленную ораву детей выпроваживали либо на улицу, либо в другую комнату.

Уважение к Платону и мать прививала Ваське, говорила:

— Учись! Выучишься — будешь жить, как дядя Платон, нужды знать не будешь. А останешься неучем — так и будешь всю жизнь горе мыкать...

И Васька учился, хотел жить, как дядя Платон, — вершина материных желаний. А теперь сама на него напала и хлещет его так, будто это не Платон вовсе, а напроказивший Васька...

— Я уж не говорю об одеже-обуше... Праздник приближается, Первый май, а у них ни у кого никакой обновки нет. Накормить бы досыта — одна думка...

— Да... — раздумчиво проговорил Платон и снова обвел

глазами комнату, будто искал подтверждения тому, о чем говорит сестра. — Ладно, не горюй. Попробуем что-нибудь сделать. Завтра приходи к семи утра в красный уголок на Горку. Это где Западная сортировочная, перед вокзалом остановка — Горка. Там спросишь...

— Да знаю, знаю!.. — заторопилась мать, словно боялась, что Платон почему-либо раздумает помогать ей. — Знаю, как же... Найду, язык до Киева доведет.

— Там у нас планерка будет. После планерки подойдешь ко мне. Что-нибудь сделаем.

— Ой, спасибо тебе...

— Рано спасибо, — сказал Платон и засобиравшись идти.

— Посидел бы... Когда был, да когда ишо будешь... Угостить, правда, нечем, ты уж извини...

— О чем ты говоришь? Угостить... Пойду, некогда...

— Не обижайся на меня, што я так напустилась... Припекло — дальше некуда. — И у матери снова задергалось лицо, она потянула к глазам уголок платка.

— Ладно, ладно, — успокоил ее Платон, надел фуражку и направился к двери. — До свидания, — сказал он уже в сенях, не оборачиваясь.

— До свидания, — ответила за всех мать, идя вслед за ним...

Как только они вышли из комнаты, ребята словно по команде бросились к свертку, развернули и разочарованно отступили — в свертке было два куска хозяйственного мыла. Вошла мать, увидела мыло, сказала:

— О, знает, что в хозяйстве нужно. Рубахи вам повыстираю. Это хорошо. — И понесла мыло в чулан. — Только бы дал бог устроиться на работу...

До конца дня мать была сама не своя, места себе не находила — волновалась. Она то вздыхала, то что-то шептала про себя, будто молитву, и постоянно вслух повторяла:

— Хоть бы бог дал...

Сбегала в больницу, отпросилась на завтра с работы, а утром чуть свет уже поднялась на поезд.

Красный уголок нашла она быстро. Почти все, кто сошел с поезда на Горке, направлялись туда. Диспетчеры, составители, конторщики, операторы, дежурные по станции — все торопились на планерку. Народу в «уголок» набилось много. Мать потопталась в коридоре, осмелела

и тоже протиснулась в комнату. Приподнялась на носки и увидела — сидит за красным столом Платон. Важный, солидный и суровый. Перед ним пустое пространство — на первый ряд никто не решился сесть, хотя сзади стоят, жмутся в тесноте.

И вдруг возгордилась почему-то мать своим братом, поглядывает на соседей, хочется сказать им: «То брат мой родной — Платон!» Но на нее никто не обращает внимания, люди переговариваются между собой, шутят, чему-то улыбаются, будто и нет здесь ни ее, ни Платона.

— Ну, все, что ли? — Платон взглянул на часы. — Начнем.

В комнате вмиг наступила тишина.

— Прошлая смена была сработана из рук вон плохо, — сердито бросил Платон первые слова на присутствующих и впервые взглянул в зал на людей. — Разбили вагон. Виновные будут платить. Это пока. Если такое дело не прекратится — будем рассматривать как саботаж и отдавать виновных под суд. Ясно?

«Вагон разбили? — удивилась мать. — Ой-ой, платить, наверное, много придется... А Платон-то строгий какой! Все молчат, видать, боятся его...» И снова посмотрела на своих соседей — какое впечатление на них производит Платон. Но ничего такого, чего хотела она увидеть, не увидела. Слева сосед молчал, а справа прошептал своему товарищу:

— Не может, чтобы не пугать судом...

— А рази вагоны разбивать можно? — не выдержала мать, заступилась за брата.

На нее оглянулись, усмехнулись, она виновато опустила глаза.

— График сорвали, на три минуты отправление поезда задержали, — продолжал Платон. — Технические конторщики виноваты: документ не нашли, пришлось вагон выбрасывать. Так работать нельзя. Предупреждаю.

— Платон Павлович, в нашей смене один списчик заболел, — раздался голос из зала.

— А я при чем? — спросил Платон. Выдержав паузу, повторил: — Я при чем?

— Вы ни при чем... — сказал опять голос из зала. — Я просто объясняю...

— «Объясняю». Работать надо как следует. Работать!

Совесть надо иметь! Списчик заболел. Ну и что? А я где возьму вам списчика? Рожу?

«Ой, ну зачем же он так? — поморщилась мать. — Так хорошо говорил, и на тебе...»

В зале оживились, а сосед справа сказал тихо:

— Мог бы и родить — с таким животом...

— Ага, — подтвердил его товарищ. — Уже давно на сносях ходит, может, он сразу двойню... — И они засмеялись.

А матери стало стыдно и обидно.

— Разметка нечетко делается на вагонах, поэтому на сортировке частые задержки, — продолжал Платон. — Сколько об этом говорилось? Нет, продолжается... И еще. Обращаю ваше внимание на технику безопасности. Сегодня ночью одному башмачнику пальцы отдало. Имейте в виду. Всё. Вопросы есть? Нет? По местам. Жигулин, останься.

Шумной гурьбой народ повалил на волю, мать притиснулась к стенке, ждала, когда все пройдут. Несмело подошла к Платону, сказала:

— Ну, вот и я...

— Хорошо, — кивнул он. — Жигулин, подойди. Надо устроить на работу эту женщину... Я тебе говорил...

Жигулин — пожилой железнодорожник, с палочкой, с белыми пышными бровями, взглянул на мать, проговорил:

— Я помню, Платон Павлович. — И к матери: — Вас как зовут?

— Нюра, — сказала она и, посмотрев на брата, поправилась: — Анна...

— А по батюшке?

— Да так же, — улыбнулась мать и указала на Платона. — Павловна...

Платон заерзал, а Жигулин улыбнулся:

— Очень хорошо: тезки, значит...

— Брат он мне, — уточнила мать.

— Ах, вот оно что! — Жигулин повел плечами: — Почему же вы не сказали, Платон Павлович? Мы бы...

— Это не имеет значения, — поднялся Платон. — Сестра не сестра — оформляй, как положено, куда она подходит, где есть место. Делай все по закону, чтобы меня потом не упрекали за семейственность. На твое



усмотрение.— Шумно раздвигая стулья, Платон полез из-за стола. На середине комнаты обернулся, сказал мягко: — Детишки у нее, понимаешь... Трое...— И направился к двери.

Жигулин долго стоял задумавшись, барабанил пальцами по крышке стола. Она смотрела на него, боясь пошевелиться, в сердце ледяным холодом пробиралась догадка: «Ничего не получится...» И она уже готова была смириться с такой участью, ей уже хотелось пожалеть этого вежливого, культурного пожилого человека и освободить его от тяжелой задачи думать о ней. «Ну, что ж, раз так трудно... Нельзя так нельзя... Звиняйте...» — вертелось у нее на языке. И когда она уже открыла было рот, чтобы сказать вот так, как подумала, Жигулин встрепенулся, посмотрел на нее:

— Вот что, Анна Павловна... У нас сейчас есть место только мойщицы вагонов. Можно оформить. А со временем переведем на другой участок, полегче. А хотите — подождите, пока освободится место... Подберем что-то... Вы где работали до этого?

— В больнице, сиделкой. Но я согласна,— добавила она быстро и еще раз повторила: — Согласна я куда угодно.

— Подумайте, не торопитесь... Вам сколько лет?

— Так какой сейчас год? Тридцать второй? Вот и мне столько же... Девятьсотого года я...

— А образование?

— Четыре класса...

Он причмокнул сухими тонкими губами:

— Не густо.

— Начальную школу кончила.— И добавила: — С похвальным листом.

— Это хорошо. Ну, что же мы тут стоим? Пойдемте в контору, в отдел кадров, там обо всем и договоримся.— И пошел первым на выход, но в дверях остановился, пропустил ее вперед, а на улице снова обогнал.— Идите за мной и будьте осторожны: тут вагоны туда-сюда катаются, не увидишь, с какой стороны накроет. Сортировка. А рабочие зовут — мясорубка. Очень много жертв. Нужно быть исключительно внимательным, когда переходишь эти пути.

Домой мать приехала двухчасовым поездом, не

раздеваясь, села на табуретку в кухне, положила руки на колени:

— Ой, дети мои дорогие! Прямо и не знаю: или то правда, или то сон. Принимают! Заявление оставила. Сказали, чтобы рассчитывалась в больнице и выходила на работу. А я боюсь. Боюсь: тут рассчитаюсь, а там передумают да откажут? Ой, неужели ж то будет правда и мы получим рабочие продуктовые карточки, прикрепимся к железнодорожному магазину и наедемся хлеба?

И вдруг плечи ее затряслись, лицо плаксиво задергалось — она засмеялась громко, раскатисто, а из глаз брызнули крупные слезы. Она их вытирала то одной рукой, то другой, стряхивала на пол и все смеялась, смеялась, а потом завсхлипывала и стала показывать Ваське рукой, чтобы он дал ей попить. Васька догадался, сунул матери в руку полную кружку воды, она поднесла ко рту и долго не могла напиться: зубы стучали о кружку и вода лилась ей на подол. Наконец она напилась, вернула Ваське кружку и, оглядевшись вокруг, встала, принялась раздеваться...

## БУХАНКА ХЛЕБА

С новыми карточкам Васька собирался в магазин, будто на торжественный прием. Умылся как следует, причесался, чистую рубаху надел — железнодорожный магазин в поселке считался самым уважаемым и почитаемым.

Магазинов в поселке несколько, но основных, в которых люди кормились и одевались, — только три: Сельпо, Путиловский и Железнодорожный. Три магазина и три категории людей.

Сельпо — этот обслуживал больницу (сельскую), школу (ту, что на выгоне), редакцию районной газеты, райисполком и разные районные учреждения.

К Путиловскому были прикреплены рабочие завода. Это филиал большого магазина в городе, где находился и завод, принадлежавший некогда промышленнику Путилову. Разные товары, в том числе и хлеб, привозились сюда из города. Даже местной пекарней магазин не пользовался. Большой, просторный, он был частицей города в поселке. Но самым респектабельным, как теперь бы сказали, был Железнодорожный. По товарам он был не богаче Путилов-

ского, но выглядел культурнее, форсистее, от своих собратьев он отличался какой-то особой чистопородностью, что ли. В нем никогда не было шума, все тихо, чинно, солидно и благопристойно, как в храме. Суеты, скандалов этот магазин не знал. Если даже давали что-то из редких товаров, всегда очередь здесь выглядела более спокойно, чем в первых двух. Это, наверное, потому, что и сами железнодорожники из всех категорий поселкового населения многим выделялись: у них была форменная одежда, работа их требовала большей дисциплины и организованности, и это не могло не откладывать своего отпечатка на людей, которые выделялись среди поселковых и своей общей культурой — результат все той же служебной специфики. Все это, вместе взятое, делало железнодорожников в какой-то степени поселковой аристократией.

Да и вообще железная дорога — это своеобразное большое государство в государстве, и человек, став членом этого государства, невольно подтягивался, дорожил этим членством и звание железнодорожника носил обычно с гордостью.

Неудивительно поэтому, что Васька так торжественно собирался в магазин: он уже считал себя железнодорожником и хотел быть достойным членом этой когорты.

Обычно он ходил за хлебом с пустыми руками, но тут взял хозяйственную сумку — ему предстояло выкупить, кроме хлеба, и другие продукты — крупу, масло.

С трепетом, несмело вошел он в магазин, робко пристроился в очередь за хлебом. Без привычки он чувствовал себя здесь чужим, ему казалось, что на него все обращают внимание и вот-вот кто-то скажет: «А ты, мальчик, зачем здесь?» И тогда он покажет свои карточки и скажет, что мать его теперь работает в вагонном депо на станции Ясиноватая. И все тогда заулыбаются ему, обрадуются чему-то и не будут коситься на него.

Очередь двигалась, Васька кидал по людям глазами, но его никто так и не спросил, зачем он здесь. Только продавщица, взяв карточки, поинтересовалась:

— Что-то я тебя не помню. Первый раз?

— Ага, — робко выдавил из себя Васька.

— Чей же ты?

Васька торопливо объяснил, и, когда продавщица



сказала: «А-а, знаю, знаю...», он обрадовался, улыбнулся облегченно, переступил с ноги на ногу.

— Какой тебе — белый, серый?..

— Что? — не понял Васька.

— Хлеб какой будешь брать? Сегодня есть и белый.

Васька замешкался — не знал, как ему быть. Мать на этот счет ничего не говорила... Да и кто ж знал, что тут можно выбрать.

— Белого, конечно, — подсказал кто-то из очереди. — Не каждый день он бывает...

— Ага, белого, — сказал Васька.

Продавщица бросила на весы круглую высокую буханку. Румяная макушка ее чуть скособочилась, разорвав с одной стороны тесто и образовав шершавую корочку. Васька смотрел на эту корочку и глотал слюнку: «Вот бы такую краюшку натереть чесноком! Только куда она столько?.. Целую буханку! — удивился Васька и тут же с горечью подумал: — Сейчас снимет и отрежет..» Но продавщица не сняла хлеб с весов, а взяла с прилавка еще порядочный кусок и положила на буханку. Только теперь весы качнулись, и продавщица сняла хлеб.

— Бери.

— Это все мне? На один день?! — поразился Васька.

— А что? — насторожилась продавщица и снова положила хлеб на весы. — Ну-ка дай твои карточки.

Васька подал ей карточки, она посмотрела их и вернула.

— Все правильно: два килограмма. Забирай и не морочь мне голову. Следующий.

Покраснел Васька до самых ушей, запихнул хлеб в сумку и подался домой. По дороге несколько раз заглядывал в сумку, нюхал теплый дух свежего хлеба, крутил перед глазами довесок, но съесть его не решился — хотелось донести все домой и показать всем, сколько они получают теперь хлеба.

Принес, ребята обступили Ваську, а он прикрыл сумку руками и смотрел на них хитро:

— Угадайте, сколько?

— Два кила, — сказала Танька.

— Два-то два, а сколько хлеба?

— Полбуханки, — опять поторопилась Танька.

— Не...

— Вот столько! — растянул руки Алешка.

— Эх вы!.. — И Васька выпростал из сумки буханку, положил на стол.

Как от яркого света, ребята тут же откачнулись от хлеба и смотрели на него, будто на диковинку. Танька всплеснула руками да так и держала их вместе у своей груди, а Алешка, растянув в улыбке рот до ушей, только произнес:

— Ого-го!..

— Это еще не все! — И Васька таинственно, будто маг-чародей, сунул руку в сумку и вытащил оттуда еще кусок. Покрутил им перед глазами и водрузил осторожно на буханку. — Ну?

— Дай мне эту горбушку, — протянул Алешка руку.

— Не трожь, — отвел его руку Васька. — Давайте потерпим: пусть и мама посмотрит, сколько нам хлеба дают.

И они терпели. До самого вечера. То смотрели на хлеб издалека, то брали буханку в руки, нянчили ее, нюхали. Алешка не удержался, лизнул шершавую корочку и долго чмокал от удовольствия. И никто не рискнул отщипнуть хотя бы крошку — ждали мать.

А мать вошла и тоже, как и Танька, всплеснула руками и долго смотрела на хлеб со стороны.

— Боже мой! Как солнышко! А я уж думала, что мы так никогда и не увидим такого хлебушка. — Она взяла буханку в руки, перекрестилась и поцеловала ее, как святыню. — Почему ж вы не ели?

— Тебя ждали, показать хотели.

— Радость-то какая! — согласилась мать. — Слава богу. Хоть работа тяжелая, но зато теперь с хлебом будем. Вася, дели, дети есть хотят...

## ОТЦОВСКАЯ КЕПКА

Саженцы Васькины принялись хорошо, особенно акация. Она быстро выбросила мелкие нежные листочки и заметно стала тянуться вверх. Кленки же долго сидели, поникнув головками, и только благодаря Васькиным стараниям, который утром и вечером поливал их, наконец ожили, ободрились и выпустили третью пару листьев.

Поливая деревца, Васька всякий раз долго просиживал

над ними на корточках, любовался ими, будто какой диковинкой.

Однажды, возвращаясь с работы, мать подошла к Ваське в палисаднике, присела рядом:

— Принялись?

— Ага! Акация вон уже на сколько выросла. Видишь новый ствол, зелененький? И клены тоже начали расти...

— Ну, пусть,— сказала мать.— Может, и вырастут. Тень летом будет...— И тут же похвасталась: — А я с поллучкой! Пойдем в хату, считать будем: ишо никогда столько не получала! — Длинные черные ресницы торопливо смахивали с ее смеющихся глаз слезинки.

— А плачешь?

— Так — от радости! — сказала она просто.— Получку дали, премию и ишо талон на промтовар в «закрытый» магазин. Во! Увидел ба отец — удивился б. В воскресенье поедом с тобой в город, купим кое-какую обновку к празднику — тебе, Тане, Алеше...

— А тебе?

— Может, и мне... На харчи мало останется, да ничего, как-нибудь перебьемся. Обновку к празднику надо обязательно...

В комнате она бросила на стол деньги и, оставив детей считать се поллучку, сама тут же пошла к Карпу советоваться. Тот часто бывает в городе, знает, где что продают и почем.

Карпо сидел после обеда на скамеечке у приоткрытой плиты — курил. На приветствие невестки кивнул и снова уставился на тлеющие угли в плите. Мужик он был суровый, неразговорчивый. Зато жена его Ульяна — маленькая шустрая бабенка — говорила всегда за двоих.

— А я к тебе, кум, за советом.

— Шо случилось?

— Да пока, слава богу, ничего. Мужской совет нужен. В город в воскресенье собралась ехать...— И она рассказала деверю все свои планы.

Карпо выслушал ее, хмыкнул неодобрительно:

— Балуеть ты их... Празднику один день, а ты им обнову покупать. С какого жиру?

— Ну как же? Праздник большой — Май.— И тут же стала почему-то оправдываться: — Праздник — то так,

предлог только. Ходить же им все равно в чем-то надо. Праздник не праздник... Штанишки, обувь...

— Скоро тепло — босиком будут бегать, — стоял на своем Карпо.

— А пока холодно, хоть сандаlette какие купить. Мальчишка уже большой, в школу надо доходить. И праздник все-таки, никуда не денешься — надо...

— Да тебе-то што? — прикрикнула на Карпа Ульяна. — У тебя о чем спрашивают? На то и отвечай.

Карпо не обратил внимания на жену, продолжал в том же тоне:

— Ну, гляди сама. Тебе видней. В городе зевка не давай — быстро обланшат.

— Как так?

— А так. Ты вещь, скажем, поглядела, понравилась тебе. А пока ты деньги достаешь, они ту вещь завернули в газетку. Ты заплатила, взяла, приехала домой, развернула, а там какая-нибудь тряпка старая. Подменили. Вот так. — Карпо развел руки и долго смотрел сначала на мать, потом на Ульяну, какое впечатление произвел его рассказ.

— На это они мастаки! — подтвердила Ульяна. — Жулья разного хватает.

— А то еще такие случаи бывают, — разговорился Карпо. — Продает сапоги. Хромовые, новые, ненадежные. Кожа на подметках спиртовая, не придерешься. Купил, привез домой, надел, пошел в гости, а обратно босиком: подошва разлезлась — оказалась из картонки.

— А как же так?.. — удивилась мать. — Как же узнать?

— Как хочешь, так и узнавай, — сказал спокойно Карпо и бросил в поддувало сигарку. — Ногтем поковыряй или ножичком надрежь. Да только разве он даст резать? Все одно трудно распознать, картон есть такой твердый, шо его и ножиком не расковыряешь.

— Ну, напужал, совсем хоть никуда не езд, — сказала мать.

— И правда, — опять напустилась на мужа Ульяна. — Ты по делу говори человеку, а то страху нагоня-а-ает!..

— А это не по делу? — огрызнулся Карпо. — Зевка даст — и останется ни с чем. Это, по-твоему, лучше? «По делу»... Шо тут балакать? На «тучу» надо ехать, на толкучку, там все продают. В магазинах, сама знаешь,



только по талонам. Если в «торгсин» — там, правда, свободно. — И улыбнулся своей шутке. Потом пояснил: — Это где на золото все продают.

— Где ж его взять, золото? — сказала мать.

— Да в том-то и дело, — согласился Карпо. — Остановка за малым. Так шо на «тучу»... Она на том же месте, где и была: в начале Первой линии направо. Спросишь, где тут «туча», или барахоловка, — тебе каждый скажет.

— Я знаю, где она, — сказала мать.

— Ну, а знаешь, так о чем спрашиваешь?

Напугал мать Карпо, нагнал на нее страху — не знает, как быть. А ехать надо. На Ваську надежда — все-таки не одна, вдвоем в четыре глаза будут смотреть, чтобы их не обжулили.

А Васька от радости себя не помнит, не дожидается воскресенья. В городе он бывал редко и всякий раз ехал туда с трепетным волнением. Город для него — будто другая планета, где все не так, как в поселке, все по-другому: там красиво,людно, весело и жутковато. Город его поражал и удивлял: большие, многоэтажные дома стоят впритык друг к дружке, вдоль длинных улиц тянутся магазины, один зазывнее другого; на первых этажах окон нет, сплошные витрины огромные, во всю стену — одно сплошное стекло. «А вдруг кто каменюку бросит?» — думал Васька и удивлялся, что никто не бросает...

Город встретил их своим многолюдьем задолго до своего кипучего центра — на вокзале, где они должны были с поезда сделать пересадку на трамвай.

Маленький красный трамвайчик — остаток бельгийской компании, жутко визжа на повороте и отчаянно трезвоня, показался из-за угла. Опасно накренившись на правый бок и разболтанно култыхаясь на неровностях дороги, он суетливо перебирал своими короткими ножками-колесиками, торопился к остановке. Но еще до остановки его подстерегала большая толпа мужиков, и, как только он показался из-за поворота, они кинулись к нему, облепили со всех сторон. Одни повисли гроздьями на подножках, другие бежали вслед за трамваем, пытаясь схватиться за что ни попадя. Молодые рабочие парни цеплялись за рамы и лезли внутрь через окна.

Трамвай дополз до остановки, постоял с минуту и снова заколошматил звонком, требуя освободить пути, тронул-

ся по кольцу в обратный путь. Толпа, взбаламученная трамваем, долго бежала за ним вслед, самые ловкие цеплялись за разные выступы вагона, ухитрялись как-то закрепиться на нем, взбирались на крышу, и трамвай уже не был похож на себя, а, казалось, катился по рельсам людской комок, похожий на пчелиный рой, покинувший улей.

Мать прижимала Ваську к себе и, когда подходил трамвай, отступала подальше от него, чтобы толпа не затерла их.

— Пропустим, пропустим, — говорила она Ваське. — Нехай едут. Куда нам спешить? Эти уедут, потом народу поменьшает.

Но приходил один, другой трамвай, а толпа не редела — откуда только и берутся люди?

— Так и будем стоять? — проворчал Васька и потащил мать к передней площадке подошедшего вагона: он заметил, что там меньше народа. И как-то получилось так, что в этот момент вожатая встала в дверях, замахнулась на наседавших парней ключом:

— Куда вы лезете? Дайте выйти людям!

Парни отступили, из вагона вышли пассажиры, а мать с Васькой стояли тут же, и мать осмелела, попросила:

— Пропустите, с мальчиком вот никак не сядем.

Грозная вожатая оказалась с добрым сердцем, пропустила их. И тут же, как по сигналу, вслед за ними ринулись на штурм дверей остальные. Вожатая пыталась как-то установить порядок, но это уже было ей не под силу, и она, ругаясь, пошла на свое место. Серdito забарабанив звонком, резко рванула трамвай.

Вагончик бежал мимо горняцких поселков, мимо заводов, мимо высоких островерхих, как египетские пирамиды, терриконов. Трамвай болтало из стороны в сторону, Ваську с матерью прижали в самый угол — ни охнуть, ни вздохнуть. Но Васька переносил эти неудобства как-то спокойно, иной езды в трамвае он никогда не видел и не представлял. А голос кондукторши, которая выкрикивала остановки, звучал для него как музыка: «Бутовка», «Компрессорная», «Соц. городок», «Сенной рынок».

На каждой остановке в вагоне происходило пере-

мещение — одни протискивались к выходу, другие входили. Те, что висели на ступеньке, кричали:

— Пройдите там!.. Ведь в середине совсем пусто!..

— Ага,— отвечали им из вагона.— Тут хоть танцуй! Гармошки только нема...

— Граждане, граждане, вагон не резиновый! — пыталась урезонить пассажиров кондуктор.

И трамвай бежал до следующей остановки.

— Скоро приедем. Сенной проехали, это уже город,— сказала мать Ваське.

А Ваське хоть бы и не кончалась дорога, прилип к стеклу, смотрит на бегущие мимо рудники, заводские корпуса. Время от времени дергал мать за полу, спрашивал:

— Ма, что это?

А мать и сама не знала, отвечала свое обычное:

— Завод какой-то...

— А это что копают?

— Строить штось будуть...— И, взглядевшись, пояснила: — Это ж, наверное, тут и будет тот большущий завод, куда все рабочих вербуют. Пятилетка — вот она.

Васька слышал про эту стройку — о ней много разговору: коксохимкомбинат. Завод будет обжигать уголь — превращать его в кокс, а дым и разные газы не в трубу будут вылетать, а все словится специальными ловушками и перерабатывается в удобрения, в смазочные масла и еще во что-то. Да на этом заводе и трубы-то не будет, как на других, на старых, что день и ночь небо коптят.

Прильнул к стеклу Васька, пытается получше рассмотреть завод, но пока в нем ничего особенного: вырыты котлованы, везде кучи земли наворочены, вдали какие-то корпуса строятся из белого кирпича — вот и все. Но Васька смотрит пристально, и ему кажется, что он видит этот завод уже готовым: он такой же, как макеевский, куда на свалку Васька ходил уголь собирать, только еще больше.

Потянулся к материному уху, прошептал:

— Из угля удобрения будут делать.

— Ну што ж,— быстро соглашается мать.— Наверно, золу будут в порошок растирать. Вон бурьян люди жгут, а золу по огороду раскидывают — удобряют землю.

В трудные годы, в голодовку, и стирали золой вместо мыла.

— Не,— вертит головой Васька.— Из дыма и из газов будут делать.

— А-а!.. Ну, то штось новое придумали.

Сошли они, как и учил Карпо, в начале Первой линии. Да, собственно, здесь почти все и вышли из вагона, будто дальше и дел ни у кого нет. Широким половодьем, как на демонстрации, народ тек на толкучку, которая по существу началась уже у самого трамвая. То и дело в толпе шмыгали какие-то типы, одни что-то продавали, другие, наоборот, сами хотели что-то купить и почти у каждого спрашивали воровато, шепотом:

— Шо продаешь?

Но мать не обращала на них внимания, схватив Ваську за руку, словно маленького, торопилась в центр толкучего рынка.

— «Туча»,— проговорила она.— И правда — народу туча.— И остановилась, соображая, куда идти, в какой конец, где что продают,— должен же быть какой-то порядок.

Но базар был совсем бестолковым: на нем продавали все и везде. Надо было ходить по нему, толкаться — авось наткнешься на то, что тебе нужно.

Мать увидела женщину с буханкой хлеба, подошла, спросила:

— Почему?

— Прошу пятьдесят...

Мать покрутила головой и отошла.

— Ты что, хлеба хочешь купить? — спросил Васька.

— Да нет. Просто приценилась...

И не успели они отойти, как услышали крик этой женщины:

— Караул!.. Держите, держите вора!..

Васька оглянулся и увидел женщину — бледная, растрепанная, со сбившимся на затылок платком, она судорожно прижимала к груди уже только небольшой кусок хлеба с рваными краями. А перед ней двое мужчин держали грязного оборвыша, который, ни на кого не глядя и не вырываясь, торопливо, двумя руками набивал рот хлебом, глотал его, не жуя, кусками, давился, втянув голову в плечи, ожидая ударов.

— Пойдем, пойдем, — заторопилась мать и увлекла Ваську подальше от этой сцены.

Полдня толкались они по базару, насмотрелись разного такого, чего, живя в поселке, и за всю жизнь не увидишь. И не напрасно толкались — что надо, почти все купили. Ваське костюмчик из «чертовой кожи», Таньке платьице, Алешке штанишки и всем троим — сандалетки. Этой покупкой мать особенно дорожила.

Сапожник — старичок грек, щупленький, с большими черными глазами навывкате и пышными усами, — быстро догадался, чего опасается покупательница. Раскрыв складной ножичек и надрезав краешек подошвы, он показал матери:

— Смотри, смотри, тут, дорогая, без обману. — Старик поплевал на надрез, размочалил кожу и стал щипать ее ногтями. — Видишь? А картонка сразу б себя показал: раскис, и все.

Пока он демонстрировал свой товар, вокруг собралась толпа, и мать застеснялась, закивала согласно головой, пытаясь его остановить:

— Ладно, ладно... Ага... Хорошо, хорошо, я возьму.

Но старик, то ли задетый за живое недоверием, то ли просто решил покрасоваться на публике, проделал ножичком такие же операции на всех трех парах.

— Мне обманывать людей не надо, — заключил он. — Я работаю на совесть. Если я поставил картонку, придешь завтра и отхлещешь меня этим сандалетом. Но ты не придешь, ты будешь носить и благодарить меня сто лет.

Дома мать все-таки понесла покупку на просмотр Карпу. Тот повертел сандалетки перед глазами, поколупал подошву ногтем, заглянул внутрь, одобрил:

— Крепкие. Сверху свиная кожа, и стелька кожаная. Надолго хватит.

Утро — будто умытое: чистое и прозрачное. Пахнет молодой травой и распаренной землей. На Карповой хате, распушив перья, весело посвистывает скворец. Двор от самого порога до улицы чисто подметен и присыпан белым песком.

Васька поминутно выглядывает в окно, торопит мать, чтобы та скорее гладила его рубаху.

— Успеешь. Куда в такую рань побежишь?

— А как опоздаю? Учительница сказала, чтобы не опаздывали. Построение будет возле школы, и организованно, колонной пойдем на площадь.

— Еще рано. Все вместе пойдем.

— Я их не возьму с собой,— кивнул Васька на младших.

— Со мной они пойдут, не бесись, пожалуйста.

От нетерпения Васька выбежал на улицу посмотреть, идут ли еще люди или уже все прошли на демонстрацию. Идут! На обратном пути взглянул на огород и остолбенел: маленькое абрикосовое деревце, ростом с Ваську, было усыпано белыми цветочками.

— Мама! — закричал он. — Скорее идите все сюда! Абрикоса расцвела!

Выбежала мать на крик — испугалась сначала, думала, беда какая. А Васька показывает на абрикосу и твердит свое:

— Расцвела! Расцвела абрикоса!

Окружили они деревце, любуются. А деревце, словно живое, гудит, как басовая струна на гитаре. Это пчелы его облюбовали, деловито перелетают с цветка на цветок, работают мохнатыми, желтыми от пыльцы лапками, окунаются рыльцами в чашечки цветков.

Стоит мать, улыбка застыла на лице:

— Сколько радости сразу!.. Это ж надо так подгадать — как раз на праздник расцвела!

Карпо увидел соседей, по своему огороду подошел к плетню, спросил:

— Шо там у вас за диковина такая?

— Да как же не диковина? Глянь, как раз на Первый май расцвела! А малютка еще...

— А-а... — протянул Карпо. — Рановато она цвет выкинула... Сколько ей, года два-три?

— Да три, наверно, будет.

— Рано. Хрутков не даст.

— Да то ладно! Тут радость — зацвела, — сказала мать и спросила весело: — Че ж на праздник не собираетесь?

— А чего я там не видал? — сказал вразяжку Карпо. — Как будет высказываться Митичка Глазунов? Дак я слышал его уже тыщу раз...

— Во! — разочарованно проговорила мать. — Да разве ж там один Глазунов будет. Не хочешь — не гляди на него и не слухай, на других людей гляди. Праздник же!

— Не, — отмахнулся Карпо. — Делов дома много. — И он отошел от плетня: — Микита побег, расскажет потом, шо там будет.

— Вон, Никита уже ушел... — завопил тут же Васька.

— Перестань, — неожиданно сердито прикрикнула на него мать и пошла в дом. — Вот человек, — ворчала она, доглаживая Васькину рубашу. — Непонятный какой-то. Родной брат нашему отцу Кузьме, а совсем другая натура. Тот был как на пружинах, куда ни пошлют — тут же собрался и побежал или поехал. А этот никуда. Только сопит да ковыряется в своем хозяйстве, как крот. У людей праздник, а он в старой рубаше стоит с лопатой, огород сажать собрался. Хоть Никиту отпустил... Отец ваш — тот за две недели к празднику готовился...

— Скорее, ма... — не выдержал Васька. — Дался тебе этот Карпо.

— Успеешь, — сказала мать и полезла зачем-то в сундук. Сунула руку вдоль задней стенки до самого дна, пошарила немного и извлекла оттуда новенькую отцову кепку. — На, померяй... Отец купил себе к празднику, да так и не пришлось надеть...

Васька смотрел на кепку и не верил глазам своим:

— Мне?... Можно?..

— Померяй.

Взял Васька пахнущую нафталином серую шестиклинку, надел осторожно на голову.

— Просторновата, — сказала мать.

— Не... Как раз. — И Васька укрепил козырек высоко над лбом, боясь, что он упадет ему на глаза.

— Ну, если как раз, надевай. Да береги отцову память.

Наконец собрались, вышли на улицу. На Ваське черный костюмчик, на штанах стрелочки, как у взрослого, белый воротничок выкинут поверх пиджачка. Идут, похрумкивают новыми сандалетами.

Увидела их соседка Дарья Чуйкина, обрадованно сказала:

— Вывела своих цыпляток! Перезимовали, значит?

— Перезимовали, бог дал, — весело откликнулась

мать. — С праздником вас. Что ж не идете на демонстрацию?

— Родя подался... А я потом, прямо на площадь пойду.

Издалека, от станции, музыка доносится, барабан ухает раз за разом: бух-бух, бух-бух... А из Васькиной груди песня рвется, которую играет оркестр:

Смело, товарищи, в по-о-гу,  
Духом окрепнем в борьбе-е-е...

— Ма, я побегу?.. — не выдерживает Васька.

— Ну беги, беги...

Подался Васька во весь дух. Возле школы — та же «туча», только нарядная. Девочки с цветами, ребята с транспарантами — все возбуждены, у всех настроение приподнято-праздничное, снуют взад-вперед, каждый кого-то и зачем-то ищет, окликают друг друга, улыбаются, будто век не виделись и наконец-то встретились.

Никита ходит с горном, продувает трубу, тренируется.

Тру-ту-ту, тру-ту-ту...  
Тру-ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту...

Увидел Ваську, подмигнул и снова приложил мундштук к губам, надул щеки, дунул так, что глаза покраснели, а звук получился хриплый, негромкий. Сконфузился. А Васька к нему с обидой:

— Че ж не зашел? Убежал...

— Дак я ж рано... Вот... — И он показал ему горн.

Ваське достался транспарант с портретом вождя. Доволен, держит его с достоинством, строго, не машет им, как другие.

Раздалась команда строиться, и все пришло в движение, как на вокзале:

— Третий класс — сюда, сюда!

— Четвертый, ко мне!

— Девочки, девочки, куда ж вы? Не успеете, вернитесь.

— Мальчики, а вы куда? Неужели раньше не могли об этом подумать?..

— Разбирайтесь, разбирайтесь по два, по два...

— Гурин, с горном иди вперед, к знамени.

Наконец разобрались, построились, двинулись. Потянулась длинная нарядная процессия из школьного сада в поселок. Полощется красное знамя, трубит, не умолкая,



горн. Вдоль колонны бегают учителя, вожатые, что-то проверяют, уточняют, считают ребят-малышей, по-торопливают:

— Не отставайте, ребятки... Подтянитесь!

— Песню, девочки, запевайте.

И тут же враз запели, сначала нестройно, вразнобой, на разные голоса, но вскоре песня выровнялась и зазвучала звонко, торжественно.

Взвейтесь кострами, синие ночи,  
Мы, пионеры, дети рабочих!..

А впереди ребята затянули свою, боевую:

Каховка, Каховка, родная винтовка,  
Горячая пуля, лети!..

Девочки не уступают, стараются перекричать передних, подбадривают друг дружку:

— Давайте, давайте все!

Азарт соревнования быстро охватывает всю колонну. Самые маленькие тоже включаются в общее настроение, картавя и попискивая, они тянут любимую:

И на Тихом океане  
Свой закончили поход.

По пути колонна обрастает «неорганизованной» публикой: дедушками, бабушками, мамами, ребяташками-дошкольниками, переростками и прочим поселковым людом. Все идут на центральную площадь, где постоянно проводятся митинги и разные празднества.

Площадь эта велика и красива. Это самое высокое и ровное место в поселке, будто ковром зеленым, площадь покрыта густой травой. Вокруг нее разместились больница, клуб, новая семилетняя школа и из красного кирпича о двух голубых в звездах куполах и с золотыми крестами на них красавица церковь. Церковь вот уже с полгода закрыта на большой замок, бездействует. Колокола ее, побеленные обосновавшимися на звоннице птицами, давно уже не оглашали окрестности своим малиновым звоном. Но молчит церковь временно — безбожники попа прогнали. Поговаривают, скоро приедет другой...

Идти на площадь недалеко: пройти переулком, обогнуть ветеринарную лечебницу — и вот она, площадь. Но ко-

лонна, чтобы удлинить путь, сворачивает на Красную улицу, шествует по ней до конца, потом сворачивает на Четветкину и уже с противоположной стороны направляется на площадь. Со всех концов стекаются сюда такие же процессии: идут рабочие кирпичного завода, железнодорожники, у обеих колонн во главе духовые оркестры, начищенные медные трубы сверкают на солнце.

Железнодорожный барабан ухает все громче, под оркестр вся колонна поет торжественно-трогательно:

Вышли мы все из наро-о-да,  
Дети семьи трудовой.  
Братский союз и свобо-о-о-да —  
Вот наш девиз боевой!

Заводской оркестр не уступает железнодорожному, заводчане отчаянно, будто идут на баррикады, бросают в воздух могуче и решительно:

Марш, марш впере-о-д,  
Рабочий народ!..

У Васьки от волнения перехватывает горло, ему почему-то хочется смеяться и плакать одновременно, он крутит головой, смотрит на сближающиеся колонны, словно они должны сшибиться. Но они подошли к трибуне с двух сторон и, остановившись, продолжали петь и играть.

На временно сколоченном помосте уже стояли выступающие. Впереди всех быстрый, неугомонный Дмитрий Глазунов — председатель райисполкома. Худой, скуластый, в кепке-шестиклинке и с красным бантом на лацкане, он и на трибуне не мог минуты постоять спокойно: то давал какие-то распоряжения близстоящим, то подходил к самому барьеру и подавал знаки руководителям колонн, чтобы те подвели своих людей поближе, становились кучнее. «У Глазунова кепка почти такая же, как и у меня», — погордился Васька.

Среди других Васька увидел на трибуне и свою одноклассницу — Лизу Пузыревскую. Дочь директора школы, отличница, она все годы сидит только на первой парте. Лиза — большая гордыня, а кроме того, она еще и очень красива, что окончательно отпугивает от нее Ваську. Стеснительный Васька всегда робел перед ней.

«Опять Лиза-подлиза на трибуне...» — недовольно поморщился Васька.

Оглядев шумящую площадь, Глазунов снял кепку и поднял руку. Площадь замерла.

— Товарищи! — крикнул он громко и пронзительно и выбросил руку вперед. — Приветствую вас с международным пролетарским праздником Первого мая!.. На Западе и на Востоке рабочий класс поднимает свою мозолистую руку против эксплуататоров всех мастей!..

Говорил Глазунов горячо, энергично, зажигательно. Васька слушал оратора, и после каждого его слова душа Васькина наполнилась гневом и ненавистью к паразитам-капиталистам, к коричневой чуме — фашизму, к кулакам и подкулачникам. Вскоре он уже перестал воспринимать отдельные слова речи и слушал ее, как слушают целиком поглотившую тебя музыку. Только изредка какие-то отдельные фразы доходили до его сознания, но они уже ничего нового не могли прибавить — Васька уже все знал, все понимал, он весь был в том же негодующем и волнующем экстазе, что и оратор.

— Из страны нищей, отсталой, аграрной мы превратим нашу Родину в страну промышленную, передовую, индустриальную!.. Нам мешают враги... Враги внешние и внутренние!.. Среди нас затаились вредители! С корнем вырвем заразу капитализма!..

Оркестр грянул туш, вся площадь зарукоплескала. Васька встрепенулся, захлопал яростно в ладоши. Он смотрел на Глазунова, вытиравшего лицо белым платком, и пожирал его глазами.

Просторная отцовская кепка упала Ваське на глаза, но он не поправлял ее: руки были заняты — он продолжал неистово хлопать в ладоши.

И думал в этот момент Васька об отце, о кулаках, убивших его, о фашистах и горел желанием сразиться с ними...

А в душе его звучала, нарастая, песня:

Марш, марш вперед,  
Рабочий народ!..



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ



## ГОСТИ

*Мы с крестным прошли огородом до колодца в саду, откуда вела тропинка к калитке в плетневой загородке на наш участок. Калитку Карпо сделал специально для моей матери, чтобы и она могла пользоваться водой из его колодца.*

*Увидев впервые калитку, я чуть не прослезился — так тронула меня эта забота крестного о матери. Мать уже немолода, жалуется на нездоровье — то живот, то ноги болят, и ведро воды с годами стало для нее самой тяжелой ношей. Открыв для матери свой колодец, крестный намного облегчил ей эту работу. Поэтому в каждый приезд я обязательно находил случай, чтобы поблагодарить его, а он всякий раз отвечал мне неизменно:*

*— Да ну... Шо мне, воды жалко?.. Правда, в сухое лето на поливку не хватает, но ниче, обходимся.*

*И после этого он обязательно что-либо улучшал на материной тропинке: либо расчищал ее, либо прилаживал к калитке для удобства из прорезиненного ремня ручку, а то и, совсем добрея, говорил матери:*

— Кума, а ты ежели не на варево, так бери воду вон прямо из вагонетки, вороток, холера, тяжелый, пока выкрутишь им ведро, дак и лоб взмокреет...

У матери при этом влажнели глаза, губы подергивались, и она взволнованно отвечала ему:

— Ведро вытащить у меня силов пока хватает. Может, еще случится так, что поневоле придется просить когось подать воды, тогда уж... Да не дай бог дожить до такого.— И она взглядывала на меня ласково и благодарно — знала, что это я подбил Карпа на такое великодушие.

Мы подошли к колодезю. Врытая в землю вагонетка была наполнена до краев водой. Эту вагонетку крестный притащил из кучугур — старого, теперь заброшенного кварцевого карьера, — когда шлаковал свой дом: месил в ней раствор. Как он тащил такую махину — не помню, но точно знаю, что никаких вспомогательных средств вроде трактора или самосвала он не применял. Это не в его правилах. Не вытерпев, я пнул ногой в вагонетку, спросил:

— Тяжелая, наверное?

— А то легкая! — сказал он рассеянно, похлопав ладонью по гладко отполированному, до костяного блеска, колодезному воротку.— Ну, ты хоть бы рассказал, шо там слышно?..

— О чем?

— Ну, о чем... О войне.

— Ничего. Наоборот, сейчас разрядка идет, отношения налаживаются... Мир, тишина.

— Боюсь я тает тишины,— вздохнул он.— Не перед бурей ли она?

— Не думаю...

— А Китай?

— Китай... С ним переговоры ведем. Америка...

— Вот то-то и оно... Так что, может, бабка моя не зря сушари сушит?

— В любом случае — зря.

Крестный посмотрел на меня удивленно.

— Зря,— сказал я.— Сколько она сушила, а хоть раз они вам помогли?

— А сколько раз она сушила? После голодовки двадцать первого года, кажись... Так то ты и не помнишь, наверно?

— Двадцать первый не помню, а сухари крепко засели. Особенно те, которые мы с Никитой рассыпали. Потом крестная порасенку их скормила. А вскоре голод начался, тридцать второй год. Вспоминал потом те сухарики. Ох и жалел же я, что мы их рассыпали!

— Тридцать второй тяжелый был,— покрутил головой крестный.— Дужа тяжелый. Мы, правда, не так бедовали, у меня рабочая карточка была, а матери досталось.

Помолчали.

— Помнишь, значит? — Почему-то удивился Карпо.

— Такое не забывается. Я помню и второй матрас — тот, что перед войной сушили.

— Перед войной не было, то ты шось путаешь. Перед войной жизнь хорошо наладилась: карточки отменили, продукты всякие были. Народ ожил!

— А крестная все равно сушила, напуганная тридцать вторым годом.

— Шось путаешь... — стоял на своем Карпо.

Спору нашему помешала мать. Увидела нас, заупрекала:

— Ну что же вы стоите там? Вася, люди уже поприходили, спрашивают, где ты. Говорю: скоро придет. А вы тут прохлаждаетесь. И ты тоже — отец называется,— с напускной строгостью переключилась она на Карпа.— Где Ульяна? Ходите, посидим.

— Да мы уже посидели,— сказал врасстяжку Карпо.— Иди, Василь...

— Во? — удивилась мать.— А вы?

— Обойдутся там и без нас,— отмазнулся Карпо.— Делов дома много.

— Опять у него дела! — рассердилась не на шутку мать.— И што ты такой? Самый же близкий: и сосед, и дядя, и крестный, а всегда надо упрашивать...

— Ну ладно, ладно, не ругайси,— быстро пошел на попятную Карпо.— Сейчас придем. Пойду Ульяну возьму.

— Скорее только,— попросила его мать, смягчившись.

Карпо пошел к себе, а мы с матерью через калитку направились на наш огород.

В нашем дворе в тягостном ожидании застолья томились мужики — курили, пытались о чем-то завести

разговор, но все уже, видно, было переговорено, и беседа не клеилась. Дядя Платон стоял, опершись рукой о высокий пенек акации, которую мать недавно срубила. Перед ним по-прежнему худой и подвижный Неботов — наш сосед через дорогу, — показывая руками вверх, о чем-то живо рассказывал — пытался занять гостей. На крыльце стояли дядя Гаврюшка и старший Платонов сын — Федор. Федор — мой ровесник, он в войну потерял ногу. Может, это травма, а может, просто у него натура такая была заложена с детства — Федор не был похож ни на кого из родни. Спокойный, уравновешенный, рассудительный, какой-то даже смиренный, он был воплощенным миротворцем. Его приглашали всегда, когда между дядями возникали ссоры, и он умел помирить их, хотя, казалось, при этом ничего особенного и не делал, а только как-то недовольно крикнет и скажет:

— Да бросьте вы об этом! Или вы не можете без этого? Давайте забудем.

Мужики вскоре действительно забывали ссору.

Федор и Гаврюшка смотрели с крыльца вниз на Неботова, сбивали пепел с папирос, улыбались.

— Про меня, наверно, — кивнула мать на соседа. — Рассказывает, как я акацию рубила. Да нехай, а то над чем бы они посмеялись.

Еще издали заметил — дядья постарели. Платон — совсем старик: волосы на голове редкие, седые, фигура старчески сгорблена. Гаврюшка стоит пока крепко, сохранил стать, выправку, однако все это уже не то — потолстел, живот выпирает, лицо обрюзгло. Только Федор пока не изменился, по-прежнему молод и красив: волосы густые, черные, без единой седины, аккуратно причесаны, лицо доброе, улыбчивое. Одет по-городскому, со вкусом: добротный костюм сидит на нем ладно, белая рубашка, галстук — все как следует.

Первым заметил нас Платон, направился ко мне, улыбаясь. И тут же дряблые щеки его задергались, глаза наполнились слезами. Обнимая меня, зашмурыгал носом.

— Ну, чего вы?.. — похлопал я его по спине.

— Нервы ни к черту стали... — пожаловался он.

— Платон, — выглянула из сенец тетя Груня. — Ты дак хуже бабы стал: как чуть — так плакать. Ну што ты, на похоронах, чи шо?



— Да не ругайси тоть ты на меня,— отмахнулся он мягко.— Нервы...

— «Нервы»! У всех нервы, у одного у тебя, што ли?

Нервы у Платона разболтаны давно, еще с войны. К нему, к такому, я уже привык — при каждой нашей встрече он, как бы ни силился удержаться, обязательно расплачется. И я догадывался почему: я напоминаю ему его прошлое, войну, когда мы с ним сдружились, и он знает, что я лучше других понимаю его трагедию, после которой он уже не смог оправиться и подняться.

Когда фронт подходил к Донбассу, Платон с семьей эвакуировался. Но где-то под Ворошиловградом их эшелон был перехвачен немцами, и все они через несколько месяцев пришли пешком обратно. В свою городскую квартиру он не пошел, а, чтобы как-то скрыться от немцев, привел семью на старый двор в поселок — к бабушке. Однако очень скоро его вызвали в полицию, взяли на учет и обязали каждый день отмечаться. А когда случилось несколько диверсий против немцев, его и других, подобных ему, арестовали, подержали немного в Макеевской тюрьме, а потом угнали в лагерь, где он и был до прихода наших.

Война крепко порушила его судьбу: унесла здоровье, жену — она умерла при немцах,— детей разметала по свету. И работал он теперь дежурным на дальнем разъезде, там и жил — один, бобылем. Он давно понял, что для него все кончено, жизнь прошла, и прошла она, к сожалению, неудачно. А поняв это, он очень быстро сник и потускнел. Все это — война...

Привез его сейчас в поселок Федор, специально съездил за ним на своем «Москвиче».

Дядя Платон отступил от меня на шаг, оглядел, обратился к матери:

— Сестра, гляди, он уже на меня похож: седой, толстый!

— Так ему ж с детства хотелось быть похожим на своих дядей,— сказала мать.— Вот теперь уже почти и похож сразу на всех. Время всех равняет.

Тетя Груня поцеловала меня в губы и, если бы не короткая перепалка с Платоном, наверняка прослезилась бы и сама. Но тут сдержалась и твердо предупредила:

— Вот сразу тебе говорю, пока никто тебя не перехватил; завтра вечером к нам приходи. Сварю твоих

любимых вареников. И вы все приходите,— обратилась она к мужикам.

— Тогда днем к нам,— крикнул Неботов.

— А ко мне когда? — развел руками Гаврюшка.

— Да и ко мне ж надо, Вась? — отозвался Федор. — У меня дело есть — «Москвича» получил.

— График составим,— предложил Гаврюшка, и все засмеялись.

— Теть Грунь,— растроганно обратился я к тетке,— у вас вареники, конечно, лучшие в мире. И угощали вы меня разными вкусными вещами много-много раз. А запомнилось знаете что? Бураки! Вареные бураки в тридцать втором году!..

— Во! Приходи — наварю: бураков нынче у нас много! — тут же перевела она разговор на шутку.

Вскоре пришел Карпо, поздоровался степенно со всеми — каждому руку протянул и, став в сторонке, полез в карман за папиросами.

— Подожди, не закуривай,— остановила его мать. — Все собрались? Да и идите уже за стол, люди истомились. Где кума?

— Щас идет,— сказал Карпо, пряча папиросу в пачку. — В погреб зачем-то полезла.

— Так все уже есть — на столе. Што она там ишо придумала?

— Не знаю... То дело ее.

— Ивана мого где-то черти держат,— проговорила тетка Груня. — Ждать не будем: семеро одного не ждут.

— Идет твой Иван,— сказал Гаврюшка и кивнул на огород.

Высокий, пригибаясь под ветками, Иван Михайлович в синей сетке нес два огромных соленых арбуза.

— Да или у тебя до сих пор соленые кавуны? — удивился Платон. — Уже скоро новые будут, а у него еще соленые не вывелись.

— И правда, где ты их взял? — удивилась и тетка Груня.

— Где? В кадушке, где ж,— сказал Иван Михайлович, улыбаясь. — Полез — рассол хотел вылить — и нашел.

— Брешет,— покрутила головой тетка Груня. — Нарочно держал: может, Вася приедет. Ждал?

— Ну а хоть бы и так? — Иван Михайлович протянул

сетку матери. — Один разрежь — тут на закуску, а другой нехай повезет в Москву. У вас же там нема таких? — спросил Иван Михайлович, пожимая мне руку.

— Откуда же? Нет, конечно...

— Ну, теперь, кажись, все, — сказала мать. — Вон и Ульяна идет. Идите в хату, пора уже за стол.

И тут, откуда ни возьмись, голос с улицы:

— Привет, Кузьмич! С приездом!

Все обернулись на голос. Вижу: Илья Солопихин — друг детства моего. Машет рукой, переходит с той стороны улицы на эту, поближе. По лицу видать — навеселе. Кепка свернута набок, рубаха расхлыстана.

— Ой, боже мой! Илья! Да ишо пьяный! — прошептала мать. — Достоялись...

А он уже толкнул ногой калитку, во двор вошел. Руку вытянул вперед — приготовил для приветствия, из всех видит одну мать, к ней и обращается:

— Тетка Нюрка, вы меня не ругайте. Я только поздоровкаюсь с Кузьмичом. Мы ж с им в школу вместеж ходили! Верно, Кузьмич? — И он облапил меня. — Уважаю я тебя, Кузьмич! — признался вдруг он. — Одну вещь я тебе, Кузьмич, никогда не забуду!

— Какую, Илья? — насторожился я.

— Да ты не бойсь — вещь хорошая, добрая. — И к матери: — Теть, правда. Не поверите? В тридцать втором годе дело было. Голод был страшный. Пухли от голода. Весной мы с братишкой — с Игнашкой — товращка выловили и сидим жарим на костре. И вдруг идет Кузьмич. — Илья указал на меня. — Идет и несет три бурака. И один отдал нам. А был же голод...

— Во, и этот про бураки вспомнил! — удивилась тетка Гюря. — Да што на вас нашло?

— Это ваши бураки были, — сказал я.

— Да ты ж Ивану не выдавай меня, он же не знает, я украдкой от него давала.

— Ну да, не знаю! — отозвался Иван Михайлович. — Думаешь, только ты все знаешь?..

А Илья не выговорился еще, ждет, когда кончат говорить, крутит головой — подождите, дайте я доскажу. Не дождался, ударил меня в грудь:

— Душа у тебя добрая, Кузьмич. Голод, а ты отдал... Спасибо. — И, обращаясь ко всем, добавил: — И еще

хлопотал после, шоб Никита мне сухарей дал. Во! Никита принес мне потом хлеба и кусок сала и рассказал все.— Илья взглянул на Карпа: — А сухарей у тебя, Романыч, тогда уже не было...— Помолчал и спросил у Карпа: — А ты, Романыч, и сейчас, наверное, сушишь сухари? А? Сушишь ведь?..

— То не твое дело,— сказал Карпо резко.— Выпил — дак и иди своей дорогой, не приставай к людям.

— Да ты не серчай, Романыч. Шо ж тут такого?..

— Ниче такого,— обиделся почему-то крестный.— Сушил — не сушил, а товращков не ел.

— А я отказываюсь? — сказал Илья.— Голод же был...

— Ну вот, уже завелись,— подала голос мать и, подобрев к Илье, пригласила и его в комнату.

— Не, тетъ, не могу... Пойду домой. Мне и так достанется на орехи: у меня ж жинка — культурная сатана, не любит даже запах.— И он, подняв руку к своему носу, поморщился брезгливо.— Пойду. Прощевайте.— Илья пожал мне руку, остальным помахал и направился со двора.

Я смотрел в согбенную спину Ильи и чувствовал, как на меня накатывает грусть, тоска по чему-то далекому и невозвратному. Мне сделалось почему-то неловко от нашей встречи, а вернее — от расставания: вот так накоротке, мимоходом...

Чтобы как-то погасить в себе эту неловкость, бодрясь, на шутейной волне я спросил:

— Илья, голубей держишь?

— Хо, вспомнил! — Он обернулся.— Не, давно бросил. Родя Чуйкин занимается голубями. Помнишь, как нас гонял? А теперь сам. Развел сизарей. Снимутся, будто стая воронья, и летят в поле кормиться. На мясо держит, как курей, а не кормит.— Он взглянул на Карпа: — И Романыч от него не отстает.— И быстро, чтобы не дать Карпу обидеться, добавил: — Но Романыч кормит, а тот своих на колхозное поле переключил. Все перевернулось, Кузьмич: раньше мальчишки голубей водили, а теперь пенсионеры. Если доживу до пенсии, может, и я разведу. Только не сизарей, а таких, шоб глазу приятно было.— И он, прищурившись, взглянул в небо, будто там парили его голуби.

Илья ушел, и мы медленно, будто нехотя потянулись

в дом, к столу. Здесь я оказался между дядьями: слева сидел Платон, справа — Карпо.

Гости разговорились, пошел общий гомон. Карпо обернулся к жене, спросил у нее вполголоса:

— Рази у нас перед войной был чувал с сухарями?

Та удивилась вопросу, но, взглянув на меня, поняла, что это касается какого-то нашего разговора, сказала решительно:

— А то нет! — Она говорила громко, вызывая, заранее отвергая любое возражение. — Ты ж ниче не помнишь! Тебя ж еще до войны за полгода, а то как бы не раньше угнали в командировку — путя прокладывать где-то. Оттуда и на фронт пошел. Вот ты и забыл, што у тебя дома делалось. И ты думаешь, это я теми сухарями жива осталась? Как бы не так! — Она перегнулась, чтобы из-за Карпа меня видеть, стала рассказывать: — Тут же как вышло? Наши отступили, а немцев ишо нема. Они уже и в городе, и в Ясиноватой — кругом, а у нас никого. Обошли. А на станции алигатор загорелся. Ну, народ кинулся туда. Сколько смогли — нахватили зерна, потом в ступах толкли, лепешки пекли. Только не все, а те, кто похитрее был да зерно припрятал. Потом как нагрянули скоро немцы и стали у всех хлеб тот трусить. И у нас шукали. И наткнулись в чулане на сухари. Как увидели, зажеркотали что-то и поволокли чувал на машину. А я вслед, кричу: «Отдайте хоть чувал, паразиты такие-сякие!» Они винтовками меня пугают: «Пук-пук, матка». А я свое: «Отдайте чувал!» Как оно получилось, поняли или просто так вышло, а только высыпали они сухари прямо в машину, а чувал бросили на меня. Я барахтаюсь в ем, а они смеются. С тем и уехали. Штоб им те сухари поперек горла стали, паразиты! Оголодили вконец.

— То итальянцы были, — уточнил Неботов, знавший эту историю из рассказов многих. — Немцы — те убили б.

— Все хороши, повидали! — резко отрубил Ульяна.

— А ты што ж, правда, сушишь? — спросил Платон у Карпа.

— Да ты служай больше, — отмазнулся Карпо.

— Сушим, сушим! — сказала Ульяна громко. — Кусочек какой останется, не выкидать же? Ссушу да в чувал. Может, пригодится.

Карпо поежился неловко, усмехнулся — что, мол, с бабой сделаешь?

— Это она все... — сказал он снисходительно и, помолчав, продолжил раздумчиво: — Оно ж жизнь какая была? То одно, то другое, вот народ и настороже все время. И Ульяна... Как услышит — заварушка где-нибудь, так начинает хвататься за соль, за спички. И чувал тогда подрастает. А чуть затихнет, успокоится в мире, и она про сухари забывает. — Карпо снова помолчал, подумал и опять снисходительно в адрес Ульяны: — Да то так, больше для успокоения нервов, как говорится. Как-то было, помните, одно время пропал белый хлеб, да и черный стали давать по разнарядке. Ух, как она накинулась на меня: зачем я отговаривал ее от сухариной затеи? А оно штошь быстро все опять перевернулось, наладилось, как из-под земли появились и булки, и бублики — все, одним словом. А она своим глазам не верит. Пока есть возможность — давай запасать. Таскает, сушит. А потом утихомирилась...

Сосед Неботов любит философский разговор, подняв беспалую руку, подхватил Карпову мысль:

— Дак оно ж, видишь, какое дело. Народ, так бы сказать, разными бедствиями напуган. А тут ишо пугают: ученые вроде доказывают, шо через десять лет будет всемирный поголовный голод. Ну? Они ж, так бы сказать, ученые, они ж знают что-то, раз пишут? Им же не верить нельзя? И год, главное, предсказуют! Как тут быть?

Платон слушает, молча кивает, соглашаясь, но мыслями, видно, блуждает где-то далеко. А дискуссия идет своим чередом. Карпо поддакивает Неботову:

— Да... Это тебе не гадалка нагадала, а ученые говорят, в газете пишут!

— Или ишо такой пример, — продолжает Неботов. — К такому-то году расплодятся людей на земле видимо-невидимо, негде будет повернуться. А всех же надо накормить? Прикинешь своими мозгами — вроде все правильно говорят. Ты поезжай в город, посмотри, что делается: не протолкнешься — народу столько!.. А наш поселочек возьми. Городом стал! Дело тут, конечно, не в звании — народищу сколько образовалось! Откуда? Прикинешь — все правильно. Взять хоть бы тебя,

*Романыч. Жили вы с Ульяной Ивановной, детишки. Одна семья. А теперь же от вас отпочковалось ишо три семьи. Уже четыре стало.*

*— Пять,— поправляет Карпо.— А свояченица Марья? Она ж у нас росла.*

*— Во-во! — горопится Неботов, чтобы не сбиться с мысли.— Пять! Да у Никиты старшой уже, наверно, в армию собирается; приедет, оженится — ишо семья. А там и другие взрослеют. Вот она какая тут прогрессивка идет. Да то ладно. Больше народу — больше рабочих рук, больше голов умных — придумают, как одеть-прокормить себя. Это не страшно. Где народу издавна много, да живут кучно — там ишо не пропали. Возьми японцев. На таком-то клочочке живут! Столпотворение. А считаешь: и того у них больше всех, и то у них лучше всех. Тех уже перегнали, а тех уже догоняют и самой Америке на пятки наступают. Так што пушай народ рожается для жизни, а особливо у нас: всем места хватит. Война проклятая — вот што не дает покоя. Она ж так и стоит у нас на пороге, так и ждет щелочку, будто ветер морозный, так и лезет в теплую хату.*

*Неботов выговорился, смотрит в стол, думает, осмысливает сам, что сказал. Карпо завершает серьезный разговор:*

*— Ото ж Ульяна и не свертывает свой полосатый чувал, держится за него, как за спасителя. Хотя, правда твоя,— бросает он взгляд на меня,— ишо ни разу нам тот чувал не подмогнул: рази узнаешь, когда, откуда, какая беда подкрадется? Как кажуть: знал бы — соломки подстелил бы.*

*Мать сидела, облокотившись на уголок стола, и, освободив из-под платка одно ухо, внимательно слушала мужской разговор. Время от времени кивала головой, но в беседу не встревала. И только когда все уже выговорились, она будто про себя произнесла:*

*— Да, хлеб — всему голова... — Потом добавила: — И топливо... Как вспомню — больше всего мучились без хлеба и без топлива. Самые страшные враги — голод и холод. — И удивилась: — Во, они и стоят рядом — слова эти похожи друг на друга: голод и холод. Два моих страха. Ой, как трудно добывались они — хлеб и топливо... Ты ж, наверно, помнишь? — спросила она у меня. — Чего только*

не пережили, чтоб в хате было тепло и не голодно. — Она поправила платок и пошла на кухню.

Меня, да и других, особенно дядю Платона, разговор этот поверг в грустное настроение. И даже песня, затеянная женщинами, не могла развеселить. Один по одному мужики потянулись из-за стола — курить.

— Шо оно такое — сколько годов прошло, а все одно цепляет за сердце? — спросил больше самого себя, чем меня, дядя Платон.

— Прошое не забывается, раны бесследно не заживают...

Эта фраза была сказана экспромтом, но вынашивалась она, наверное, всю жизнь. Я удивился ее точности: действительно, не заживают раны бесследно ни на теле, ни на сердце. Прошое преследует нас всю жизнь, и чем дальше мы уходим от него, тем явственнее оно проявляется, тем чаще вспоминается, тем чувствительнее начинают зудеть старые шрамы. Нам только кажется, что все ушло, все забылось, все было и былшем поросло. Нет, оно лишь заслонилось пленочкой новых событий, а чуть что, сам ли, другой ли кто только чуть тронет эту пленочку — и вот оно, все прошое вновь перед тобой. Иногда покажется, что не сразу узнал себя, будто это вовсе и не ты, а кто-то другой, и смотришь на себя — прошлого, как на кого-то другого, но очень близкого и знакомого, и даже хочется сказать о себе, о прошлом — «он». Вот как я теперь...

Хлеб и топливо... Как не помнить?..





## ЗАПАХ ПЛЕНКИ

В пятый класс Васька стал ходить в железнодорожную школу-семилетку, что стояла в центре поселка. Здесь, собственно, было две школы: старая, «земская», копия той, что и на выгоне, и новая. В прошлом году почти вплотную к «земской» железнодорожники построили свою — из белого кирпича с широкими «итальянскими» окнами, и старая померкла, стала выглядеть как лодчонка рядом с большим белоснежным пароходом. В старом здании остались начальные классы и библиотека, а все остальное переселилось в новое.

Перевод в эту школу Васька воспринял как праздник, как награду, хоть и приходилось ему теперь в осеннюю непогоду месить грязи вдвое больше, чем раньше. Побывать в центре — это почти как побывать в городе: тут клуб, больница, магазины. По большим праздникам на площади проходили демонстрации, митинги.

Больница, церковь, как и старое здание школы, были

выстроены еще в начале нынешнего века из красного кирпича все тем же земством и выглядели совсем новыми, добротными и солидными. Они создавали центр, хотя каждое из них и жило своей, отличной друг от друга жизнью и было отгорожено от других своим собственным забором. Вокруг больницы тянулась крепкая кирпичная стена с частыми квадратными окошками, в которые заглядывали ребятишки и приезжие посетители, — через эти окошки был виден больничный сад, скамейки и гуляющие больные в серых халатах. С больничного двора постоянно несло запахом лекарств и супа, заправленного луком на подсолнечном масле.

Церковь обвивала на каменном фундаменте высокая узорчатая, как кружево, металлическая изгородь. В палец толщиной железные прутья ее красиво изгибались в разнообразные завитки, образуя легкий венок. Выкрашенный в зеленый цвет, он казался сотканным из стеблей полевых цветов. Сверху это изящное обрамление было утыкано частыми острыми шипами. За церковной оградой всегда было тихо, чисто, благостно, трава там росла густая и низкая, как ковер. Огромные дубы в летнюю пору затеняли все околоцерковное пространство. Три чьих-то могилы с массивными каменными крестами за оградой навевали тоску, грусть, отпугивали от церкви, хотя сама она и сверкала свежескрашенными голубыми куполами и золотыми крестами на них по-праздничному весело.

Школа была обнесена деревянным штакетником, который после зимы всегда выходил, как после великой драки, ободраным, поваленным и с такой недостаточной штакетин, что его всякий раз приходилось восстанавливать почти заново. Деревья в школьном саду ученики сажали каждую осень и каждую весну, и они же каждую зиму ломали их, устраивая свалки в снежных сугробах.

Только клуб стоял беззаборным. Без кустика, без деревца, без никакой ограды, он был открыт всем ветрам. Он и размещался как-то на отлете от других зданий: те, красные, добротные, прочно сгрудились на одной стороне площади, а он, некогда побеленный, а теперь серый от облупившейся известки, — на другой. Будто чужой тут. Сурово, непримиримо смотрел он издали своими забрызганными оконцами на величественную и ухоженную церковь.

Клуб этот лет десять назад начал строить путиловский завод для своих рабочих, которых вдоволь жило в нашем поселке. Но потом вдруг, уже почти по завершении его, строительство почему-то прекратилось. Говорят, на заводе подсчитали и увидели, что железнодорожников в поселке живет больше, чем заводчан, и не стали стараться для «чужих». После этого клуб передали железнодорожникам, те повозились с ним около года — отстроили киновудку, аппарат поставили, пустили кино, а потом отмахнулись: хватит нам, мол, и одного клуба, что на первом поселке. Попробовали было всучить клуб кирпичному заводу — не вышло: те сразу наотрез отказались от него, и отговорка у них была вроде резонная: «Где завод, а где тот клуб? Далеко. Наши туда и не ходят...» Поссовет тоже не в силах был содержать это заведение, а клуб тем не менее жил.

Вечно неприкаянный, вечно бесхозный, ошарпанный, он каждый вечер зажигался яркими огнями, и к нему со всех концов тянулись и железнодорожники, и заводчане, и все-все, кто обитал в поселке. В клубе работали кружки: драматический, хоровой, струнный, через день в нем «крутились» картины, и билеты на них, как и на спектакли самодельных артистов, раскупались с боем.

Васькина дорога в школу теперь лежала мимо клуба, и он от этого был счастлив вдвойне. Шел ли в школу, возвращался ли домой — Васька непременно заворачивал к этому зданию. Он обходил его вокруг, заглядывал в окна, а если двери были открыты, проникал тихонько внутрь и бродил там до тех пор, пока его не замечал сторож и не выгонял. И хотя всякий раз видел он там почти одно и то же: приваленные к стене декорации, разостланный на полу недописанный лозунг, старую афишу на фанере, — сердце его все равно сжималось в сладкой истоме. Его пьянил запах сырой охры, в трепет приводил разбросанный в гримерной театральный реквизит — парики, грим, бутафория.

Вечером, когда Васька возвращался домой, клуб обычно уже оживал: пиликал баян, тренькали на домбрах, дули в трубы, к кассе толпилась очередь за билетами в кино или на танцы. В этот момент Ваське особенно хотелось проникнуть внутрь, но, как нарочно, именно в это время клубный сторож Саввич был больше обычного сердит и несговорчив. Он охранял клубный вход от мальчишек

с такой ревностью, будто они посягали на его жизнь. Они, правда, порядочно досаждали ему, дразнили старика, всячески отвлекали и любыми способами все равно прорывались в клуб. Особенно когда шло кино. Поэтому у сторожа были все основания для непримиримой войны с этим надоедливым племенем. Васька никогда не дерзил Саввичу, он даже, наоборот, всегда держался в сторонке от самых хулиганистых ребят, надеясь, что сторож заметит его, выделит и вознаградит за примерное поведение приглашением в зал. Но Саввич не делал между ними различия, любой подросток вызывал у него приступ гнева: он тут же как-то по-старчески неуклюже начинал суетиться, кричать, размахивать руками, шарил вокруг себя глазами, нагибался — делал вид, что поднимает камень, чтобы запустить им... Ребята отступали от него, смеялись, ждали, когда он успокоится или отвлечется, и снова штурмовали входную дверь, пока все до единого не окажутся в зале.

Васькина тактика разжалобить сторожа, расположить его к себе почти не приносила ему успеха, тем не менее он терпеливо надеялся, что добродетель все-таки восторжествует. Он верил материной присказке, будто «ласковое телятко двух маток сосет», хотя, следуя этой морали, ему пока не удалось пососать и одной. В то время как ребята смотрели новые картины, он, огорченный, уходил домой ни с чем. Дома часто от обиды плакал. А мать твердила свое:

— И пусть, они — хулиганы... Сегодня бесплатно прорвались в кино, а завтра магазин ограбят. Все с малого начинается. Возьми вот деньги, в выходной сходишь в клуб и посмотришь свое кино честно, как люди. Никто тебя не упрекнет.

Васька немного успокаивался, но все-таки ворчал:

— Да... А это кино детям до шестнадцати лет и не показывают...

— Ну и не надо. Зачем оно тебе? Вырастешь — посмотришь.

Спорить с матерью Васька не мог — она, как всегда, права. А клуб тянул его, манил непонятным своим магнитом. И неудивительно, что именно клуб стал главным Васькиным воспитателем. Если школа была просто школой, то клуб — университетом. Здесь он «постигал революционную теорию и практику», здесь приобщался

к искусству, притом самому разнообразному: кино, драматургии, музыке. Историю и литературу в большей степени тоже постигал он здесь, а не в школе.

В самом деле, какая статья из учебника даст мальчишке больше о революции, чем кинофильмы «Чапаев», трилогия о Максиме или «Ленин в Октябре»? Какой мальчишка усидит дома над хрестоматией по русской литературе и над учебником по истории, когда в клубе идут картины «Юность поэта», «Дубровский», «Емельян Пугачев», «Александр Невский», «Кутузов»? Какая проповедь и какого наставника могла больше возбудить в мальчишке патриотические чувства, чем кинофильмы «Трактористы», «Всадники», «Истребители», «Если завтра война...»?

И может быть, самое главное, о чем в школе и намеком стыдятся говорить, здесь Васька получал образование в любви. Простенькая, незамысловатая лента «Моя любовь» взволновала его до такой степени, что и десятилетия спустя она продолжала волновать его, как воспоминание о первой любви...

Но это случилось потом, постепенно, а сейчас Васька был пока лишь на подступах к этой академии, и взять ее он надеялся не штурмом, а длительной осадой. И он взял ее!

Однажды, идя в школу, Васька по привычке заглянул в открытую дверь клуба и увидел в фойе необычное: на стене была пришпилена цветная бумажная афиша, разлинованная на ровные квадраты. А чуть поодаль от стены, подпертая с обратной стороны двумя деревянными рейками, стояла большая «картина» — холст, туго натянутый на подрамник, загрунтованный и побеленный. Холст тоже был разлинован на квадраты. Около холста с кистями в руках хлопотал Николай Шляхов — клубный киномеханик. Огненно-рыжий этот парень был настоящей душой клуба, который, собственно, держался и жил в большей степени энергией Николая. Он механик, он же и режиссер драмкружка — под его руководством готовились и ставились на клубной сцене разные пьесы. Весельчак и балагур, Николай всегда играл в этих пьесах комедийные роли, а в концертах он был лучшим конферансье. Он сам мастерил и рисовал декорации к спектаклям и писал на фанерных щитах афиши, которые потом разносились по разным точкам поселка многочисленными мальчишками, всегда готовыми служить ему.

Николай по существу был и завклубом. Иван Егорович Степанов — настоящий завклубом — делами своего учреждения занимался мало, а смыслил в них и того меньше. Хотя на работу приходил он исправно, сидел за столом, накрытым красным полотном — старым лозунгом, и подписывал бумаги, присутствовал на репетициях или ходил по клубу, «следил за порядком» и спрашивал Николая: «Ну, как тут у тебя?» — «Порядок!» — отвечал тот весело. «Порядок... — ворчал для солидности Иван Егорович. — А кто струну порвал на самой большой домбре? Струны дефицит и денег стоят... Порядок...»

Николай за инструмент не отвечал, там есть руководитель, но он не возражал заву, отшучивался: «Так струна-то тонкая! А где тонко, там и рвется». — «Беречь надо. Бюджет у нас какой?» — «С гулькин нос». — «То-то, что с гулькин...»

Выбить у Ивана Егоровича денег на что-нибудь — на реквизит к спектаклю, на костюм, на грим — было делом самым трудным. И тут мог уговорить его только Николай...

Когда Васька заглянул в фойе, Николай переносил с плаката на холст знаменитый кадр — Чапаев с Петькой в тачанке за пулеметом. Николай делал на холсте мазок, другой, отступал, смотрел издали то на плакат, то на свою работу, подшмыгивал носом, вытирал его засученным до самого локтя рукавом, подскакивал снова к холсту, делал несколько мазков и снова отбегал на середину. Издали можно было подумать, что Николай танцует перед зеркалом. Васька прочитал на афише короткое слово «Чапаев» и смотрел замороженный на тачанку. «Чапаев» будет! Когда?

Николай оглянулся на Ваську, подмигнул — он был в хорошем настроении, — спросил:

— Ну, как? Похоже?

Васька перевел взгляд на холст — там уже основное было перерисовано, и довольно точно.

— Да! — сказал он и невольно улыбнулся. — Хорошо!

Польщенный, Николай сделал еще несколько штрихов и принялся затушевывать фон. Васька приблизился, смотрел зачарованно, как быстро, натренированно работал кистью художник, как он, будто случайно, делал несколько кривых мазков, и получались облака, мазнет малой кистью

у колеса — и появлялось ощущение стремительного движения.

— Уже тут! — донесся с улицы резкий голос Саввича. Он увидел Ваську, заторопился, закачался неуклюже, старчески, растопырил руки, стал шарить глазами по земле — искал, чем бы запустить в Ваську. Грузный, радикулитчик, он пытался нагнуться, но тут же разгибался. Заглянул зачем-то за дверь — словно там стояла палка, не нашел ничего, остановился в проеме двери, загородил угрожающе выход. — Уже тут? Ни вечером, ни днем от вас покоя нету... Шо вам тут, медом намазано? Как муравьи, так и лезут, так и лезут... Сказано: до шешнадцати лет запрещено!

Бежать Ваське было некуда, он отступил растерянно к стене.

— Вот я тебе сейчас!..

— Да погоди ты, Саввич! Ну что ты разорался? Прямо как бык на красное, так ты на пацанов, — оглянулся Николай. — Отойди от двери — свет загородил, темно.

— А шо, это твой родственник? — уже совсем другим, спокойным голосом спросил Саввич и отошел в сторонку.

— Конечно, родственник. Не видишь разве? Брат мой, близнец. А ты только родственничков и привечаешь? Ох, Саввич!..

Но Саввич уже не слушал его, смотрел на «картину» и крутил быстро головой — то ли от удовольствия, то ли от нервов.

— Это куда ж такую нарисовал? На сцену?

— Зачем на сцену? — удивился Николай. — На улицу! Афиша!

— Афиша? Отродясь не было такой, — надул Саввич губы и насупил брови — это он так задумывался.

— Отродясь!.. Отродясь и фильма такого не было.

— На улицу? — все еще не верил Саввич услышанному. — Там же ее дождем попортит. Вот тут и прибай, — указал он на стену. — Все будут любоваться. Краски одной сколько извел...

Разговаривая, Николай продолжал работать. Он взял плоскую кисть и, прежде чем макнуть в краску, написал ею что-то в воздухе — прикинул размер букв. Потом подумал, подумал и еще раз в воздухе написал какое-то слово. И только после этого решительно макнул кисть в ведро

с красной краской и начал писать по диагонали: «Чапаев». Затем малой кистью подправил кое-где закругления в буквах и быстро набросал внизу: «Начало сеансов: в 7 ч. и 9 ч. веч.».

— Все! — объявил торжественно и бросил кисть в банку с водой.

— А когда? — спросил Васька.

— Че когда? — не понял Николай.

— Число... — И Васька показал на левый верхний угол, где обычно в афишах ставилась дата.

— А-а! Забыл! Вот голова... Это все Саввич виноват, — сказал Николай. — Придет, забудет голову... — И подмигнул незаметно Ваське.

— Опять Саввич виноват! — вспыхнул сторож и взмахнул руками. — Вали все на серого! У самих порядка нет, вот и валят все на Саввича! — И он, рассерженный, пошел прочь по длинному фойе, вихляя задом и широко расставив руки.

— Все, завелся! — Николай взял кисть и написал в углу: «Скоро!»

«Скоро», — прочел Васька и проговорил разочарованно:

— Значит, не скоро...

— Как не скоро? Скоро! Не пройдет и недели... — Николай вытер руки тряпкой. — Тебя как зовут?

— Васька...

— Помоги мне, Васек, вынести...

Васька с готовностью бросил на стул книжки, перехваченные ремешком, подбежал к афише, взялся за подрамник.

— Не тяжело?

— Не... — сказал Васька, переступая мелкими шажками и сгибаясь под тяжестью довольно-таки массивной афиши.

Они вынесли афишу и повесили ее за петли на заранее приготовленные крюки. Николай отбежал метров на сто и долго любовался своей работой.

— Здорово!

— Как в городе, — сказал Васька.

— А что? Не хуже. Помоги уж заодно убрать мне и краски.

— А куда их?

— В кинобудку. — Николай взял самое большое ведро



и полез по деревянной лестнице наверх, Васька — за ним.

В кинобудке Васька не был ни разу, и поэтому, когда он вошел туда, глаза его разбежались. В маленькой комнатухе, у дальней стены, стоял на черной станине аппарат, слегка наклоненный вперед, будто заглядывал через квадратное окошечко в зал. В той же стене было пробито и другое окошко — пошире и повыше первого. Васька сразу догадался: в маленькое пускается кино, а в большое смотрит механик.

Поразил Ваську и массивный стол, обитый жестью, к которому был привинчен диск с ручкой. Справа, ближе к углу, стоял зеленый железный шкаф, за который Николай спрятал краски и кисти.

Васька прошел к дальней стене и, приподнявшись на цыпочки, заглянул через окошко в зал. Пустой, он казался большим и далеким.

— А почему у нас все время немые картины идут, а на станции звуковые? — спросил Васька, разглядывая аппарат.

— Скоро и у нас будет звук. Уже деньги перечислили. Тогда мы станцию заткнем за пояс! — Николай открыл шкаф и достал оттуда белую из оцинкованной жести круглую коробку.

— Что это? — подбежал Васька.

— Кино. — И Николай открыл коробку.

Васька увидел черный ролик пленки и потянулся к нему, потрогал осторожно пальцем.

— Это оно в таких коробочках?.. А пахнет как!

— Нравится?

— Ага! — И Васька нагнулся над коробкой, втянул в себя сладкий ацетоновый запах. — Это так кино пахнет?

— Да.

— Как интересно!

Николай вытащил ролик и положил его на стол, затем снял с аппарата разъемную бобину, вложил в нее пленку и насадил бобину на штырь перемотки. Конец пленки протянул к диску и, придерживая рукой, принялся перематывать ролик.

— Зачем это? — спросил Васька.

— Она не перемотана... Да и проверить надо, может, обрыв где...

Не успел Николай договорить, как пленка хлестнула

оборванным концом по столу и, шурша, потекла на пол. Николай локтем остановил раскрутившуюся бобину, взглянул на Ваську:

— Понял? Так и есть! Мерзавцы! Я ведь никогда не сдам в кинопрокат порванную пленку. Будь она перемотана, я и не проверял бы ее. А во время сеанса в зале уже свистели б и орали: «Сапожник!» А я при чем?..

Николай достал из тумбочки ножницы и пузырек с клеем. Подняв концы пленки на свет, он отрезал от одного конца, от другого, обрезки полетели на пол.

— Ой! — только и успел сказать Васька и стал собирать обрезки.

— Ты че ойкаешь?

Николай лизнул языком один конец пленки и принялся счищать с него эмульсию. Очистил, намазал оба кончика клеем, соединил их и, прижав пальцами, принялся дуть, словно они были горячими. Запах ацетона разлился по аппаратной, и Васька невольно проглотил слюну, словно пососал мятную конфету.

Склеив пленку, Николай продолжал перематывать ролик, а Васька стал рассматривать на свет подобранные с пола обрезки пленки. На всех трех квадратиках было одно и то же: жуликоватый дядька с перевязанной щекой на костылях стоял у закрытых дверей большого собора. Это был кадр из фильма «Праздник святого Йоргена». Васька его еще не видел и поэтому спросил:

— Интересное кино?

— О-о! Мировое! Умрешь от смеха! Ильинский играет, Кторов!..

Ильинского Васька знал по другим картинам: «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах». Смешной артист этот Ильинский, почти что как Чарли Чаплин.

— А звуковым нельзя сделать это кино?

Васька слышал о звуковом и цветном кино, но самому видеть еще не приходилось.

— Ну как же ты сделаешь? Это специально делается: нужна пленка со звуковой дорожкой, аппаратура — преобразователи, усилители, динамики.

Задумался Васька: не скоро, видать, в этом клубе будут звуковые картины.

Николай посмотрел на Ваську.

— А ты думаешь, это просто — озвучить кино?

Васька пожал плечами.

— Ну, как ты себе это представляешь?

Оглянувшись на аппарат, Васька несмело сказал:

— Ну... Ну, пустил бы картину и тут же пластинку завел... Чтобы сразу, вместе... А на пластинке все записано — разговор там, кашель, музыка... — сказал и покраснел.

А Николай, перестав крутить диск, внимательно смотрел на мальчишку и слушал. Потом толкнул его пятерней в лоб, проговорил:

— А ты сообразительный! Только все это делается не так, все гораздо сложнее... — Увидел Васькины книжки, спросил: — Ты в каком классе?

— В пятом... — сказал Васька и закусил растерянню губу: о школе-то он совсем забыл! — Сколько... Сколько сейчас времени?

— Да около трех, наверное.

Махнул Васька безнадежно рукой:

— Уже первый урок кончается... Побегу, хоть на второй успеть бы...

Вздохнул Васька, настроение испортилось: теперь придется объясняться и в школе, и дома, а это хуже всего. Уши огнем вспыхнули. И перед Николаем стыдно. Взял книги, хотел положить обрезки пленки на стол, но Николай сказал:

— Возьми себе.

Сунул Васька обрезки в карман, улыбнулся кисло, поблагодарил:

— Спасибо! — и побежал вниз по лестнице.

— Осторожно, не упади! — крикнул ему вслед Николай. — Вечером, после школы приходи!

— Ладно! — уже снизу прокричал Васька. И оттого, что Николай пригласил его заходить, на душе у Васьки немного посветлело, радость, что он побывал в святой святых клубе — в кинобудке, — взяла верх! Самому не верится, но вот оно, доказательство, — вот они, кадрики из кинокартины! И что там урок, что там выговор матери — ради такой удачи можно пожертвовать чем угодно!..

Но как только вспомнил Васька о матери, снова заняло сердечко, сразу тоскливо сделалось на душе, даже бежать перестал, поплелся шажком: все равно теперь уже ничего

не догонишь, ничего не исправишь — спеши не спеши. Уж больно строга мать, особенно насчет школы строга...

Но Ваське в этот день повезло: первый урок оказался пустым — заболела учительница. Зря он скрывался в кустах школьного сада — ждал перемены. Мог бы потихоньку пройти по коридору и войти в класс — там ребята сидели одни и занимались, кто чем хотел. Им завуч так и сказал: «Занимайтесь, кто чем хочет, только без шума».

Целый день Васька был в центре внимания одноклассников. Он рассказывал ребятам про кинопудку и в доказательство показывал обрезки киноплёнки. Кадриki ходили из рук в руки, их смотрели на свет, из-за них спорили на перемене, шушукались на уроках. Один раз их даже чуть не отобрала учительница русского языка — хорошо, вовремя спрятали.

Еле дождался Васька в тот день последнего звонка. Вихрем выскочил из школы и помчался снова в клуб. Взобрался по лестнице, открыл дверь в кинопудку и остановился у порога. Кинопудка была освещена каким-то голубым светом, который вырывался через верхнее отверстие в фонаре аппарата. Сам аппарат чуть подрагивал и шелестел киноплёнкой. Николай оглянулся на вошедшего, увидел Ваську, сказал:

— А-а! Это ты! — И поддернул по привычке штаны, шмыгнул носом. — Ну, как, обошлось?

— Химичка заболела! Первого урока не было совсем...

— Повезло! Ну, проходи. Только тише разговаривай, а то в зале слышно. — И он указал на квадратное окошечко в стене, в которое только что смотрел.

Васька положил книжки на краешек стола, прошел на середину будки и стал смотреть зачарованно на аппарат. Когда в фонаре начинало слегка потрескивать, а на потолке голубые блики начинали розоветь, Николай прикивал к темному, будто закопченному, стеклышку и подкручивал левой рукой многочисленные регулировочные винты, которые растопыренным хвостом торчали сзади фонаря.

Николай поманил Ваську и кивнул на окошко. Васька поднялся на цыпочки, заглянул. В зале было темно, людей не видно, их, казалось, закрывал, как туманом, бегущий откуда-то из-под Васьки расширяющийся сноп света. Этот сноп упирался в экран, на котором двигались люди. Толстый, с мясистыми щеками, бритоголовый католиче-

ский поп что-то важное рассказывал прихожанам. Потом изображение исчезало с экрана, появлялась надпись и в зале вспыхивал хохот.

Смотреть в окошко Ваське было неудобно, да и не очень интересно, и он повернулся к аппарату. Шелестя петлями, пленка ползла по многочисленным зубчатым шестеренкам вниз и, медленно стекая, наматывалась на нижнюю бобину. В одном из окошек между двумя роликами в том месте, которое было особенно освещено, Васька неожиданно заметил такое же движение фигур в кадрикe, как и на экране, хотя пленка, казалось, была неподвижной. Это открытие так удивило Ваську, что он дернул Николая за рукав и указал пальцем на «живой» кадрик.

— Вон там кино, — указал он. — Только вверх ногами.

Николай взглянул, куда показывал Васька, заулыбался:

— Чудак ты. Это и есть кино. Отсюда свет идет в объектив, через увеличительные стекла и на экран. — Николай расширил в сторону зала ладони, словно изображал раскрытую пасть.

У Васьки застыла на лице удивленная улыбка, он смотрел на аппарат, словно завороченный. Волшебство какое-то! Николай отстранил его в сторонку, открыл верхнюю кассету — там на бобине оставалось уже совсем немного пленки, и он оставил ее открытой.

Бешено вертелась верхняя бобина, еле-еле вращалась опузатевшая нижняя, трепетно шелестела пленка на роликах. Николай встал вплотную к аппарату, напряженно поглядывая то в зал, то на «живое» окошко в проекторе. И как только блеснул в этом окошке пустой кадр, он мигом захлопнул заслонку фонаря, вырубил на станине рубильник и включил свет в зале. Пленка еще шелестела, хлеща упругим концом по зубцам, а Николай уже щелкал сверху вниз зажимами, освобождая ролики для другой части фильма. Аппарат затих, когда Николай уже снял нижнюю бобину и бросил ее на стол. Выхватив из ящика фильмоштата новый ролик, он вложил его в верхнюю бобину и протернул конец пленки вниз. Заправляя пленку, Николай щелкал зажимами быстро и четко, словно автомат. Заправив нижний конец пленки в бобину, Николай распрямился, окинул быстрым взглядом все узлы, проверил пальцем петли и, раскрутив правой рукой аппарат за ручку, левой включил мотор. Погасив свет в зале, открыл

заслонку — пучок света ринулся через «живое» окошко в объектив, из объектива в зал. Взглянув на экран, Николай уже спокойно и неторопливо подкрутил ручки углей и отошел от аппарата.

Ваську поразило, с какой быстротой он работал: ни одного лишнего движения, на выключатели даже и не смотрит — руки сами все делают — быстро, четко, хорошо. Полминуты, и аппарат снова ожил. Васька вспомнил, как он всегда досадовал, когда сидел в зале и вдруг на самом интересном месте кончалась часть и перерыв, казалось, длился бесконечно долго. Ребята начинали нетерпеливо топтать ногами, кричать, свистеть, часто в этот хай включался и он: «Сапожник, три часа копается...» А «сапожник», оказывается, вовсе и не копается, быстрее его, пожалуй, никто бы и не поменял часть в аппарате.

— А на станции, говорят, кино идет без перерыва... — сказал Васька.

— Да. Два аппарата, — быстро отозвался Николай, словно ожидал от Васьки именно этого разговора. — Один включается, другой выключается.

— А я думал, лента тянется сплошняком, — признался Васька.

— О! — засмеялся Николай. — Представляешь, какой это ролик был бы! Такое колесо — с ним и совладать трудно.

Николай принялся перематывать только что снятую часть кинокартины, а Васька сам добровольно взял на себя обязанности механика: он поглядывал в окошко на экран — хорошо ли освещен, нет ли рамки, присматривал за пленкой — не оборвалась ли, и в этот момент хотелось ему заметить какие-то неполадки, чтобы вовремя кликнуть Николая. Но аппарат работал ровно, спокойно шелестела пленка, экран был освещен нормально.

Перемотав часть, подошел Николай, спросил:

— Все в порядке? — и тут же подрегулировал свет в фонаре.

— Что там горит? — поинтересовался Васька, кивнув на фонарь.

— Угли, — видя, что Васька ничего не понял, Николай повторил: — Угли. Графитные угли. — И он перед Васькиным носом соединил указательные пальцы, ткнув ими

несколько раз друг в дружку кончиками: — Вольтова дуга. Разве вы электричество еще не проходили по физике?

— Нет...

— Посмотри сам.

Пока Васька заглядывал через темное стеклышко внутрь фонаря, Николай достал из тумбочки огарок графитного стержня, подал ему:

— Вот. Возьми на память.

Время летело быстро. Васька и не заметил, как была запровлена в аппарат последняя часть картины, как отшелестели последние метры пленки, и опомнился, только когда Николай выключил аппарат и тут же рубильником на стене погасил фонарь. В кинобудке сразу стало необычно тускло и тихо. Раскаленные угли медленно гасли, и Николай, потягиваясь, словно исполнил тяжелую работу, не торопясь снимал нижнюю бобину с кинопленкой. Повертел в руках, раздумывая, куда ее девать, не спеша подобрал на бобину болтавшийся конец пленки и понес в шкаф.

— Завтра перемотаю... Устал. Пошли домой? — Он взял с тумбочки замок, огляделся вокруг — все ли в порядке? — и выключил свет.

Когда они спускались вниз, возле клуба уже не было ни души. Народ с последнего сеанса быстро разбежался, и попутчиков для Васьки искать было негде.

— Не забоишься один?

— Не... — отозвался Васька и направился домой. — До свидания.

— Пока...

На улице было темно, особенно со света, — в двух шагах ничего не видно. Только где-то уже на полпути Васькины глаза привыкли к темноте, и он стал различать дорогу, палисадники. Казалось, на улице посветлело, хотя свету неоткуда было взяться — на небе по-прежнему мерцали лишь далекие звезды. Стояло безлунье.

Никогда не думал Васька, что так жутко идти по глухой пустынной ночной улице одному. Он знал, что ни хулиганистых мальчишек, ни злых собак на его пути не будет, но тем не менее страх опутывал его ноги, мешал спокойно дышать. Как затравленный, он поминутно оглядывался по сторонам — ему чудились то какие-то шаги сзади, то какие-то движущиеся тени впереди. Особенно натерпелся страху, когда переходил речку: кругом кусты колючего кустарни-

ка, деревья и под каждым, кажется, кто-то скрывается.

Только когда выбежал из переулка на свою улицу и услышал вдали гармошку, успокоился: есть живые люди! Прислушался и узнал — Федор Баев играет. Только он так умеет играть «Страдание» — голосисто, с переборами, задорно и грустно. Донеслась и частушка — припевал звонкий девичий голос. Слов Васька не разобрал, но по голосу узнал — пела Паша Симакова, невеста Баева. Паша нравилась Ваське, и ему обидно было, что за ней ухаживает Басв. А что сделаешь? Они взрослые, а Васька — пацан...

На своей улице Васька успокоился и пошел медленнее.

Недалеко от дома, у Чуйкиного двора, он заметил на дороге темную одинокую фигуру и на всякий случай, свернув в палисадник, затаился в кустах желтой акации. Когда фигура поравнялась с ним, Васька увидел, что это женщина, и тут же узнал в ней свою мать.

— Мама, — окликнул он, выходя из укрытия. — Куда ты?

Мать вздрогнула, оглянулась и решительно направилась к нему. Захлебываясь слезами, она схватила Ваську за плечо и замахнулась, чтобы ударить. Васька вовремя нагнул голову, и удар пришелся по спине. Ударила она слабо, неловко, и от этого ей стало еще обиднее, и она пригрозила:

— Убью! Убью негодника! — И запричитала: — Душой изболелась, все глаза проглядела, все думки передумала, всех соседей-товарищей обегала — никто не знает, никто не видел. Ну где можно быть до такой поры?! Да не иначе, как с бандой какой-то снюхался? Боже мой, этого мне еще не хватало! С бандой!.. А то как же? Только урки в такую глухую ночь не боятся ходить, а все честные люди давно уже дома, спят.

— Обязательно с бандой... — заворчал Васька.

— А где же ты был? Ну где можно быть в такую пору?

— В клубе. Там кино...

— Какое кино? Уже давно и киношники все прошли, а тебя никто нигде не видел. Ну? Где был? Признавайся!

— В клубе. Я в кинобудке был, откуда кино пускают.

Услышав шум, залаял Родионов цепной кобель, ему тут же отозвался Симаков, а через минуту как-то неуверенно и неохотно подал голос Карпов Буян.

— Придем домой — я тебе такую покажу кинобудку. —



Мать подтолкнула Ваську вперед.— Иди. Не хочется в полночь улицу булгачить. Клубник какой нашелся! Сказала тебе: мал пока по клубам шататься! Мал! Да еще по вечерам! Стороной обходи клуб, стороной! Слышишь?

Пока дошли до дома, мать немного остыла, но все же свое обещание побить Ваську хотела исполнить во что бы то ни стало. Она настоятельно просила у пришедшего «на улицу» Гаврюшки ремень, но тот и его невеста Ленка отговаривали ее всячески и отговорили-таки, успокоили, за что Васька им был очень благодарен.

— Ладно,— обернулась она к Ваське,— счастье твое...— И указала на Ленку и Гаврюшку.— Но не думай! Завтра я все равно тебя проучу. Или будет по-моему, или уходи на все четыре стороны!

Утром Васька проснулся, умылся и тут же потянул на стол книжки — уроки делать. Знал: это всегда действовало на мать успокаивающе. От книжек она его никогда не оторвет, как бы он ни был ей нужен. Но вчерашнее, видать, ее сильно взбудоражило, против своего обычая, она подошла к Ваське, отодвинула книгу, спросила:

— Так где ты вчера был?

— В клубе... Я же сказал. Вот.— И Васька достал ей обрезки киноплёнки.

— Что это?

— Кино...

— Какое кино? Что ты мне голову морочишь?

— Правда, посмотри на свет.

Мать недоверчиво взяла пленку, посмотрела на свет. Разглядела там она что или нет, скорее всего, ничего не разглядела от расстройства, положила на стол.

— Ну и что?

— Что «что»? Я ж говорю: кино... «Праздник святого Йоргена»!

— Все равно это не оправдание. Домой должен приходиться вовремя.— В ее голосе уже не было гнева, и Васька облегченно вздохнул.

— Но там так интересно!.. Я решил: буду кинемехаником.

— Еще новая новость! — Мать всплеснула руками.— Уже на автомобиле наездился, на самолете полетался!..

Васька опустил голову: нет, самолет оставлять жалко,

пожалуй, надо подумать, что лучше. Летчиком, конечно, интереснее.

— Не забивай себе голову глупостями. Учись. — Она подвинула ему книгу. — А клуб — чтобы это было первый и последний раз. — Хотела отойти, но увидела пленку, взяла и стала рассматривать на свет. Долго рассматривала, наконец проговорила: — Какиясь мужики толстые нарисованы. — Положила на стол. — Игрушки все... Побольше в книжки заглядывай — толку больше будет.

Васька не стал спорить с матерью, бесполезно, и обещать ей, что будет обходить клуб стороной, тоже не стал. Он заранее знал, что это уже не в его силах: клуб захватил его прочно и надолго.

## ГОЛУБИНАЯ БОЛЕЗНЬ

Повальное увлечение голубями в поселке мать называла болезнью. На самом деле это была настоящая эпидемия, затяжная, неизлечимая эпидемия, побороть которую не смогли ни голод, ни война. Ею были заражены все: и мальчишки-дошкольники, и подростки, и взрослые парни, и женатые мужики. Голубиная страсть равняла старых и малых, пораженные ею походили друг на друга, как бывают схожи люди одной профессии или одного недуга.

Невинная забава превратилась в такую страсть, которую можно сравнить лишь с азартной игрой. Голубятник, вместо того чтобы облагородиться от общения с такой мирной и кроткой птицей, превращался, как правило, в грубого, дерзкого, нахального человека. Чтобы заполучить желанный экземпляр, он шел на все: на открытое заманивание чужого голубя в свой садок, на обман, на воровство; между ними постоянно шла такая бойкая торговля, стоял такой бум, какого не знала ни одна биржа в самые лучшие времена золотой или нефтяной лихорадки. Из-за голубей школьники забрасывали школу, взрослые — работу, женатые — семьи.

Водка, карты и голуби — три заразы, три страшных капкана постоянно подстерегали ребят, и мать Гурина делала все, чтобы ее дети благополучно прошли свой путь, не попав ни в один из них.

Но, живя среди больных, трудно остаться здоровым. Чего так боялась мать, то и случилось: у ребят появился голубь...

Случается в апреле, когда уже, кажется, совсем установились теплые дни, вдруг подует северный ветер, небо запесет низкими тяжелыми тучами, посыплется сначала мелкий дождь, потом снег, и в конце концов так завьюжит, что белого света не видно. Вернулась зима, вернулась сердитой, озлобленной, и кажется, что останется она еще надолго. Но проходит день, другой, и куда что дается: снова играет солнышко, тепло, бегут речи — рыхлый снег быстро сходит...

Всю ночь бесновалась вернувшаяся зима: завывала по-волчьи в трубе, била в закрытые ставни ошметками мокрого снега, с треском раскачивала и гнула до земли деревья.

Дарья Чуйкина не спала и от страха не давала спать Родиону:

— О господи, што ж это такое?.. Это, кажуть, в такую погоду ведьмы гуляют...

— Спи... Какие там ведьмы, — недовольно ворчал Родион, натягивая на голову одеяло, чтобы не слышать ни причитаний жены, ни воя «разгулявшихся ведьм».

— Родь, — толкала Дарья мужа. — А, Родь... А черепицу не снесет? Слышишь, по чердаку будто штось ходит?

Родион отбросил одеяло, приподнял голову, прислушался.

— Никто там не ходит... Ветер. Спи давай.

— А черепицу, кажу, не посрывает?

— Не... Не должно...

— В прошлом году сорвало.

— Плохо подмазана была. Ему одну трудно сорвать, а потом пойдеть молотить, как цепями. — Родион снова поднял голову, прислушался: — Не... Если б сорвало, знаешь, какой грохот был бы...

К утру ветер незаметно стих, и Дарья уснула. Когда Родион встал, она даже не проснулась — умаялась за ночь.

Сунув ноги в теплые самодельные войлочные бахилы, натянув телогрейку и набросив небрежно на голову шапку, он пошел открывать ставни.

Перед порогом во дворе намело большой сугроб снега,

но Родион не стал возвращаться, чтобы найти лопату и расчистить дорожку. Да лопаты в сених и не было, она осталась в сарае, поэтому все равно пришлось бы лезть в сугроб.

Чтобы не зачерпнуть через край снега в бахилы, он осторожно прошел крылечком к окну, протянул руку к верхней щеколде и вдруг остановился на полпути: на ставне под навесом сидел мокрый голубь и настороженно следил за Родионовой рукой. Не долго думая и не меняя позы, Родион поднял незаметно другую руку и взял его голубя.

Голубь был большой, тугой, он не вмещался в просторной руке Родиона и, дважды мыкнув басом, слабо взмахнул свободным крылом. Родион придержал крыло, сунул голубя под фуфайку и продолжал открывать ставни как ни в чем не бывало.

В комнате он подошел к кровати и, приоткрыв полы телогрейки, показал находку проснувшейся Дарье.

— Шо там?.. — протирая глаза, спросила Дарья.

— Ведьму поймал.

— Господь с тобой, шо болтаешь!

— Голубь приبلудился. — И Родион опустил его на пол. — Породистый, видать!

Белый голубь с небольшими красными пятнами на плечах посмотрел в одну сторону, в другую и медленно пошел в ближайший угол. Там он присел, склонил голову, и пленочка затянула ему глаза.

— Больной? — спросила Дарья.

— Усталый... Наверное, всю ночь, бедолага, с пургою боролся. Вишь, грязный какой, мокрый и помятый. Ничо, очухается.

— Чей же это? Не Илюшкин ли?

— Вряд ли... Тот бы уже бегал по улице.

— Отдашь ему?

— Обормоту? Лучше голову оторву да в суп!..

— Ребятам Нюрки Гуриной подари... Рады будут!

— Это дело другое, — согласился Родион. — Ребятишки у нее хорошие, не шкодливые.

Когда Васька шел в школу, Дарья уже стояла в воротах, специально поджидала его. Поравнявшись с ней, Васька поздоровался и хотел пройти мимо, но она остановила его.

— Вася, зайди к нам на минутку, — сказала она

ласково. — Родион Васильевич хочет что-то сказать тебе...

Васька посмотрел на Дарью, путаясь в догадках, что за дело может быть у них к нему? В сад он к ним давно не лазил — стыдно уже, взрослый. Алешка, может, нашкодил? Так опять же — какой сад зимой?

— Зайди, зайди, не бойси... — И пошла впереди него во двор.

Васька поплелся за ней.

Родион стоял на середине комнаты — высокий, чуть ли не подпирал головой потолок, смотрел, улыбаясь, в угол, где сидел голубь. Васька поздоровался и остановился у порога.

— Видал? — кивнул Родион весело на голубя.

С улицы, со света Васька ничего не видел. Сощурил глаза, присмотрелся — распознал голубя в темном углу. Кивнул.

— Это тебе! — Родион нагнулся, взял голубя и протянул Ваське: — Возьми.

— Зачем?.. — Васька оглянулся на Дарью.

— Бери, бери! — подбодрила его Дарья. — Подарок тебе от нас. Дядя Родя тебе... вам с Алешей дарит его.

Голубь уже обсох и отдохнул, энергично крутил головой и норовил вырваться из Родионовой руки. Васька взял его несмело двумя руками — тяжелый, тугой голубь сучил упругими сильными ногами, упирался ими, пытался высвободить плотные, как панцирь, крылья.

— Крепче держи, он здоровый, — предупредил Родион.

— Спасибо... Только... — Васька опять оглянулся на Дарью за помощью.

— Вам, вам, поиграйте... Неси его домой, да гляди, чтоб Илья не отнял...

— Спасибо, — уже увереннее поблагодарил Васька и пошел из комнаты. В сенях, провожая его, Дарья сказала, идя вслед за ним:

— Ой, какой ты большой вырос! Уже выше меня! Скоро дядю Родю догонишь.

Васька усмехнулся: «Куда там, догонишь его!..»

Дома он пустил голубя наземь, невольно залюбовался им. Голубь осмотрелся неторопливо, огляделся, вытянул одно крыло, другое — размял их, словно затекшие руки, и пошел решительно под кровать. Там он забился в угол, нахохлился и, качая головой, стал жалобно поукивать.

Налив в блюдечко воды, Васька поставил его возле голубя, но тот только подался глубже в угол, а пить не стал. Васька накрошил перед ним хлеба и, задернув подзор на кровати, сказал:

— Посиди, поскучай тут один, мне уже идти пора, опаздываю, — и подался торопливой походкой в школу.

По дороге он встретил Алешку. Тот учился в первой смене и уже бежал домой, размахивая вовсю ранцем. Васька остановил братишку, сообщил ему по секрету:

— Там дома у нас под кроватью голубь сидит, так ты смотри не выпусти его. И в руки поменьше бери.

— Голубь? Николаевский? — у Алешки загорелись глазенки.

— Да... Хороший!

— А где ты взял? Купил? Поймал?

— Потом расскажу. Танька придет — тоже смотри, чтобы не выбросила на улицу. А то она такая.

— Ладно. А мама?..

— Мама? Мама поздно приедет, я уже дома буду, придумаем что-нибудь.

Побежал Алешка домой — по лужам, по грязи, только брызги летят во все стороны. Прибежал, приподнялся на цыпочки, достал на ставне ключ, открыл дверь и тут же упал на четвереньки, полез под кровать. Видит: голубь! Не обманул его Васька! И, забыв все Васькины предостережения, протянул к голубю руку. Голубь встрепенулся, вжался в угол и вдруг, подняв крыло, ударил им Алешку по руке. От неожиданности Алешка отдернул руку, опрокинув блюдце с водой, и громко засмеялся:

— Ох ты какой! Дерется! — Увидел крошки хлеба перед ним, пообещал: — Сейчас я тебе найду чего-нибудь получше, может, добрее будешь. — И полез в стол, где стояли банки с разной крупой. В одной нашел перловку, в другой пшено, взял по щепотке того и другого, насыпал возле голубя. Потом налил в блюдце свежей воды, поставил ему под самый нос. Но голубь не стал ни есть, ни пить.

«Бойтся, еще не привык», — решил Алешка и лег животом на пол, уперся локтями в твердую землю, положил подбородок в ладони — засмотрелся на голубя. А голубь как сидел, так и сидит нахохлившись. Сначала смотрел настороженно на Алешку, потом успокоился и закрыл глаза — уснул. Спит и во сне вздрагивает.

Смотрит Алешка на голубя и определяет: из породистых! Белый, с красными плечами — «плекатый». Крупный.

Когда через час пришла из школы Танька, Алешка все еще лежал на полу, из-под кровати торчали его грязные ботинки.

Танька удивилась, толкнула ногой в его стоптанный каблук:

— Эй, ты чего там? Заснул?

Алешка встрепенулся, впопыхах забыл, где он находится, хотел быстро вскочить и стукнулся головой о кровать. Вылез, потирая ушибленное место.

— Что там такое? — Танька подняла подзор и, увидев голубя, закачала головой: — Этого нам только еще не хватало!

— Не твое дело, — рассердился Алешка и одернул подзор.

— Мама придет — все равно выбросит на улицу. Вот увидишь!

Васька как ни старался быть безразличным к голубю, как ни старался не думать о нем, голубь тем не менее из головы не выходил. И кончилось все тем, что он не выдержал, сбежал с последнего урока и заспешил домой. «Алешка может натворить делов, — невольно распалял он свое воображение. — Вздумает ребятам показать... Или начнет приучать ко двору — выпустит... А может, голубя уже и нет...» И он бежал, торопился застать его. Прибежал и первым делом — под кровать. Увидел голубя, вздохнул облегченно. Обернулся к Алешке:

— Так и сидит? Не ел ничего?

— Нет... — покрутил тот головой. — Ни бубочки. Сидит и плачет: «у-у-у... у-у-у...» А станешь брать — дерется.

— Как дерется?

— Крылом.

— Да? — И Васька полез к голубю.

Тот насторожился, поднял крыло и, мыкнув недовольно, ударил его по руке. Но Васька все-таки взял его под брюшко и вытащил на свет.

— О, какой красавец!

Васька качнул рукой, и голубь расправил крыло — большое, крепкое, маховые перья на нем, как стальные ножи, твердые. Васька взял голубя в обе руки и распустил

ему хвост — тоже большой, белый. Пересчитали перья в хвосте — много, восхитились. Все им в голубе нравилось: и красные круглые глаза, и короткий крепкий клюв птицы.

Танька тоже залюбовалась голубем, даже потрогала его рукой и заулыбалась тепло:

— Гладенький!..

В сенях послышались шаги — пришла мать. Васька быстро сунул голубя под кровать и, задернув подзор, отряхнул руки, подошел к столу, стал перебирать учебники. Алешка тоже полез в ранец, спрятался чуть ли не с головой в нем, искал что-то. Танька, ехидно поглядывая на братьев, стояла посреди комнаты, ждала развития событий.

Мать вошла и еще с порога объявила весело:

— Вот и я... — Сняла платок, стряхнула. — Ну и погода! Опять зима вернулась. — Оглядела детей. — Все дома? И Вася уже пришел? Хорошо. — И принялась раздеваться.

Закусив нижнюю губу, Танька ходила по комнате, поглядывая то на ребят, то на мать, — ее подмывало сообщить матери о голубе, но сделать это почему-то медлила. Васька зыркнул на нее, и та отпустила губу — пусть сами, как хотят, а то еще поколотит.

И вдруг в наступившей тишине из-под кровати раздалось: «у-у-у... у-у-у...»

Мать удивленно оглянулась на ребят:

— Что это?

Не зная, что сказать, Васька пожал плечами, Алешка взглянул на брата, потом на мать и развел руками: ничего, мол, не знаю, сам впервые слышу...

Мать заглянула под кровать и, увидев голубя, всплеснула горестно руками:

— Боже мой!.. Как просила, как умоляла, чтобы минула меня чаша сия!..

Поморщился Васька — не нравилось ему, когда мать начинала причитать, да еще на церковный лад.

— Ну что там такого? Обыкновенный голубь... Сразу: «чаша сия»...

— Где взяли? — спросила мать строго, поднимаясь с колен.

— Украли, думаешь? — рассердился Васька. — Дядя Родион Чуйкин дал. Приблудился к нему, он поймал и нам подарил.



— Да он што, с ума сошел? Ишь расщедрился! Это он нарочно, чтобы испортить детей, ей-богу, нарочно. Завтра чтобы его в доме не было! — указала она под кровать. — Отдашь хозяину.

— «Хозяину»! Будто я знаю, кто хозяин. Может, он аж из города прилетел...

— Хозяин сам найдет, был бы голубь.

— А если не найдет?

— Выпусти, — сказала мать. — Или отнеси Родиону.

— «Выпусти»! В такую погоду? Он и так еле живой.

Мать посмотрела на окно, в которое хлестал дождь, подумала и сказала:

— Не век же такая погода будет... Может, завтра потеплеет.

На этом первое «благословение» закончилось, голубь остался ночевать. Он всю ночь почему-то жалобно поуркивал — то ли боль его какая беспокоила, то ли ему снились страшные сны.

Утром, Васька еще не вставал, бабушка пришла. Не успела та спросить, как дети, мать тут же принялась жаловаться, да так горестно, так обреченно, будто и впрямь случилась непоправимая беда.

— Помощники? Дождешься!.. Думала, ну один, кажись, уже вырос без голубей, дал бог. Большой стал, чуб уже пытается зализывать. И вот на тебе — голубь!

— Да чего ты уж так-то раньше времени убиваешься? — возразила ей бабушка. — Может, все еще и обойдется. А и заболели голубями — велика беда! Голуби, как корь, детская болезнь. Переболеют, и все пройдет. Вон наши ребята тоже держали голубей, а ничего: повзросли — все само собой и отпало. Гаврюшка и совсем ими не занимался, а Иван год или два. Петро — тот, правда, бегал за ними. А как поступил на работу — все и кончилось, куда те голуби и подевались... Будто растаяли.

Слушает бабушку Васька, сердцем мягче делается — правильно она рассуждает. А мать знай свое:

— На это рассчитывать нельзя. Хорошо, как переболеют, а как на всю жизнь? Вон Илюха Солопихин школу так и забросил. А все из-за голубей.

— Ну, ты уж и сравнила! Посмотришь, куда оно у них пойдет, тогда и приструнишь.

— А Лама? — не унималась мать. — Всю жизнь с голу-

бями. И што хорошего? Женатый! Дети есть, а он сам как маленький, ни стыда, ни совести, бегаёт с мальчишками по улицам. Работает через пень-колоду, пьёт да в карты играёт. Жена плачет от него. Ну?

— Лама... А много таких-то? Што ж ты берёшь уж совсем падших?

— Много?.. Хватает... Один Лама да другой мой будет — вот чего я боюсь. Ламу ж тоже какаясь мать родила, нянчила, радовалась, думала: человек будет...

— Так-то оно так, — сказала бабушка.

— А потом... Голубями ж надо заниматься, это ж не куры. Выпустил полетать и дрожи, чтоб не улетели совсем. — Увидят другие, набегут сразу — орава целая. Крик, свист, драка...

— Обязательно драка, — отозвался Васька.

— Ну, поглядим, — сказала мать. — Поглядим.

— Проснулся, внучек? — заглянула бабушка к Ваське. — Показал бы, што за птицу поймали?

— Ой, нужна она вам? — всплеснула мать руками. — Вы дак тоже как ребенок, ей-богу!

Нырнул под кровать Васька, вытащил голубя. Тот уже совсем окреп, смело озирался по сторонам, вырывался, и Васька выпустил его на пол. Склонив голову набок, голубь взглянул на потолок, встряхнулся сердито и пошел важной походкой по комнате. Взлетел на подоконник, походил вдоль стекла, забеспокоился, слетел на пол и быстро зашагал под кровать. Там он забился в свой угол и начал жалобно басыть.

— Хорош! Важный, как петух! — сказала восхищенно бабушка. — А вишь — скучает, голубку ему надо.

— Во, во! — услышала мать. — Новая забота! А где ее взять? Купить — денег нету! Значит, воровать?

— Да ну, мам!.. — поморщился Васька.

— Што «мам», што «мам»?.. Тебе уже самому голубку надо, а ты...

При матери и бабушке Васька больше к голубю не лазил, только налил ему воды и корму бросил небрежно: мол, не очень он его и увлекает. Сидел учил уроки. Но, встретив по дороге в школу Алешку, наказал ему:

— Ты смотри там за голубем. Маме поменьше глаза им мозоль.

— Ладно, — понимающе кивнул тот.

После полудня ветер разогнал тучи, и Алешка подался на улицу — к дому Солопихиных. Там собирались все ребята, большие и малые, и ждали, когда Илья Солопихин выпустит своих голубей. Голубей у него много, все породистые, летают красиво, высоко и долго.

Когда пришел Алешка, здесь уже толпились мальчишки. Илья тоже был среди них, но голубей не выпускал, поглядывал вверх: много тяжелых черных туч еще плавало в небе и неизвестно, то ли они расплывутся в разные стороны, то ли снова сойдутся вместе и плотно закроют солнце. Голубей пускать в полет в такую погоду Илья не решался.

Илья стоял в пальто нараспашку, в кепке, сбитой набок, рассказывал:

— Прошлую зиму пугнул пару. Солнечно было, тихо. А на высоту поднялись — там ветер и погнал их. Вижу, борются голубки мои с ветром, а никак не совладают, так и унесло их неизвестно куда. В гнезде яички остались, пропали. До сих пор жалею, хорошая пара была. — Он поддернул штаны, вытер нос рукавом. Увидел Алешку, кивнул ему: — Ну, Алех, скоро голубей заведете?

— А у нас уже один есть, — сказал Алешка.

— Не может быть! Где же вы его взяли?

— Родя... Дядя Родион дал.

— Какой-нибудь сизый дикарь?..

— Нет. Настоящий. Белый, плекатый...

У Ильи глаза заблестели, он хотел что-то сказать, но тут увидел: из-за тучки показался чужой голубь, мигом побежал во двор, выгнал своих голубей на крышу, стал потихоньку попугивать, чтобы они взлетали над крышей и снова садились: так Илья заманивал в свой садок чужих голубей.

А Алешка, не долго думая, побежал к себе домой. Решил: «Подвяжу голубю крыло, выпущу во двор — авось второго приманю».

Прибежал, взял голубя, зажал между колен, самые большие перья в крыле перевязал ниткой, вынес во двор. А около ворот уже ребятешек полно: пришли голубя посмотреть. Алешка показал им издали своего красавца и пустил на землю. Голубь огляделся по сторонам и стал расправлять крылья. Распустил одно крыло, другое, нитка тут же и сползла. Увидел Алешка, что голубь освободился,

упал духом. Все, считай, что его теперь уже нет: сейчас взмахнет крыльями — и поминай как звали. Стоял Алешка, затаив дыхание, смотрел то на ребят, то на голубя, не знал, что делать.

Голубь еще раз огляделся, присел и вспорхнул на крышу дома. Тут он вытянулся на длинных ногах, словно высматривал кого вдали, потом принялся быстро бегать по коньку взад-вперед и ворковать.

Ребята с интересом наблюдали за голубем.

— Вот это голубь! — сказал кто-то. — Большущий какой!

— Не голубь, а настоящий гусь.

— На вид-то хорош, а как он летает...

Ребята спорили, а Алешка смотрел на него и мысленно прощался с голубем навсегда.

А голубь бежал по крыше, распускал веером хвост, надувал зоб, перелетал на соседние дома, потом снова возвращался, делал небольшой круг и опять садился на крышу.

Посидел, будто успокоился, и вдруг взмыл вверх, захлопал громко крыльями и полетел прочь так быстро, что сразу же скрылся из глаз.

Кто-то из ребят засмеялся:

— Вот тебе и гусь... Полетел в теплые страны...

А Алешка еле сдерживался, чтобы не заплакать. Выскочил со двора и со всех ног пустился бежать по улице вслед за голубем. А голубь уже мелькнул черной точкой над самой водокачкой и скрылся в серой дымке.

Остановился Алешка и только теперь заметил, что он уже далеко от дома. Заплакал и медленно поплелся обратно.

Узнала мать, в чем дело, стала утешать:

— Ну чего ты плакать? Голубь полетел к себе домой. Если бы ты заблудился в пургу, а тебя чужие люди обогрели, а потом бы домой не пустили? Как бы тебе было? Так и голубю. Пусть летит...

— Конечно, пусть летит, только жалко... Да и Васька придет, подзатыльников даст.

Совсем уж спать было собрались, вышла мать дверь наружную на ночь закрыть и вдруг кричит:

— Алеш, иди скорей сюда!

Выбежал Алешка в сени и видит: сидит в уголке голубь.

— Ты его оплакиваешь, а он уже давно прилетел и спать устроился.

Не веря глазам своим, Алешка подошел к нему, взял на руки. Голубь помыкивал недовольно, что его разбудили, но не вырывался. Внес его Алешка в хату, пустил на пол, и он привычно затопал на свое место.

— Памятливый какой!.. — удивлялась мать.

А Алешка сидел на корточках и смотрел под кровать на голубя, пока мать не погнала его в постель.

Узнав о вчерашнем происшествии, Васька все-таки смазал братишку по затылку. Но не больно, а так, больше для острастки, чтобы другой раз не вольничал.

А голубь совсем уже привык, разгуливал по комнате, заглядывал во все углы, будто изучал квартиру. Ходил и все поуркивал сердито: все чем-то недоволен. Взлетел на окно, посмотрел через стекло на улицу. Увидел в раме что-то черненькое, клюнул. Но пятнышко не поддалось, на месте осталось. Голубь отвернулся, спрыгнул на пол и, качая красивой головой, направился в свой угол. Сел там, нахохлился и загудел жалобно и протяжно, будто плакал.

Смотрит на него Алешка, хочет узнать, почему тоскует голубь. Да как узнаешь, не человек он, говорить не умеет. «А может, и говорит что-то на своем голубином языке? — думает Алешка. — Узнать бы...»

И хочется ему развеселить голубя, а не знает как. Корму ему побольше дает, хлеба накрошил, думает, голубь голоден. Зачерпнул в кастрюле полную ложку каши — несет. Васька увидел, погнал обратно:

— Что это тебе, поросенок? Ты еще борща ему на лей...

Алешку Васька прогнал, а сам не выдержал, полез под кровать. Увидел его голубь, насторожился, перестал гудеть. Прижался к стене, смотрит. Вид у него грозный, воинственный.

— Ну, чего ты ноешь? — спросил у него Васька и протянул к нему руку.

Голубь укнул коротко и крылом больно ударил Ваську по руке.

— Ох ты, сердитый какой!.. Почему ты сердишься? — Васька взял его в руки, стал гладить по спине.

«Мг... мг...» — тихо помыкивал голубь и норовил вырваться из рук. Васька поднес его к столу и пустил

гулять по клеенке. Голубь покрутил головой, перья на шее натопорщил, хвост веером распустил и начал ворковать. Будто шарик перекатывался у него в горле — «кува, кува, кур-р-р... кува-кува-кур-р-р...». Он делал несколько быстрых шагов вперед, подметал стол своим большим распушенным хвостом, резко останавливался и снова повторял все сначала.

Разбушевался голубь, смотря на него ребята, улыбаются. А он пробежится по столу, остановится и начнет: «А это-то что? А это-то что? А к-куда это годится?»

— Ну, хватит тебе, распетушился.— Васька тронул голубя за спину.

Голубь остановился, замолчал, поднял голову: зачем, мол, мешаешь? Спрыгнул со стола на пол и пошел молча под кровать. Там он занялся стенкой, которая была побелена известкой, стал выклеивать из нее камешки.

Мать пришла с работы поздно: собрание у них было. Алешка давно уснул, а Танька — недавно. Не дождались матери. Спал и голубь, он только изредка шуршал крыльями, словно от чего-то отмахивался. Наверное, ему снились страшные сны, и он их отгонял.

На цыпочках мать тихонько прошла к кровати, поправила одеяло на Алешке.

— Уснул, маленький. Не дождался... — Она обернулась к Ваське, спросила шепотом: — Ели?

— Ели, — так же шепотом ответил Васька.

Она отошла от кровати, разделась, сказала:

— Завтра у нас воскресник.

— На работу пойдешь?

— Да. Но ненадолго. Сказали, часа на два, на три: уборку помещений будем делать. И дома тоже пора за генеральную браться... — Она прислушалась. — Голубя выпустил? Не слышно его.

— Спит, — буркнул Васька нехотя: он думал, что мать снова начнет ругать его за голубя.

Но она спросила:

— Чем же вы его кормите?

— Крупой... Хлебом.

— Зерно птице надо, крупу травить — это не дело. Да зерно ему и полезней, чем крупа. — Она порылась в су-

мочке, достала деньги. — На вот, сбегайте на рынок, купите пшенички. Там, бывает, старушки на стаканы продают. Возьмите стаканов пять — хватит на первое время.

Такого Васька никак не ожидал! От радости даже комок к горлу подкатил, слово сказать мешает.

— Ладно, ладно, — говорит мать. — Оставляю вам эту забаву до первой двойки. Запомни.

Рынок, или базар, как его тут называли, находился далеко, почти возле самой станции. Зная Алешкину страсть к поездкам, Васька наказал ему:

— Смотри на пути не ходи, опасно. Поезда сейчас быстро ходят, снуют туда-сюда, не успеешь оглянуться, тут же сшибет.

Но Алешка втайне все-таки надеется, что он хоть одним глазком, а посмотрит на поезда. На пути он, конечно, не пойдет, но издали полюбуется.

Пришел Алешка на базар, ходит вдоль рядов, ищет, где продают зерно. Обошел вдоль и поперек, все видел: молоко, творог, яйца — в одном месте; в другом — яблоки моченые, помидоры, капуста, огурцы; в третьем — мясо, сало. В самом закутке увидел: старичок торгует деревянными сапожными гвоздями, подковками, шурупчиками и всякой разной такой мелочью. Все есть на базаре, только зерна нет.

Хотел уж было Алешка домой возвращаться, да решил напоследок пройти вдоль самого дальнего ряда. Там, правда, и людей никого нет, три тетки стоят, семечки лужают.

Подошел — и как раз попал на то, что искал: тетки эти торговали одна подсолнечными, а другая жареными тыквенными семечками, а перед третьей стоят два мешочка с закатанными краями: в одном просо, в другом пшеница.

Обрадовался Алешка, смотрит на пшеницу, спросить сколько стоит, не решается. Выручила его сама торговка:

— А шо, хлопчик, пшенички своим голубкам хочешь купить?

Кивнул Алешка, заулыбался.

Торговка засуетилась, пшеничку в мешке встряхнула: вот, мол, какой товар хороший.

— Сколько тебе?

— Пять стаканов, — сказал Алешка.

— А деньги есть?

Алешка разжал пальцы и показал ей на ладони блестящие монетки.

— Хорошо. Давай, куда тебе сыпать? В карман?

— Не... Вот у меня есть...— И он достал белый холщовый мешочек.

Торговка быстро отмерила ему пять стаканов зерна, Алешка взял свою покупку и зашагал прочь.

Домой Алешка пошел не прямой дорогой, через поле, мимо кирпичного завода, как обычно ходили, а по шоссе-ной улице, Эта дорога была длинее, но зато интереснее: по ней машины ездили, а главное, она вела к самому железнодорожному переезде. Здесь и остановился Алешка у шлагбаума, стал наблюдать за движением.

Резко зазвенел звонок на переезде, и полосатая перекладина медленно опустилась, перекрыла дорогу автомашинам. Два красных фонаря на ней тотчас же замигали: один погаснет, другой загорится. Издали кажется, будто огонь бежит из одного фонаря в другой.

Остановились перед шлагбаумом длинной вереницей автомобили, подводы, ждут, когда поезд пройдет. А он еще далеко, гудит где-то пронзительно. Обрадовался Алешка — ФД увидит. Паровозы эти сильные, они только недавно стали бегать тут.

Совсем близко загромыхал поезд, и увидел Алешка: впереди состава низенький длинный паровоз. Труба короткая, от этого кажется, будто пригнулся паровоз, втянул голову в плечи, натужился, чтобы легче было ему тянуть длинный тяжелый состав. Из трубы дымок поспешивает не спеша, а коромысла работают быстро, трудно уследить за ними. Смотрит Алешка на ФД во все глаза — похож, точно такой на целом газетном листе черной тушью Васька нарисовал и на стенку повесил.

Громыхает состав — вагонов сто, не меньше. Пульманы все углем груженные, сверху, над ними, и под колесами черным вихрем угольная пыль вьется.

Отшумел поезд, заурчали моторами машины, но шлагбаум не поднимается, красный огонек все еще бежит из одного фонаря в другой. «Забыли, наверное, открыть», — думает Алешка.

Оказывается, не забыли: тут же в обратную сторону поезд помчался. И тоже ФД потащил вагоны. Этот шел помедленнее — руду железную вез, она ведь нелегкая.



Прошел поезд, поднялся полосатый шлагбаум, погасли красные огни, и тотчас же торопливо через переезд поехали машины, подводы.

Постоял Алешка еще немного, полюбовался машинами и пошел домой.

В воскресенье погода хорошая: солнечно, тепло. Ручеек веселый бежит с огорода через двор на улицу. На огороде, в саду последний снежок дотаивает. Весна, совсем весна пришла! Синицы в кустах будто в серебряные колокольчики позванивают — поют.

Запыхавшись, Алешка вбежал в комнату, закричал:

— Скорей, скорей! Скворцы прилетели! Я видел — сидит один на Карповой крыше.

Скворцы прилетели! На такое событие всем посмотреть интересно. Васька первым выбежал во двор, за ним вышла и мать с бабушкой, и Танька, смотрят: сидит на коньке скворушка. По сторонам посматривает, тихонько посвистывает. Перья на грудке и на шее у него блестят, переливаются разными красками.

Обрадовались все скворцу, выбежали поспешно, даже дверь не закрыли. Голубю, наверное, стало скучно одному в комнате, тоже пошел прогуляться.

Васька увидел голубя, когда он уже стоял на крыльце и любовался весенней погодой, поглядывая на небо. Васька хотел его снова в дверь загнать. Расставил руки, стал подступать к нему. Да не тут-то было: голубь перелетел через Ваську и опустился на середине двора.

— Ой, голубь вылетел! — испугалась бабушка.

Мать посмотрела на ребят, увидела их растерянные лица, успокоила:

— Пусть погуляет. Вы только его не пугайте. Он нагуляется, есть захочет и придет.

Васька с трудом верит в такое чудо. Если однажды случилось — прилетел голубь, то второй раз вряд ли такое случится: ведь голубь еще не привык к дому.

Но делать нечего, голубь на воле. Он расхаживал по двору как ни в чем не бывало: заглядывал на крышу, посматривал на небо, искал что-то в земле, клевал и опять поднимал голову, склоняя ее набок. Ходил, ходил и вдруг вытянулся на ногах, распустил крылья и стал махать ими

так быстро, что вокруг него поднялась пыль. Он то отрывался от земли, то, ослабляя взмах крыльев, снова прикасался к ней ногами. Голубь не хотел взлетать, он только долго махал крыльями, будто занимался зарядкой.

Кончив зарядку, голубь принялся клювом чистить перья. Потом походил еще немного по двору и взлетел на крышу. Там он вдруг совсем преобразился: сделался каким-то быстрым, шея вытянулась, ноги стали длинными. Озирается по сторонам — вст-вот взлетит... Вот-вот... И взлетел. Захлопал громко крыльями, облетел вокруг дома, снова опустился. Посидел с минуту, взмахнул крыльями и тут же скрылся за соседними домами.

Васька выбежал на улицу, но голубя уже не увидел.

Ребята, которые все время толпились возле двора Солопихиных, смотрели в ту сторону, куда улетел голубь. Они увидели Ваську, подошли к нему:

— Твой, что ли? Улетел плекатый?

— Как ворона, между крышами мотается, — засмеялся кто-то.

Подошел и сам Илья Солопихин.

— Вот гусак так гусак! — громко говорил он. — Чуть трубу на хате не сбил!

Никита заступился за Ваську:

— Ты, Илья, только и знаешь чужих голубей хаять. Если не твой, значит, гусак, дикарь...

— Так видно же: дикарь, — не унимался Илья. — Даже моих голубей распугал. Что я, по голубям не понимаю? Дикарь, самый настоящий дикарь!

И тут кто-то закричал:

— Летит!.. Плекатый летит!

Вмиг все головы поднялись вверх. Голубь стремительно летел низко над крышами, пролетел мимо дома, но быстро заметил это и повернул обратно.

Илья вложил в рот четыре пальца и засвистел так сильно, что в ушах зазвенело. Его друзья стали помогать ему: они свистели, кричали, махали кепками, чтобы прогнать голубя от дома.

Но голубь не обращал на них внимания. Он опустился на крышу и принялся ворковать. Васька побежал во двор и стал сманивать голубя на землю.

— Улю... улю... улю... — звал его Васька и рукой делал такие движения, будто сыплет на землю зерно.

Голубь присел, потом подпрыгнул, расправил крылья и, ни разу не взмахнув ими, опустился рядом с Васькой.

Васька стал загонять его в сени. Голубь сначала не хотел идти, пытался снова взлететь на крышу, увертывался от Васьки, но потом увидел открытую дверь и побежал в нее. В сенях Васька взял его в руки и понес в комнату.

— Вернулся? — обрадовалась бабушка.

А мать сердито смотрела на Ваську и молчала. Потом она подвела бабушку к окну, показала на ватагу ребятишек, сказала:

— Вот. Чего я боялась, то и случилось. Слышали, какой свист стоял? Разве это дело? Они еще и драку затеют. Буду я теперь спокойна? Нет, зря я согласилась, нервы мои не выдержат.

Васька молча гладил голубя.

Мать оказалась права: драку затеяли, но только не теперь — она случилась чуть позже, недели через две.

За это время голубь привык к дому, он свободно гулял по двору, улетал куда-то и, как всегда, возвращался обратно. Но был он по-прежнему сердит и мрачен. После каждого своего полета забивался в угол и долго грустил, издавая жалобные звуки: «У-у-у... у-у-у...»

Уже земля подсохла, люди чистили сады, сгребали с огородов прошлогодний бурьян, жгли костры. Готовили огороды к посадке.

Чистили свой огород и Васька с матерью. Железными граблями соскребли старую картофельную ботву, сложили в кучу, подожгли. Алешка любит костер, стоит возле него, пошевеливает прутиком. Нашли в земле случайно оставшийся куст картошки, выкопали. Картошка оказалась крепкой, даже не промерзла зимой, бросили ее в костер — пусть печется.

Время от времени Васька посматривает во двор, сквозь голые деревья ему видно, как по двору расхаживает голубь.

Голубю надоело ходить, взлетел на дом, потом захлопал крыльями и улетел в сторону водокачки.

— Куда он все летает? — спросил Алешка.

— Наверное, дом свой ищет, — сказала мать. — Не может успокоиться.

— Если найдет, останется там?

— Не знаю, что у него на уме. Но только он все время грустит, плачет, беспокоится. Наверное, не может забыть свой дом.

Потрескивает костер: ботва, бурьян, ветки сухие от вишневых деревьев хорошо горят. Алешка пошевеливает прутиком — искры взлетают вверх. Он смотрит, как они гаснут, как легкий пепел ветерком разносится по огороду.

— Алеш, ну что ты все кочегаришь? — прикрикнула на него мать. — Закоптился весь, как кочегар на старом паровозе. Мыть тебя теперь — не отмыть.

А Алешка знай себе смеется, вытирает нос рукой — усы черные сажей навел.

— Посмотри, картошка не готова ли, — говорит мать.

Поковырял Алешка прутиком в золе, выкатил черную, обуглившуюся картофелину, надавил на нее — твердая. Кричит матери:

— Нет еще, не готова.

— Не может быть, — не верит мать. Она подошла к костру, подняла картофелину, обдула ее, веточкой соскребла с нее обгорелую корку, разломила — белая мякоть вывернулась наружу, пар от нее пошел, пахло вкусно. — Натсе, ешьте. — Мать раздала ребятам по половинке, себе выкатила из костра другую картофелину, обдула и тоже принялась есть. Похваливает: — Хороша!

А Алешка попробовал и выплюнул: не понравилась.

— Сладкая какая-то... — И забросил картошку.

— Сладит немножко, правда, — сказала мать. — Это оттого, что ее все-таки подморозило. «Эх, картошка, ты, картошка, — пионеров идеал...» Забыла слова. — Мать посмотрела на Ваську.

А у того своя забота, не слушает ее, все поглядывает в ту сторону, куда голубь улетел. Часа два прошло, а он все не возвращается.

— Прилетит, — успокаивает его мать. — Теперь он уже дорогу и дом хорошо запомнил.

Закончили работу на огороде, костер загасили, грабли, лопаты в сарай спрятали. Темнеть уже стало, а голубь все не возвращался. Васька вышел за ворота, посмотрел по сторонам — нигде не видно голубя, вернулся в дом.

Умылись, ужинать сели, и вдруг стук в окно. Васька вскочил из-за стола, выбежал во двор. Стучал Никита, сообщил, что на Симаковой крыше сидит Васькин голубь

с какой-то черной голубкой, а Илья всеми силами старается заманить их к себе.

Выбежал Васька из ворот и увидел Илью. Он одной рукой бросал камни на крышу, а в другой держал наготове своего старого голубя.

Илья был весь красный, потный, сердитый оттого, что ни голубь, ни черная голубка не взлетали. Он свистел, шикал, размахивал руками.

Голубь тревожно поглядывал то на свою спутницу, то вниз на Илью и всякий раз ловко увертывался от камня.

Наконец он взлетел и направился домой. Вслед за ним взлетела и голубка. Она быстро-быстро замахала левым крылом и с трудом перелетела на соседнюю крышу. Видно было, что правое крыло у нее ранено.

Илья не выдержал, швырнул вверх своего голубя, засвистел, сорвал с головы кепку, стал подбрасывать. Но Васькин голубь не испугался ни свиста, ни подброшенной кепки, спокойно опустился на крышу своего дома. И тут же к нему перелетела голубка.

Здесь голубь почувствовал себя хозяином, сразу принялся ворковать. Он надувал зоб, распускал веером хвост, бегал по крыше, слетал на землю, опять взлетал к голубке, словно приглашал и ее слететь вниз.

Возле двора собрались ребята, они не свистели и не кричали, а только стояли и любовались.

Васька сманил голубя на землю, за ним слетела и голубка, и он стал осторожно загонять их в дом. Голубь поминутно оглядывался на голубку, возвращался к ней, постоянно ворковал и вел ее в дверь.

Когда голуби были в сенях, Васька прикрыл двери, поймал их и внес в комнату.

— Смотри, ма! — прокричал радостно Алешка. — Голубь привел себе голубку!

И тут как раз пришли бабушка с Танькой — тоже стали удивленно смотреть на голубей. А голубь, не обращая ни на кого внимания, крутился вокруг голубки, ворковал, пушил хвост и мел им пол — приглашал голубку под кровать.

И вдруг в этот момент стук в окно. Васька оглянулся и увидел Илью — он делал знаки, чтобы Васька вышел на улицу.

— Во, начинается! — проворчала мать. — Дружок объявился.

Васька вышел и в сенях столкнулся с Никитой.

— Слушай,— прошептал тот на ухо.— Илья хочет отобрать у тебя голубку, говорит, что это его. Но он врет. И ребятам сказал, что обманет тебя. Гляди!

— Ладно, посмотрим! — сурово сказал Васька и пошел к Илье.

Завидев Ваську, еще издали Илья угрожающе потребовал:

— Неси сейчас же голубку. То — моя.

Васька сразу не нашелся что ему ответить.

— Ну? — Илье не терпелось.— Неси! Или выкуп хочешь? Так получишь... — И в голосе была угроза.

— Это же не твоя голубка,— сказал Васька как можно мягче: ему и скандала не хотелось затевать, и в дураках не хотелось остаться.— Найдется хозяин — отдам. У тебя не было такой.

— А ты знаешь? Не было, а потом появилась. Я ее купил недавно.

— Врешь ты все, Илья. Не отдам я тебе — не твоя она.— И Васька пошел в дом.

— Ну, смотри! — угрожающе бросил ему вслед Илья.— Это тебе даром не пройдет!

— Что там? — спросила мать. Васька объяснил ей, и она сказала ему: — Отдай.

— Но ведь это не его.

— Раз говорит, значит, его. Отдай. Он же не будет обманывать?

— Дак в том-то и дело, что обманывает!

— Пусть ему будет стыдно. Голубка чужая? Чужая. Он говорит, что она его? Значит, его. Отдай. Ведь и не твоя она? Пусть ему будет стыдно.

— Ага! Он застыдится, жди! Найдется хозяин — отдам, а Илье — ни за что,— стоял на своем Васька.

— Ма,— закричал вдруг Алешка.— Илья наши ночвы понес куда-то.

Все кинулись к окну: Илья уже вышел из ворот и не спеша, надев на голову, понес к себе домой цинковое корыто, которое стояло на крыльце на случай дождя.

— Ну, гад!.. — Васька выскочил из хаты.

— Вернись! — закричала мать ему вслед.— Ведь убьет он тебя!

Но Васька уже ничего не слышал, гроыхнул дверь, выбежал на улицу.

— Сказал, пока не отдашь голубку, ночвы не вернет, — передали Ваське ребята слова Ильи.

«Бандит! Фашист проклятый!..» — разъярился Васька и пустился по улице за Ильей. Догнал его уже почти у самых ворот и с разбега пнул в спину. Илья не ожидал нападения, оглянулся из-под корыта и, увидев Ваську, прибавил шаг.

— Бандит! — закричал на него Васька. — Фашист! Ты же настоящий фашист, самурай, никому проходу не даешь, гад ты такой. Отдай корыто!

Илья бросил корыто на землю, оно загремело, и кинулся на Ваську — ударил его кулаком снизу в челюсть. Во рту сразу стало солоно. Васька сплюнул кровь и тут уж, не помня себя, схватил Илью левой рукой за грудки, рванул на себя, а правой стал бить его по чем ни попадя. Илья, застигнутый врасплох, отталкивал Ваську, пытался оторваться от него, пятился, пока не ступил одной ногой в корыто. На гладком железе Илья поскользнулся и упал, Васька навалился на него в корыте и бил, бил остервенело и кричал:

— Вот тебе, гад... Вот тебе, фашист проклятый!.. Будешь? Будешь?..

Разъярился Васька, устал бить, подобрался руками к шее, стал душить.

— Удавлю гада!

Илья хрипел, вырывался, но узкое и скользкое корыто, в котором он лежал, мешало ему подняться.

— Спа-а-сите!.. — просипел Илья, и тут подскочил Никита, оттащил Ваську.

А Илья вскочил и, перепуганный, трясущийся, пустился наутек.

Никита взял в одну руку корыто, другой подхватил Ваську за локоть, повел домой. Войдя в комнату, первой Васька увидел мать — она стояла на середине комнаты с веником в руке и ждала.

— Так! — сказала она сердито. — Илья, вижу, один глаз подбил, а теперь я добавлю! — И она подняла веник.

Васька привалился плечом к дверному косяку, смотрел на нее грустно и с упреком. Ему хотелось почему-то заплакать, но он крепился.

— Не надо, тетя, — выступил вперед Никита. — Илью давно надо было проучить. Да все некому было...

— Проучили!.. Вижу!..

— Проучил, — сказал Никита. — Если бы не я, так Илье б хана была. Побежал, как заяц... Вы б только видели!

— Все равно — мне это не нравится! Голубей чтобы не было! Сейчас же!.. — И она сама кинулась под кровать. Ее остановила бабушка:

— Остепенись, остынь... Ну што ты такую бучу подняла? Ну, подрались ребята — вот беда великая! — Бабушка подержала ее за руку, подождала, пока мать немного успокоилась, сказала: — По-твоему, значит, из-за этого Ильи теперь другим ребятам и позабавиться ничем нельзя? На него управы нету, что ли? Вышла б да сама и прогнала б его подальше. Отчертовала бы как следует.

— Еще чего не хватало!

— Ну, а «не хватало», так и помолчи. — И обернулась к Ваське: — Правильно, внучек, сделал, что не забоялся хулигана. Проучил! И сам себя после этого зауважал, и другие ребята легче вздохнут, и тебе спасибо скажут. А сияня пройдет. Не горюй, внучек!.. Правильно, в обиду себя не давай. Будешь тряпкой — все клевать будут.

Мать посмотрела на бабушку, закачала головой безнадежно.

— Не качай, не качай. Детей надо и пожалеть, и защитить. А их кто защитит? Отца нет, а мать — только ругать способна.

Алешка держал голубя и, посматривая на брата, слушал бабушкину речь. Васька стоял в дверях и трогал пальцем ссадину под глазом. Голубю надоело сидеть в Алешкиных руках, вырвался и, воркуя, пошел к голубке. Бабушка посмотрела ему вслед, улыбнулась ласково.

Утром, проснувшись, Васька увидел Алешку сидящим на полу — он любовался голубями. Пλεκатый, не уставая, ходил вокруг голубки и все время ворковал. Голубка покорно сидела на одном месте и время от времени кланялась в ответ на его воркование.

— Теперь у нас пара! — радостно сказал Алешка.

— В школу опоздаешь, — напомнил братишке Васька. — Танька уже ушла.



— Успею. Она всегда рано уходит.

Васька ничего не сказал Алешке, полез под кровать за голубкой — хоть посмотреть, из-за чего вчера такая война разгорелась.

Голубка была совсем ручной, больное крыло делало ее смирной и покорной. Васька вынес ее на свет, поближе к окну, стал тщательно рассматривать. На правом крыле у нее запеклась кровь, перья ссохлись в твердую массу. В белом хвосте несколько перьев было сломано. Васька осторожно вырвал сломанные перья, чтобы выросли новые, сказал:

— Видать, из хорошей породы, не из простых. Но летать не будет: крыло попорчено. Наверное, Илья камнем ударил.

— Смотри, смотри. Плекатый идет! — закричал Алешка.

Не успел Васька обернуться, как голубь уже сидел у него на голове и сердито ворковал, словно бранился, что тот отобрал у него голубку.

— Ох ты какой! — удивился Алешка.

Васька отпустил на пол голубку, и голубь тут же слетел к ней, распушил хвост, надул зоб и погнался, воркуя, под кровать.

— Во какой! — не переставал удивляться Алешка.

— Ты давай в школу топай, опоздаешь, — указал Васька на часы.

— Они спешат, — отмахнулся Алешка. — Как мама повесила замок на гирьку, так они стали спешить. А без замка останавливаются.

— Топай, топай... В воскресенье насмотришься.

Алешка нехотя поплелся в школу.

В воскресенье возле гуринского двора ярмарка — со всей улицы мальчишки здесь.

Первым появился Никита Карпов, на правах первого помощника в драке с Ильей, он пришел в хату, поздоровался солидно, не торопясь протянул всем руку и сел на табуретку.

— Ну, че ж не выпускаете? — кивнул он на голубей и нагнулся к голубке.

— Осторожно, — предупредил его Васька. — У нее крыло больное.



— Пойдем,— и Никита направился к двери.— Бери плекатого.

— Он сам дорогу знает,— сказал Васька и пошел вслед за Никитой, оставив дверь открытой.

Как только голубь вылетел из сенец, тут же возле двора стала собираться толпа ребят. Васька хотел турнуть их, да разве прогонишь? Это уж так заведено: стреляй — не уйдут.

Только Илья в одиночестве маячил возле своего двора, поглядывал то в сторону гуринского двора, то вверх — на небо.

Не выдержал, медленно поплелся к ребятам.

— Илюха идет! — тревожно сообщил кто-то из ребят.

— Пусть идет,— отозвался Васька, а сам весь напрягся: «Опять драка будет...» Отобрал у Никиты голубку, отдал Алешке: — Отнеси.

Набывчив голову, ни на кого не глядя, Илья шел прямо на ребят. Они молча расступились, и Илья оказался лицом к лицу с Васькой.

Физиономия у Ильи была вся в синяках, под глазами припухлые ссадины — даже глаз не видно, только маленькие щелочки, сквозь которые сверкали злые Илькины зыркалки.

— Ого!.. — произнес кто-то и осекся.

— Што «ого»? — Илья обернулся. — Кто «огокает»? А то я сейчас как «огокну»... — И к Ваське также сурово: — Ну, покажь, шо там за голубка... За шо ты меня чуть жизни не лишил?..

— За голубей, думаешь?

— А за што же?

— За нахальство... Что всех обижаешь...

— Ага... За все, значит... Ну, ладно, хоть знать буду. Покажь голубку.

— Не показывай! — выкрикнул кто-то из ребят. — Возьмет и не отдаст, Илюха такой...

Илья на этот враждебный выкрик даже не пошевелился.

— Пусть попробует,— сурово сказал Васька и кивнул Алешке: — Принеси голубку. — Тот удивленно посмотрел на брата, и Васька повторил: — Принеси, принеси.

Алешка не спеша поплелся в сенцы.

— Быстрей! — нервно приказал Васька.

Принес Алешка голубку, протянул Илье. Тот взял, распустил крыло.

— Осторожно, ей больно... — сказал Васька. — Камнем, паверное, ударил.

— Кто? Я? — Илья скособолил брезгливо рот. — Я голубей не бью, штоб ты знал...

Пока Илья рассматривал голубку, из сенец вылетел голубь и опустился на голову Илье. Тот от неожиданности вздрогнул, но, поняв, в чем дело, улыбнулся, насколько ему позволяли ссадины, и снял с головы голубя.

— Здоровенный!.. — взглянул на Ваську: — Теперь можешь смело гонять его — никуда от голубки не улетит. Попробуем? — Илья отдал Алешке голубку. — Отнеси пока домой, закрой.

И когда Алешка закрыл голубку в сених, Илья натренированной рукой бросил голубя вверх.

Плекатый расправил крылья, замахал ими, поглядывая вниз, он искал голубку. Хотел опуститься на крышу, но Илья отпугнул его кепкой, и голубь стал уходить ввысь. Он, казалось, парил на одном месте, поднимаясь все выше и выше. Вскоре голубь превратился в маленькую точку.

Васька забеспокоился, но Илья успокоил его:

— Не бойся, никуда не уйдет. А летает хорошо! — с восторгом сказал Илья.

Маленькая точка в небе уже стала почти совсем незаметной. Она то появлялась, то исчезала.

— Я не вижу, — сказал Васька.

— И я... — упавшим голосом произнес Алешка.

— А я вижу! Вон, вон! — указывал Илья в небо. — Смотрите на мой палец.

Все смотрели на кончик его указательного пальца, но никто ничего не видел.

Тогда он сказал Алешке:

— Неси корыто и ведро воды.

Не спрашивая, зачем это, Алешка быстро повиновался. Вытащил цинковое корыто, потом с трудом вынес из сенец неполное ведро воды, поставил перед Ильей.

Илья вылил воду в корыто, сказал:

— Тише! Пусть вода успокоится.

Стоя на коленях, все склонились над корытом. И случилось так, что, как самому маленькому, Алешке места не осталось, и он бегал вокруг, кричал:

— А мне ничего не видно! Где я буду смотреть? Мне ничего не видно!

Наконец он с трудом втиснулся между ребятами.

— Тише, тише,— все время призывал Илья. И когда вода в корыте совсем успокоилась, он указал: — Вон голубь, видите?..

Все еще больше склонились над корытом, но ничего не увидели, кроме своих лиц, отраженных в воде.

— Головами не закрывайте небо,— с досадой сказал Илья.— Так смотрите — и увидите.

И правда: на совершенно чистом небе, отраженном в воде, ребята увидели парящую точку. Она то уменьшалась, то увеличивалась. Это летал в поднебесье плекатый.

Через какое-то время Илья распорядился:

— Выпускай голубку.

Алешка вынес голубку.

— Подними на руке ее повыше и держи,— учил Илья.— Здоровое крыло отпусти, пусть она им помахивает.

Алешка поднял голубку.

Вскоре голубь начал снижаться. Вот он уже стал совсем виден, видно даже, как он поводит головой, следя за голубкой, словно ждет, когда она взлетит к нему. Но она не взлетала, и тогда плекатый распахнул свои огромные, как у орла, крылья и, ни разу не взмахнув ими, быстро и плавно опустился на высоту дома. Тут он снова заработал крыльями и легко опустился на Алешкину руку. Опустился и сразу же, без передышки, принялся ворковать.

Васька смотрел на радостного Алешку и сам в душе ликовал: такого голубя заиметь — кто не захотел бы!..

— Неси их в хату,— сказал он Алешке и, обернувшись к ребятам, попросил: — Ну ладно, братва, давайте расходиться, а то мать придет — ругать будет.— И он, вылив из корыта воду, взяв ведро, пошел во двор.

«Братва» медленно расплывалась по улице. И среди них выше всех на целую голову качался Илья.

В тот же день Васька переселил голубей из комнаты в чулан. Полочки настроил — удобные для сиденья голубям. В углу приладил щербатый чугунок. Соломки немного положил в него — гнездо. И голубка быстро приняла его, влезла в чугунок, стала моститься в нем.

Как-то заглянула мать в чулан, видит — голубь хозяином ходит по полу. Поднял с пола соломинку, взлетел

к голубке, положил возле нее. Голубка клювом подправила соломинку, подсунула под себя и продолжала сидеть.

— Ой, горе мое! — удивилась мать и заулыбалась ласково. — Они всерьез поселились: уже гнездо ладят!..

Так с тех пор голуби надолго прописались еще в одном дворе поселка...

## ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

Утром, как и наказывала мать, Васька снарядился в поход за топливом. «Чем гонять обруч по улице, сходил бы на тырло, кизяков собрал бы: топить ведь совсем нечем».

Не хочется Ваське идти на тырло кизяки собирать. И не потому, что лень... Стыдно. Вдруг встретится кто из знакомых, особенно если из девочек, одноклассниц... Но делать нечего, идти надо. Вчера мать кое-как сварила суп — собрали все до щепочки во дворе, до сухой веточки на огороде.

И что за напасть — это топливо? Сколько Васька помнит, все время оно, как хлеб, преследует их своим недостатком.

Васька знает: к осени мать соберется с силами, поднатужится и все равно купит машину угля. Летом же, когда все можно пустить на топливо, от травы до коровьей лепешки, топить покупным — это все равно что бросать в печку рубли. А много ли их у матери? Поздней осенью, когда она отдаст «левому» шоферу несколько десятков, долго потом будет вздыхать и наводить экономию, пока расплатится с долгами.

Вздыхает, а сама приговаривает:

— Но ничего, зато с углем, зиму в тепле будем... Гора с плеч...

Уголь она покупает, какой подешевле — чтобы побольше, чтобы на всю зиму хватило. А дешевый — он известно какой: мелкий, курной, горит слабо. Ни огня от него, ни тепла как следует. То ли дело у Карпа. Зайдешь в сарай — топливо у него разных сортов: в одном углу лежат груды радужно поблескивающего антрацита, в другом — куски черного угля. Тут же навалом дрова на растопку — это уж совсем роскошь. Но Карпу хорошо, он бригадиром на путях работает, шпалы меняет. Вот он куски от старых шпал

и таскает домой. И углем он как-то «разживается»: то талон ему дадут на работе, то купит у случайного шофера. Частенько Карпо «разживался» даже коксом. Это уж совсем для Васькиной матери мечта несбыточная: кокс горит жарко, без копоти, тепла от него много, золы почти никакой — все сгорает. Но и стоит он дорого...

Растянул Васька мешок за углы, потом вдавил один угол в другой и нахлобучил его себе на голову. Торчит на голове острый угол, будто капюшон от штормовки. Доволен своей выдумкой Васька, поглядывает на младших.

— Во,— поморщилась Танька брезгливо.— Замерз, что ли?

— Наоборот, от солнца: голову печь не будет. Не понимаешь? — Повернулся и пошел огородной тропинкой.

Нагретая знойным солнцем земля жжет ему ступни, но Васька не обращает внимания — привык. Да и мысли в голове разные клубятся, размечтался.

Почему, думает он, все так несправедливо получается? У Никиты отец жив, а у Васьки его уже давно нет?.. Талоны на уголь Карпу положены, а матери — нет, не той категории она. Считается, что у нее легкая работа, а у Карпа тяжелая. А какая ж она тяжелая? Бригадир. Только командует: «Раз-два, взяли!..» И все. Это когда рельсу меняют. А когда щбенку подбивают, так ему и совсем делать нечего, стоит себе в сторонке, следит, чтобы поезд не накрыл рабочих... Он, похоже, и не устает: домой придет — дотемна что-нибудь мастерит или на огороде копается. А мать после работы жалуется: «Ой, ноженьки мои... Ой, спинushка моя разламывается...» Какая ж это легкая работа? С хлебом наладилось — хорошо: теперь у матери, как и у Карпа, рабочая карточка. Вот если бы и на уголь ей давали талоны... «Черное золото», — пишут про уголь в газетах. И правда — золото: дорогóй — ужас какой. А почему? Ну, хлеб — понятно: его вон сколько надо, а попробуй по такому маленькому зернышку собери! А уголь? Долби под землей готовенький сколько хочешь — и все... Эх, вот если бы, когда копал он яму на огороде под акацию и наткнулся на камень, а если бы то был не камень, а уголь!.. Да не просто там какой-нибудь, а антрацит! Раскопал Васька яму пошире и сидел бы в ней, долбил бы потихоньку...

Васька представил, как он кайлом долбит уголь,

а Танька ведром таскает его в сарай. Уже много нарубил и вдруг спохватился: «Нет, антрацит не надо, его ж ничем не вгрызешь. Карпо кувалдой разбивает свои груды, искры летят, и то с трудом поддается. Куда уж мне? Лучше пусть будет обыкновенный хороший уголь. Он, правда, пачкается, но зато рубить его легко: ударил обушком — пластины так и отслаиваются. И разжигать его просто, и горит он хорошо. Вот если бы!.. Тогда б зажили!..»

— Васька!.. Васька!.. Оглох, что ли? — донесся до Васьки истошный Танькин голос.

Мечты оборвались, будто лента в кино на самом интересном месте порвалась, и все исчезло. Васька отозвался недовольно:

— Ну чего там?

— Подожди. Алешка отстал.

Оглянулся Васька, а Алешки и не видно. Встревожился:

— А где же он?

— В калюку полез, перчик спелый увидел.

Через минуту из кустарника появился Алешка — сияющий, подняв руку вверх, он держал в пальцах перчик величиной с букашку.

Поджидая младших, Васька сошел с дороги и лег навзничь на пыльную траву. Закрыв глаза, раскинул руки — «умер». Когда подошли Танька и Алешка, он не шевельнулся и даже дыхание затаил. Те потоптались возле него молча, потом Танька не выдержала, пнула ногой:

— Вставай, развалился...

Но Васька был «мертв» и не шевельнулся.

— Вставай! — взревела Танька. — Маме вот скажу, как ты пугаешь нас.

Васька «ожил», приподнял голову:

— Может, человека солнечный удар хватил, а ты его ногой пинаешь? Надо скорую помощь оказывать. Тоже мне сестра милосердия!

— Вставай, — стояла на своем Танька. Она и правда испугалась — такой игры она не принимала.

— А вы не отставайте, — построжал Васька. — Ну где твой перчик?

— Съел, — сказал Алешка и показал пустую ладонь. — Сладкий!

— Ты гляди! Может, то не перчик, а волчьи ягоды? Отравишься еще!



— Не... Я знаю, — сказал Алешка и отошел на середину дороги. Там он нагреб руками холмик пыли, сделал сверху вороночку и стал в нее мочиться. Подождал, когда влага впиталась, и принялся осторожно отгребать от мокрой пирамидки сухую пыль.

— Алешка, ну что ты делаешь? Пойдем!

— Подожди... — заупрямился Алешка. — Сейчас узнаю: курочка или петушок. Если развалится — значит, курочка, а если нет — петушок.

У Таньки кончилось терпение, подошла и ногой развалила Алешкино сооружение.

— Вот тебе! Развалилось — курочка.

Алешка рассердился, схватил остатки курочки, швырнул в Таньку.

— Ну, ну! Перестаньте! — прикрикнул на них Васька, и Алешка, бросая на Таньку косые взгляды и вытирая руку о рубаху, поплелся вслед за братом.

Солнце уже нагрело степь, и она дрожала мелкой морской зыбью в горячем мареве. Низкорослая белесая полынь, источая хинную горечь, серебрила и без того белый солончаковый бугор, по которому бегали бесстрашные в эту пору суслики. Под ногами хрустел пересохший чебрец.

Взобравшись на самую вершину бугра, изрытую глубокими и мелкими ямами — здесь поселковые брали белую глину для побелки хат, — Васька оглянулся и увидел, что его экспедиция по заготовке кизяков растянулась на добрый километр. Таньке, видать, было колко идти босиком по каменистой тропке: отставив далеко в сторону левую руку, она долго искала место, куда бы ступить, и потом прыгала на это место, гремя пустым старым ведром, которое она несла в правой руке. Алешка — тот и вовсе был еще в самом низу — на зеленом лужку, гонялся за бабочками. Васька сначала рассердился на своих спутников, хотел наказать их. «Вот спрячусь в какой-нибудь яме — поищите! Облазите все глинище — не найдете». Но тут же отказался от этой затеи: так они и до вечера не дойдут до тырла. И он закричал сердито:

— Эй, вы!.. Ну чего тянетесь, как неживые? Скорее! — И не выдержал, сбежал вниз, к Таньке, отобрал у нее ведро, обозвав балериной. — Че прикрадаешься? Тоже мне барыня! — И он передразнил сестру — изобразил, как она идет, будто речку по шатким камешкам переходит.

— Не твое дело,— огрызнулась Танька.— Думаешь, как у тебя вместо пяток копыта настоящие, так и у всех?

— Какие копыта? — насторожился Васька.

Танька отвернулась, не ответила.

— Ты говори да не заговаривайся, а то я тебе покажу копыта. Алешка-а-а! Догоняй быстрее! Ждать тебя будем?

Алешка остановился, проследил за бабочкой, хотел было бежать за ней, но сердитый окрик Васьки повернул его на тропку. Он пробежал несколько шагов и вдруг сел прямо на дороге, стал ковыряться в ноге.

— Ну, вот! Еще не хватало — ногу наколол.— Васька поставил ведро возле Таньки, пошагал к братишке.— Что тут у тебя?

— А во! — И он, задрав ногу, показал Ваське ступню.

Алешка уже поплевал на больное место и ногтем расчистил светлое пятнышко, в центре которого Васька увидел черненькую точку — засевшую колючку. Он прицелился ногтями, хотел зацепить ее и вытащить, но заноза сидела глубоко и Васькиной хирургии не поддавалась.

— Ее не схватишь... Иголка нужна. Как же быть? — Васька взглянул на Алешку — тот смотрел на него голубыми глазами и ждал помощи.— Добегался! Что теперь с тобой делать? Вот бросим тут одного.

Алешка опустил ногу, снова поплевал на больное место и стал скрести ногтем.

— Не трогай.

— Она цепляется за ноготь.

— Цепляется... А схватить ее как?

— А если раскачать?

— Что это тебе, столб, врытый в землю? «Раскачать»! — Васька подумал с минуту, приказал: — Вставай, садись мне на плечи.

— Верхом? — обрадовался Алешка.

— Да.

Васька сбросил с головы мешок, пригнулся, и Алешка взобрался ему на плечи, свесив ноги Ваське на грудь.

— Но! Поехали! — помахал Алешка руками.

— Ты держись крепче! Свалишься...

Когда Васька с Алешкой поднялись на бугор, Танька уже ждала их — сидела на перевернутом ведре, вертела в руках маленький, меньше копеечной монетки, краснень-

кий цветок — степную гвоздичку. Сощуриив глаза от солнца, посмотрела на Алешку укоризненно:

— Добегался! А как же кизяки будешь собирать?

— Куда ему собирать! Хоть бы уж другим руки не связывал, — сказал Васька, ссаживая братишку на землю. — Спицу загнал в ногу — иголка нужна, чтобы вытащить. А где ее тут возьмешь? Можно бы колючкой от акации попробовать, но до посадки идти. Ближе домой сбегать.

— У меня ж булавка есть! — обрадованно вспомнила Танька и, быстро подняв платице, отстегнула от трусишек английскую булавку. — Вот!

— А молчит! — Васька взял булавку, повернулся к Алешке: — Давай ногу.

Заранее сморщившись от предстоящей боли, Алешка поднял ногу и закрыл глаза.

— Да ты не бойся, я осторожно буду, — заверил его Васька и кончиком булавки тронул головку занозы.

Он видел не раз, как такую операцию проделывала мать: у нее это получалось ловко. Что занозу вытащить, что соринку из глаза извлечь — все она умеет. Удастся ли Ваське так же? Вдруг заноза засела глубоко и ее придется выковыривать? Боль будет нестерпимая — это он знал по себе. А может так получиться, что и ногу расковыряет до крови, и занозу не вытащит — только хуже сделает...

Но, на его удачу, колючка оказалась маленькой. Два-три раза торкнул ее Васька булавкой, она и повисла на острие. В ранке даже кровь не выступила.

— Готово! — сказал он, показывая Алешке колючку.

— Все? — удивился тот и, не веря Ваське, вывернул ногу ступней вверх, стал рассматривать. — Правда — все, — обрадовался он и, подняв глаза на брата, похвалил: — Здорово ты! Я даже и не почувствовал!

— Другой раз гляди, куда ступаешь, — сказал Васька и заторопил: — Пошли, хватит рассиживаться. Солнце уже вон где, скоро коров на водопой пригонят, а мы тут прохлаждаемся. Надо успеть до обеда, пока коров не пригнали.

И они снова двинулись в путь.

Вскоре в балке показался пруд. Пруд этот колхоз сделал совсем недавно, берега его еще не успели обрасти травой, и поэтому обнаженная бульдозерами рыжая глина знойно

краснела вокруг стеклянно блестящей воды. Легкий ветерок гнал вдоль пруда мелкую рябь, оживлял неподвижную воду.

Еще с бугра Васька увидел место, куда пригоняется стадо на водопой, — оно было сплошь взрыхлено копытами и густо усеяно коровьими лепешками, — и направился напрямик к нему.

Спустившись на тырло, Васька оглядел изучающе поле действия и остался доволен: сухих кизяков много, добыча будет хорошей. Распорядился:

— Собирайте только сухие и снесите вот на это место в одну кучу.

— А вот такие? — спросила Танька, подняв засохшую лепешку, но еще сырую с обратной стороны.

— Я же сказал — только сухие. — Васька, внимательно осмотрев лепешку, пояснил: — Она хорошая, но тяжелая. Нести как? Много ли унесешь?

— А сухие в пыль перетрутся, пока донесешь.

Васька задумался: тоже верно, перетрутся. Поднял снова лепешку, взвесил на руке, согласился:

— Ну ладно, можно и такие.

И они разбрелись по берегу, принялись собирать даровое топливо.

Когда на горизонте показалось окутанное пыльным облаком спешащее к воде стадо, Васька со своей командой уже справился с делом, и теперь они сидели у плотины, отдыхали и наблюдали за стадом.

Чем ближе к пруду, тем сильнее буйствовало стадо. Коровы ревели и бежали, обгоняя друг дружку, от топота копыт стоял сплошной гул, похожий на обвал. Завидев воду, животные по-дикому ширили глаза и наостряли уши, фырчали от нетерпения и с ходу бросались в пруд. Увязая по колено в топком иле, одни устремлялись к середине водоема, где вода почище, и там, стоя по брюхо в воде, начинали пить, другие, более нетерпеливые, припадали к воде прямо у берега и с шумом втягивали в себя мутную жижу.

— Во как пить захотели! — удивлялся Алешка.

Ближайшая к ним корова уже напилась и теперь, подняв голову, смотрела вдаль, лениво гоняя хвостом назойливых слепней. Она спокойно жевала жвачку, а с ее губ в воду падали крупные капли.

— И мне пить захотелось,— снова подал голос Алешка.

— За плотиной есть криничка. Пойди и попей,— сказал Васька. Но тут же подхватился: — Пойдем, и я попью. А ты? — оглянулся на Таньку.

— Не хочу.

— Ну, тогда стереги кизяки.

— Что, их украдет кто? — усмехнулась Танька.

— Не украдет. А подойдет какая корова, рогом подденет и порвет мешок,— нашелся Васька.

Родничок был недалеко в овраге. Небольшая вымоина у обрыва из песчаника блестела прозрачным круглым стеклышком. Узкий ручеек, окаймленный зеленой луговой, весело бежал из нее и исчезал в зарослях куги. На дне родничка маленьким фонтанчиком бурлил песок. Алешка долго смотрел на этот фонтанчик, не мог, видно, понять, что за сила будоражит песок.

— Смотри, кипит!

— Ага,— спокойно согласился Васька и пояснил: — Это ключ бьет.

Он встал на четвереньки, припал к воде губами — принялся пить. Попив, поднял голову, передохнул и снова уткнулся в воду.

— Эх, хороша водичка! Холодненькая! — Васька зачерпнул воды ладошкой и выпил ее с причмоком.

— Дай я,— облизывая сухие губы, Алешка потерял брата за плечо.

Тот уступил ему место, и Алешка, упав на живот, уткнулся носом в воду. Напившись, опять устоялся в бурлящую вороночку. Смотрел, смотрел и вдруг сунул в родник руку по локоть, воткнул палец в самую сердцевину. Песок шевелился под его пальцем, словно живой, вода вокруг взмутилась и на какое-то время перестала вытекать из родничка.

— Ты что делаешь? — прикрикнул на него Васька.

— Заткнуть дырочку хотел,— признался Алешка. Он вытащил руку из воды и стал дуть на палец.

— Что, укусило?

— Нет, холодно там. Палец аж закололо.

— А ты думал! Она ж из самой глубины идет, эта вода. Чудак, хотел пальцем ключ заткнуть. Его и лопатой не закопаешь — все равно пробьется.

Вода в родничке быстро очистилась, и на дне его все так же бурлил ключ.

Напившись еще по разу, уже впрок, Васька и Алешка вернулись к сестре. Та сидела на камне, свесив ноги в воду.

— Теплая? — спросил Васька.

— Ага! Как парное молоко! — заулыбалась Танька: ей было приятно держать ноги в воде.

— Исккупаться бы!.. — Васька взглянул на Таньку.

— Ну да! — запротестовала та и тут же вылезла из воды. — Забыл, что мама наказывала? Чтоб не купались. Вдруг утонешь?

— Тут же мелко... И жара!.. — Он взглянул на солнце, потом на Таньку. — У бережка. Окунемся, охладимся, и все. Легче будет домой идти. А?

Танька молчала, и Васька быстро разделся, полез в воду.

— Красота! Раздевайтесь, смотрите, как мелко! — Васька осторожно, щупая дно ногами, отошел от берега.

— Не ходи дальше! — крикнула Танька.

— Да что я, плавать не умею? — И он упал грудью на воду, заколошматил ногами, поплыл. Сделал кружок, встал, тяжело дыша. — Ну? Давай, Алеш, иди, я тебя подержу.

Алешка осторожно сполз белой попкой с берега в воду, протянул руки к Ваське, вцепился в него.

— Не бойся! — подбадривал Васька братишку. — Тут мелко.

Осмелел Алешка, стал плескаться, присел по самую шею в воде, подпрыгнул, опять присел. Понравилось ему купаться, Васька доволен, зовет и Таньку.

— Не, — стоит та на своем. — Я только ноги помою. — И она, задрав платье выше колен, вошла в воду, стала ходить вдоль берега.

Купались долго, пока у Алешки зубы начали стучать. Тогда Васька выставил его из воды, а Танька вытерла ему лицо подолом своего платья, надела штанишки и рубашку на мокрое тело, посадила на траву.

— Грейся. А ты вылезай уже, хватит, — крикнула она Ваське.

— Сейчас! Нырну один раз — и все!

Васька вытянул руки вперед, сбывил голову и, как заправский ныряльщик, стремительно бросил себя в глубину, ударив по воде ногами. Танька смотрела на расходящиеся круги на воде, качала сокрушенно головой и нетерпели-

во ждала, когда Васька вынырнет. Наконец вода взбурлилась, и на поверхности показалась рука, потом другая, Васька как-то неестественно размахивал ими, словно ловил что-то, чтобы зацепиться, и, не схватив ничего, снова погружался в воду. На секунду показалась Васькина голова, он хотел что-то крикнуть, но, хлебнув воды, скрылся.

— Мама, Васька заливается!.. — закричала Танька своим голосом. — Васька-а-а... Помогите!

Возле стада сидели пастухи, обедали, слышали крик, прибежали на помощь. Один из них, не раздеваясь, прыгнул в воду, схватил Ваську за волосы, потащил на берег. На берегу Васька долго кашлял, его даже вырвало — наглотался воды. Тараша испуганные глаза, он все пытался что-то сказать Таньке и не мог. Наконец выговорил:

— Ма.... Маме... не рассказывай...

— Ты лежи, лежи, парень... Отдышись, — сказал пастух. — Судорога, что ли, ногу свела?

— Ударился... Там пень. — Только теперь Васька почувствовал боль на голове и потрогал рукой огромную шишку. Посмотрел на мокрые пальцы — думал, кровь. Нет, крови не было.

— Как же ты, не зная броду, полез в воду? — укорил Ваську старший пастух.

— Ладно, бать, не надо... Он и так испугался... Наука будет на всю жизнь, — сказал молодой, который спас Ваську. Нагнулся, спросил: — Ну, как ты? — И успокоил: — Ничего, оклемался уже. — Улыбнулся: — Нырлящик! Никогда не ныряй в незнакомом месте.

Васька сидел, опершись на левую руку, тяжело дышал и время от времени отплевывался. В ответ на слова пастуха согласно кивнул головой.

Пастухи медленно ушли. Танька и Алешка несмело подошли к брату, присели на корточки, стали смотреть на него жалостливыми глазами.

— Маме не рассказывайте, — попросил снова Васька. — Не за себя, за нее прошу: она переживать будет. А, Тань?.. Не скажешь? Я что хочешь для тебя сделаю, только не говори маме...

— Ладно, — пообещала Танька. — А ты больше не купайся.

— Я тоже ничего не скажу, — пообещал и Алешка. — А шишка?

— Может, не заметит... Скажу — ударился.

Они еще долго сидели на берегу пруда, ждали, когда Васька окончательно придет в себя. Только когда уже пастухи стали поднимать коров и угонять прочь, забеспокоилась и Танька:

— Может, и мы пойдем? — Ей стало жутко оставаться здесь одним, без пастухов.

— Ага... — поднялся Васька. — Пошли. — Он взвалил себе на плечи мешок, мелкая пыль посыпалась ему за воротник, он поежился, спросил участливо сестру: — Тебе не тяжело? Донесешь?

— Донесу, — сказала Танька. — Оно совсем легкое: у меня ж все кизяки сухие-пресухие.

Они тронулись в путь. Васька впереди с мешком на плечах, за ним Танька с ведром и только Алешка плелся в самом хвосте налегке.

Вечером мать ничего не заметила. Смирность детей приняла за усталость, похвалила их за топливо, а Ваське сказала:

— Нынче, сынок, ложись спать пораньше, завтра пойдем с тобой за углем. Может, хоть немножко к зиме натаскаем.

— Куда? На путя? — спросил Васька.

— Нет. На путях строго стало. Говорят, ловят и штрафуют. Да и мало толку на путях: теперь так научились насыпать уголь в пульмана, что и грудочки не упадет.

— А куда ж? На Бутовку?

В прошлом году они с матерью ходили на Бутовскую шахту, собирали уголь у подножия террикона. Собрали много, еле донесли, но мать сказала, что больше они туда не пойдут. Далеко. Да и опасно. Выползет вагонетка с породой на самый верх, опрокинется, и летят вниз камни со страшной силой. Ударит — жив не будешь. А люди не боятся, лезут навстречу, увёртываются от камней, спешат собрать уголь, какой попадается в породе. Мать держала Ваську, не пускала, ждала, когда все камни успокоятся. Ну и, конечно, угля им после этого доставалось мало — только где-нигде маленькие кусочки.

Люди приходят сюда на несколько дней, семьями. Собирают уголь и ссыпают его в отдалении от террикона в кучи, а потом либо машину, либо подводу нанимают и увозят.



Но у Васькиной матери ни времени нет, чтобы днями жить у террикона, ни смелости. Забоялась она не только падающих камней, но и других опасностей: террикон дымится — горит внутри него уголь. И был случай, когда один парень полез на террикон и провалился в выгоревшую яму, только дым пыхнул оттуда. Будто в кратер вулкана упал и сгорел.

Такие страсти не для матери... А что делать? Если голод не тетка, то и холод не дядька.

— На Ясиноватскую свалку пойдем — за депо, где паровозы топки чистят. Говорят, там народу мало — люди туда еще дорогу не узнали. В шлаке, рассказывают, много коксы попадается. И кусочки угля тоже.

«Кокс — это хорошо! Кокс легкий, нести его не тяжело. А горит он получше антрацита, — думает Васька. — Только какой же там кокс, на этой паровозной свалке? Если на Макеевской заводской в прошлом году и то еле-еле набрали».

Чтобы мать не подумала, что он хочет увильнуть от похода за углем, Васька осторожно высказывает свое сомнение по поводу свалки и добавляет:

— Уж лучше на шахту. Хоть далеко, зато наверняка.

— Да я и сама сумлеваюсь: как пойдем, да впустую, день пропадет — жалко. А куда идти?

— На Ветку. Мы туда еще не ходили.

— Опять на шахту? Боюсь. Да и далеко. — Но подумала, подумала и согласилась: — Может, ты и прав: уж на шахте как-никак, а пустыми оттуда не вернемся. А насчет свалки я у паровозников распytaю все подробно. Дура, не догадалась раньше это сделать. Сказали мне, я и поверила сразу, а потом, вишь, засумлевалась. И ты туда же. — И уже решительно: — Ладно, сходим на Ветку, попытаем еще там наше счастье.

Чуть свет поднялись они с матерью, мешки, свернутые в трубку, взяли под мышки и подались старым юзовским шляхом на шахту. Рассвет догнал их, когда они уже оставили позади ясиноватскую посадку с ее жуткими бандитскими историями и приближались к «Седьмому блочку» — железнодорожному посту на полпути между Ясиноватой и городом. Солнышко дохнуло теплом в Васькину спину, когда он взошел на переезд и по привычке побежал вдоль путей, шаря глазами между шпалами — авось за ночь поезда растеряли уголь.

— Пойдем, Вася, не будем время терять, — кричит ему мать.

Васька хотел было вернуться, как вдруг увидел один, другой овалы, похожие на конские котятки, сероватые брикетки. Поднял — легкий, будто кокс. Догадался: это и есть кокс, только прессованный. Оглянулся по сторонам а его тут — будто кто нарочно сыпанул: сколько хватает глаз, валяются вдоль путей аккуратненькие комочки. Кликнул мать — показал ей брикет. Та издали ничего не увидела, но поняла, что Васька что-то нашел, и заторопилась ему на помощь. Вдвоем быстро собрали рассыпанные брикеты, набралось немало, с доброе ведро, не меньше. Сошли с путей, стали решать, что делать: то ли остаться здесь и прочистить дорогу, то ли идти дальше, на шахту. Как ни хороша была брикетная приманка, решили все-таки не соблазняться ею.

— Это, наверно, случайно пульман на этом месте качнуло, — сказала мать.

Васька пофантазировал и добавил:

— А может, по нему бежал какой-нибудь блатяка и неосторожно ногой двинул.

— Может, и так.

Чтобы не нести собранный груз с собой в два конца, придумали свою находку спрятать в посадке. Васька руками разгреб местечко под кустом желтой акации, высыпал туда из мешка брикеты, забросал их разным мусором, замаскировал сухими ветками и бурьяном.

— Во, уже не пустыми будем! — обрадованно сказала мать, и они заспешили дальше, чтобы догнать время, которое потеряли на путях.

Еще на подходе к шахте они увидели у подножия террикона множество людей. Одни группами, семейными бивуаками рассыпались по полю вокруг насыпной горы, другие в одиночку, муравьями ползали по ней, выбирая кусочки угля. Возле бивуаков стояли тачки с задранными в небо оглоблями или, наоборот, опущенными на землю, высились различной величины горки угля, сидели дети и женщины, дымились костры. Издали казалось, будто там расположились лагерем небольшие цыганские таборки.

— Ой, ой... — заойкала мать, приостановившись. — И тут народу, нас только и не хватало.

Подойдя поближе, они выбрали местечко посвободнее

и почище, побросали на запорошенную угольной пылью траву свои мешки, присели отдохнуть перед работой.

По пологому склону террикона черным жучком побежала вверх вагонетка, и люди как горох посыпались с него вниз. Слышно было, как вагонетка щелкала колесиками на стыках рельсов. Вот она взобралась на самую верхотуру, опрокинулась, окутав себя облаком пыли, и полетели вниз, шурша и подпрыгивая, черные камни. Самые большие долетали до самого низа, и тут их, увертываясь от ударов, хватали ловкие люди, быстро осматривали и либо выбрасывали прочь, либо опускали в подвязанную на животе, как у кенгуру, сумку. Многие из сборщиков были хорошо снаряжены — молотками или кайлами, они отбивали прилипший к породе уголь, ковырялись в терриконе, и сумки их наполнялись быстрее других. Ваське и матери все это придется делать почти голыми руками: от породы отбиваться они будут той же породой — камнями, а ковыряться — каким-нибудь прутком, если найдется. Найдется, такого добра здесь сколько угодно.

Мать развернула свой мешок, выложила на траву узелок с харчами.

— Надо бы место как-то заметить, чтобы видели, что тут занято, — сказала она.

Васька быстро нашел кусок проволоки, согнул ее дугой, воткнул в землю. Для прочности подпер ее обломком сырой крепежной стойки, видать недавно выброшенной из шахты, и кверху этой «треноги» подвязал узелок.

— Вот хорошо, — одобрила мать. — Издаля нам будет видно... Поглядай и ты, чтоб собака какая не унесла наш обед. — Она перевязала заново платок, затянула узел покрепче. — Ну, што? С богом? — Взглянув на вершину террикона, предупредила Ваську: — Гляди ж высоко не лезь, а то не успеешь убежать, камнем прибьет. Бог с ним, с углем с этим, чтоб за него жизнь положить.

Вооружившись крепкими камнями вместо молотков, они двинулись к террикону.

Добычей мать была довольна: к обеду они насыпали заметную кучечку и сели перекусить. Съели хлеб, вареную картошку, выпили бутылку холодного чая, и мать, пожаловавшись на боль в пояснице, расстелила мешок и легла на него, подставив лицо полуденному солнцу. Потом натянула на глаза платок, сказала Ваське:

— Отдохни и ты, сынок... Пока жара спадет...

— Пить хочется. — Васька поднял с земли пустую бутылку. — Я пойду в поселок, воды наберу.

— Сходи, — разрешила мать. — Только не долго... Чуть отдохнем, еще немножко подсобираем — и домой пора. Приехать бы сюда дня на два да с тачкой...

Подхватил Васька бутылку, зашагал в шахтерский поселок. Хотел в первой же хате попросить воды, но раздумал: «Тут, наверно, и без меня надоели: крайняя хата ближе всех к террикону, все идут сюда...» И он пошел вдоль палисадников, огороженных самым разнообразным подручным материалом — проволокой, дырчатыми полосками железа, ржавыми старыми водопроводными трубами. Деревянных штакетников ни у кого не было: любая досочка здесь на вес золота. За заборами росла сирень, желтая акация, в глубине дворов виднелись яблоньки с краснобокими плодами. Запыленные листья были вялы от знойного солнца, висели безжизненно — ждали дождика.

«Увижу где во дворе тетку — попрошу воды», — решил Васька. Но во дворах было пусто, будто вымерли все. Лишь кое-где Ваську облаивали ленивые, разомлевшие от жары цепные псы.

Он пересек одну улицу, другую и только на третьей, видать центральной, увидел людей — они спешили куда-то в сторону шахтоуправления. Туда же бежали и мальчишки, подбадривая друг дружку громкими голосами. Васька хотел было спросить, куда это все торопятся, да где там! Никого не остановишь. А тут вдруг совсем недалеко грянул духовой оркестр, и Васька, смешавшись с поселковой ребятней, подался на звуки музыки.

У конторы шахтоуправления он увидел большую нарядную толпу, как на Первомайском празднике. Протиснувшись в передние ряды, Васька очутился почти у самого крыльца, на котором стояла трибуна, обитая красной материей. Над центральным входом на стене полоскался на ветру длинный плакат: «Пролетарский привет нашим родным стахановцам!» Возле крыльца с правой стороны сплоченной группой выделялись оркестранты. Сверкая медными трубами, они беспрерывно играли веселые марши и песни. Тут же отдельной кучечкой толпились в белых кофточках пионерки с большими букетами в руках.

— Идут!.. Идут!.. — вдруг прокатилось по рядам.

Слева толпа расступилась, и в образовавшемся проходе показались шахтеры. Их только что подняли из забоя в угольных спецовках, в шахтерских касках, черные, как негритосы, они шли медленно, вразвалку, как-то неуверенно, стеснительно поглядывали на толпу, улыбались.

Девочки с цветами кинулись им навстречу, вручили шахтерам букеты, и те, засмущавшись еще больше, совсем растерялись, сбились с шага, затоптались на месте, но их подбодрил появившийся на крыльце высокий с седыми висками и с орденом на защитном френче мужчина:

— Смелее, смелее, товарищи! Идите сюда, сюда, на крыльцо поднимитесь — пусть все видят своих героев!

Шахтеры по одному поднялись на крыльцо, толкаясь, выстроились в шеренгу, поглядывали друг на друга, улыбались, обнажая неестественно белые зубы и сверкая большими на фоне черных лиц белками глаз.

Мужчина с орденом взошел на трибуну и начал речь

— Товарищи, у нас сегодня большой праздник: бригада Ивана Букреева, подхватив почин нашего земляка с шахты «Центральная — Ирмино» Алексея Стаханова, добилась рекордных успехов, доказав тем самым, что достижения Стаханова по плечу каждому советскому шахтеру. Применение новых методов добычи угля, правильная организация труда, максимальное использование техники дали возможность бригаде Букреева перекрыть старые нормы почти в пятнадцать раз! Это, конечно, еще не рекорд Стаханова, но эти достижения красноречиво говорят, что не за горами тот день, когда горняки нашей шахты добьются рекордных успехов и наша шахта станет стахановской. Слава героям труженикам, слава нашим стахановцам!..

Потом выступали от профкома, от комсомола, от пионеров, выступил сам Букреев, и после каждого оратора духовой оркестр исполнял продолжительный туш.

Случайно попавший на этот праздник Васька совсем забыл, что он не дома, что его ждет мать, слушал речи, смотрел вокруг, захваченный общим праздничным настроением. Только когда уже объявили митинг законченным и все стали растекаться по улицам поселка, он вспомнил о матери и заметался в поисках воды. Хотел было идти в контору, но увидел на углу: плещутся мальчишки у колонки — пьют, подставляя рты прямо под трубу,

мешают друг другу, брызгаются. Васька подождал в сторонке, когда они ушли, сполоснул бутылку, набрал немного, напился, потом наполнил до горлышка, побежал к своему бивуаку.

Мать давно уже, видать, собирала уголь, так как куча заметно подросла. Увидев Ваську, pokrутила головой:

— Ну, тебя только за смертью посылать! — Потянулась к бутылке: — В горле пересохло... — Напилась, продолжала: — И беспокоиться уже начала: где пропал? Может, случилось што?

— Там митинг был! — сказал Васька. — Шахтеров-стахановцев встречали. С музыкой! А они черные-черные и улыбаются, а зубы и глаза белые-белые. Речи говорили, как на Первое мая.

— То ж и нам повезло: вагонетка часто моталась туда-сюда, я даже удивилась.

— В пятнадцать раз норму перевыполнили! — сообщил Васька.

— Это много, — покачала мать головой. — Вот как работать стали.

— А у самого Стаханова еще больше!

Подхватив свой мешок, Васька направился было к террикону, но мать остановила его:

— Думаю, хватит уже. Нести тяжело будет, а дорога не близкая... Да еще в посадке у нас припрятано. Давай собираться домой.

Наполнив Васькин мешок до половины, мать приподняла его — попробовала на вес.

— Хватит тебе.

— Мало, — запротестовал Васька. — Еще давай.

— Хватит, сынок. У тебя косточки молоденькие, растут еще, могут искривиться.

— Распрямятся, — сказал Васька беспечно.

— Хорошо как распрямятся... А то будешь как Сантуй — кривобокий и кривоногий.

— И нехай...

— Как же «нехай»? Замуж никто за тебя за такого не пойдет.

— Очень нужно! Я и жениться не буду.

— Все в свое время, сынок. Хватит. Будет легко — в посадке добавишь, подберешь коксу, што схоронил в кустах...

Домой пришли они поздно, усталые, у Васьки только и хватило сил помыться да в постель лечь. От ужина отказался, тут же уснул. И не слышал он, как мать вслух радовалась добыче, как мечтала о Ясиноватской свалке, о повторном походе на шахту уж всей семьей и с Карповой тачкой. Уснул Васька, и снился ему митинг на шахте: улыбающиеся черномазые шахтеры с цветами в руках и музыка, музыка, музыка...

Однако ни на Ясиноватскую свалку выбирать из шлака остатки кокса, ни на шахту ни Ваське, ни его матери идти больше не пришлось. На другой день вечером к ним появился дальний материн родственник Захар Чирин — бритоголовый толстый мужик — и предложил сдать горницу заводу под общежитие, а самим потесниться в кухне. Пока мать, поглядывая на детей, соображала, что ответить, он, вытирая взмокшую макушку мятым платком, прошел к горнице и осмотрел ее хозяйским глазом.

— Четыре койки вполне встанет и стол — посредине. Все хорошо будет. А? — обернулся он к матери.

— Что хорошо? Объяснил бы толком...

— Фу-ты! Народ какой непонятливый! — Чирин оседлал ближайшую табуретку. — Я ж тебе толкую: под общежитие комнату сдай. Или не слыхала? Сейчас же строительство кругом какое развернулось — заводы строят, шахты новые открывают. Рабочих не хватает. Вот и вербуют со всех концов к нам в Донбасс людей. А жилья покамест нету на всех, общежития все битком забиты.

— Дак это тут вербованные будут жить? — удивилась мать.

— Ну да.

— Да они ж, говорят, все бандиты? Без роду, без племени: бродяги разные, безотцовщины, беспризорники, тюремщики?

— Чепуха! — отмахнулся Чирин и даже поморщился. — Конечно, разные есть... Но много едет сюда и комсомольцев, по призыву. Ну?

— «Ну, ну», — покрутила мать головой. — Страшно...

— А я думал, тут все уже обдумано и решено. — Захар обидчиво поерзал на табуретке, окинул кухню глазами: — Вчера встретил Платона, тот попросил зайти сюда. А так бы... Мы вообще-то расселяем поближе к железной дороге,





чтобы на трудовой поезд им ближе ходить было. Сюда, может, никто и не согласится еще... Такую даль ходить. Особенно осенью — дороги расквасит, грязь. Это я уж по-свойски завернулся: слышал, нужда...

— Конечно, нужда... — сказала мать.

— А че ж думать? Тут есть выгода прямая, люди многие охотно сдают свои хаты. Ну?

— Опять «ну», а самого главного не сказал.

— И правда, — усмехнулся Захар. — Платить будут по пять рублей за койку. Да за уборку помещения еще что-то там полагается.

— Кто будет платить? Они сами?

— Нет, завод.

— Ну, то хорошо. А топливо?

— А топлива — сколько надо, столько завод и обеспечит. Завтра уже начнем развозить уголь.

— Сколько надо, столько и дадут? — воскликнула мать и радостная оглянулась на детей. — Да его ж целую машину, не меньше, на зиму надо!

— Машину или две — какая разница. Сколько надо, столько и завезем. Топливо не только зимой нужно. Летом тоже без него не обойтись: придут с работы, умыться — воды согреть или сварить что, постирать...

— Верно, верно... Угля много надо.

— Опять же: кому бельишко стираешь или суп сваришь — заплатит. Тоже прибыль. Лишний рубль не помешает.

— Главное, топливом обеспечивают! Всю зиму будет тепло в хате! — Мать уже не слушала Захара, смотрела на детей. — Ну как, Вася? Согласимся? Таня?

Васька стоял насупырившись: вербованных пускать в хату ему не хотелось. Чужие люди вытеснят их в кухню, а сами будут жить в просторной комнате. И еще неизвестно, какие люди попадутся. Слышал он о вербованных разные разговоры — сброд там всякий пригоняют. Они могут и книжки на сигарки порвать и искомить. Но мать обрадовалась, углю обрадовалась. А как не обрадоваться — уголь такой дорогой...

— Что молчишь, Вася?

Двинул плечами Васька — как хочешь, он противиться не смеет... А горло почему-то перехватило, будто обидели чем-то.

— Пустим, потерпим зиму. А там видно будет,— успокаивает его мать.— Мы ж все равно большую комнату на зиму заколачиваем.

— Вот и хорошо,— поднялся Чирин.— Завтра мебель доставим, а может, если успеем, и уголь завезем.

— Уже завтра?

— А чего ж ждать? Народ прибывает, надо расселять. Бывайте.— Он надел кепку, направился к выходу.

— Ты ж там подбери нам, какие посмирнее,— попросила мать Чирина.

В ответ тот только плечами двинул неопределенно и ушел.

А в доме наступила тишина. Будто крутилась жизнь заведенным колесом, бежала куда-то своей дорогой, а тут ее взяли и остановили: старые планы все рушились, новых пока нет, жизнь приостановилась. Васька первым поднялся, пошел в комнату, стал снимать с полки книжки.

— Успеешь еще, сынок... Завтра день будет,— попыталась отвлечь его мать. Но он продолжал снимать их, и тогда она тронула его рукой за плечо: — Ну что же ты надулся? Будто я виновата? Давайте откажемся. Еще не поздно. Вон он до Куликова проулка еще не дошел. Только тогда опять будем холодать. А тут помощь какая: топливо, да еще за койки платить будут. А к осени сколько надо? Одежа, обуша...

— А я что? Рази я против? — буркнул Васька и понес книжки на кухню.

Утром комнату окончательно освободили от всего: вынесли кровать, сундук, угольный шкафчик, сняли Васькину полку для книг. Оставили только на стене увеличенную отцову фотографию.

— Нехай висит, она им не помешает...— сказала мать.— В кухне больше пылиться будет...

Васька не возражал.

А вскоре к воротам подъехала машина, и с нее сгрузили мебель: четыре койки, стол, три табуретки, четыре тумбочки; постель — матрасы, набитые соломой, подушки, одеяла, простыни; посуду — из оцинкованного железа чайник, две кружки, рукомойник и тазик. И сверх всего — шашки и домино.

Двое парней внесли в комнату койки и стол, а на остальное махнули рукой:

— Сами тут разберетесь, а то нам еще вон сколько развозить.

— Ладно, ладно, — согласилась мать. — Все сделаем. — И не выдержала, поинтересовалась: — А уголь тоже нынче привезете?

— Это не мы, другие. Развозят и уголь.

— Ой, как хорошо! — обрадовалась мать и кликнула детей носить вещи.

Первым прибежал Алешка, схватил шашки и домино, но в комнату не понес, сел на завалинке, открыл коробочку, стал раскладывать черные брусочки.

— Алеш, не трогай — потеряешь. Это чужое, — прикрикнула на него мать.

— Не потеряю! Я только посмотрю. — И тут же позвал брата: — Вась, давай сыграем.

— Потом, — сказал Васька, неся на спине пухлый соломенный матрас.

Мать кулаками разбила в матрасах соломенные шишки, разровняла их и уложила на койках. Потом застелила простынями, одеялами, впустила вялые, комковатые подушки, расставила их белыми пирамидками. В центре коек разложила вафельные полотенца, сложенные треугольничками. Отошла к двери, окинула все хозяйским глазом, полюбовалась своей работой, осталась довольной:

— Ну, вот и хорошо, как в больнице.

А Васька ничего не сказал, уронил голову на грудь, поплелся на улицу: комната стала совсем чужой...

К вечеру, как и обещали, привезли уголь. Огромный трехтонный самосвал развернулся, попятился задом к воротам и с шорохом вывалил гору угля.

Этим же самосвалом в кабине приехал и Захар Чирин. С большой папкой под мышкой он шумно вошел в хату, еще с порога спросил:

— Все привезли? — Не дожидаясь ответа, он заглянул в горницу и осекся на полуслове, увидев там прибранные матерью койки. — Вот это здорово! Вот молодец! Сразу видно — это общежитие будет у меня передовым! — Обернулся к матери, посмотрел на нее уважительно и, раскрыв папку, попросил расписаться. — За весь этот инвентарь, — кивнул он на горницу.

Мать расписалась, и он тут же заспешил к машине. Мать вышла проводить, но, увидев уголь, остановилась

посреди двора, схватила себя за шею двумя руками, сдавила, словно боялась, что неумная радость ее вырвется наружу, посмотрела на Ваську глазами, полными слез. Васька кивнул ей, улыбнулся. Размягчился: в самом деле — богатство-то какое! На две зимы хватит, если топить экономно.

— Даже чурбачков на растопку привезли, — сказала мать взволнованно.

Васька поднял два ровных бруска, стукнул ими друг о дружку, сбил угольную пыль:

— Это я спрячу на чердак, табуретку сделаю.

Мать согласно кивнула:

— Хорошие брусочки, такие жалко жечь.

Не выдержал, вышел посмотреть на уголь и Карпо Гурип. Обошел вокруг кучи, нагнулся, поднял кусок, подержал на ладони:

— Добрый уголек! Даже антрациту не пожалели. — И он бросил на кучу алмазно сверкающий кусок антрацита.

Васька думал, что крестный поможет им таскать уголь в сарай, но он только осмотрел все и пошел медленно домой. Васька обиделся на него: «Завидки взяли, а помочь не захотел. Ну и ладно, сами перетаскаем, просить не будем».

До поздней ночи мать, Васька и Танька носили ведрами уголь в сарай. Последние ведра ссыпали уже при лампе.

Кончили и потом долго стояли все втроем, любовались блестками антрацитовых кусочков на угольной куче, поднявшейся почти до самого потолка. Никогда еще в их сарае не было столько угля, да еще такого хорошего.

— Ну, слава богу, теперь мы с топливом, — сказала мать.

«Вот оно, «черное золото»! Поймалось и к нам в сарай! Не все Карпу...» — думал Васька, запирая дверь большим амбарным замком.

## ВЕРБОВАННЫЕ

То ли Захар Чирин перестарался — раньше срока подготовил общежитие, то ли по другой какой причине, но прошла неделя, а койки все еще оставались пустыми. Васька уже стал привыкать к такой обстановке и втайне надеялся, что, может, все так и останется: уголь привезли, а вербованных не будет. «Может, Захар забыл про нас... Вот

хорошо бы!..» — думал Васька, но наверняка знал, что чуда не будет: пройдет еще день, два, неделя — и квартиранты появятся.

Притерпелся Васька и к тому своеобразному запаху, который поселился в доме с тех пор, как появились здесь койки. А может, и не притерпелся, может, со временем просто плесневелый дух от одеял и тяжелый запах прачечной от простыней выветрился... Как бы там ни было, а Васька уже не хмурился, заглядывая в горницу, наоборот, он все чаще сидел за большим общежитским столом и играл со своими меньшими в домино или в шашки, которые появились в доме тоже вместе с койками и за которые мать расписалась в особой книге как за спортивный инвентарь.

— Вы глядите полегче стучите, не сломайте, — предупредила мать игроков.

— Ниче им не сделается! — говорил в ответ Васька и громко выбрасывал очередную «косточку». — Ну что, Танек? «Баянчик» остался у тебя? Отрубил? Играй теперь на нем «Барыню», пока я Алешку высажу.

— Вася-колбаса... Подглядываешь? — обижалась Танька и швыряла шестерочный дубль на стол.

— Считать надо уметь до семи, — резонно замечал ей Васька и тыкал пальцами в шестерки. — Считай!.. Ну, Алеха, что задумался?

— Полегче стучите и не скандальте, — говорила мать и уходила.

Играть Васька наловчился, и что в шашки, что в домино обыгрывал своих партнеров запросто. Это тоже настраивало его на веселый лад.

Сегодня Васька был почему-то особенно в ударе. Он громко стучал костяшками, сыпал приговорками, задира л младших.

— Все, Алеха! Сейчас я тебе с треском козлика с рожками забью! И полезешь ты, дружок, вместе с Танюшенькой под стол, и будете там жа-а-алобно ме-е-е-кать. Ну?

Васька поднял руку с «камнем» высоко над головой и, торжествуя победу, улыбался во весь рот. Однако, чтобы продлить удовольствие и подразнить соперника, медлил с решающим ходом.

— Ну, давай ходи, чего тянешь?.. — ворчал Алешка, а губы его дергались и сжимались в плаксивую гримасу.

— Вася-колбаса всегда такой вредный, — не унималась Танька.

Но Васька не обращал на нее внимания, продолжал держать «камень» в руке, грозя им сделать последний ход. Однако он так и не сделал его: на пороге внезапно появился человек. Васька взглянул на пришельца и осекся на полуслове: в проеме двери высилась громадина, похожая на каменного истукана, какие еще и до сих пор встречаются на степных курганах и зовутся «скифскими бабами». Красной меди короткие волосы на его большущей голове стояли торчком, а мясистое лицо незнакомца, будто градом побитое, все сплошь было усыпано крупными ослепными воронками. Длинные, как у орангутанга, руки его праздно висели по бокам — их оттягивали вниз тяжелые, пудовые кулаки. Одет детина был в неопределенного цвета старую косоворотку и серые, латанные на коленях и обтрепанные внизу штаны. На ногах — непомерного размера стоптанные, некогда белые, парусиновые туфли.

— Мир дому сему! — громко произнес незнакомец и прошел к горнице. — Здесь, говорят, для меня приготовлена постель. Которая из них? — Будто пистолетным стволом, он повел по комнате толстым пальцем с крепким черным ногтем. На оголившейся почти до локтя руке курчавились густые красные волосы.

Васька оглянулся машинально на койки, куда показывал пришедший, и, ничего не ответив ему, принялся за чем-то складывать домино в коробочку, искоса поглядывая на незнакомца. Одна мысль лихорадочно билась в Васькиной голове: как выбраться из западни.

Алешка тихо положил костяшки на стол, бесшумно сполз с табуретки и отступил к стене, прячась от нацеленного в комнату пальца. И только Танька, не раздумывая долго, скользнула боком мимо гостя и выбежала на волю.

Вскоре со двора прибежала мать и, стоя позади пришельца, ломала на груди руки, не зная, как заговорить с ним, как обратить на себя его внимание. Наконец собралась с силами, спросила как можно мягче:

— А вы будете из вер... из вербованных?

— Из них. Так которая моя? — не сводя глаз с коек, продолжал допытываться пришедший.

— Любая. Все свободные... Выбирайте...

— Прекрасно, — прогудел вербованный и прошел к

койке, которая стояла в углу возле окна. — Выбираю эту. — И, как бы утверждаясь в своих правах, сел прямо на одеяло. Койка ржavo застонала под ним. Сидя, он осмотрел комнату и сказал: — Вы меня не бойтесь.

Матери почему-то стало неловко, запинаясь, она принялась оправдываться:

— А чего бояться? Человек как человек...

— Не знаю чего. Но вы же боитесь? Так вот я вам говорю: не бойтесь.

Мать, благодарно улыбаясь, спросила:

— А кто вы будете?

— Сами же сказали: человек.

Мать смутилась, уточнила:

— Откуда родом?..

— Вот этого-то я и не знаю, — сказал он врасстяжку. — Бродяга я.

— Ой, бродяг я боюсь... — Мать всерьез нахмурила брови и посмотрела на Алешку с Васькой.

— Не надо, — твердо сказал вербованный. — Максим Горький тоже был бродягой.

— Так то ж Максим Горький! А потом когда это было... — Боясь обидеть нового жильца, мать заулыбалась, сделала вид, что пошутила.

— Значит, Максиму Горькому можно? Джеку Лондону можно? А мне нет?

— Кому? — не поняла мать.

— Джеку Лондону, — подал голос Васька. — Он «Белый Клык» написал.

— Верно, молодой человек. Тот самый. — Вербованный подмигнул Ваське, будто своему союзнику, и снова обратился к матери: — Романтик я, мамаша. Понимаете? Романтик! — И он поднял торжественно руку.

Мать неопределенно двинула плечами. Васька слышал о романтиках, читал о них в газетах. Так называли комсомольцев, которые на Дальний Восток поехали город строить. Но он представлял их совсем не такими. «Романтик»... Васька недоверчиво посмотрел на вербованного, тот понял его, пояснил:

— Романтики, молодой человек, тоже бывают разные. Я, например, люблю свободу, люблю бродить по свету, мне доставляет удовольствие видеть новые края, новых людей.

— А где же ваши вещи? — спросила мать.

— Вещи? — вербованный насмешливо двинул бровями и осмотрел себя, словно искал что-то. — Вещи!.. А зачем они? Обуза. Омния меа мекум порто. Это вам говорит что-нибудь?

Мать покрутила головой, Васька усмехнулся: его стал забавлять этот рыжий бродяга.

— Я так и знал, — сказал вербованный. — Переведу. Древние римляне так говорили: «Все мое ношу с собой». — И он хлопнул себя по бокам. — Ну, все? Знакомство состоялось? Допрос окончен!

— А как зовут, не сказали, — не унималась мать.

— Верно. Главное-то мы и забыли! Зовут меня Василий Никифорович Разумовский. Это вам говорит что-нибудь?

— Говорит, а как же! — согласно кивнула мать. — По-нашему. Вот тоже Василий, — мать указала на Ваську. — И Никифор есть у нас в родне. Правда, дальней...

— Ну и прекрасно! Значит, будем считать, что я свой. А если бы вам родней доводились и Разумовские — было бы совсем трогательно. Верно, тезка? — спросил он у Васьки и сам ответил: — Поживем, мол, увидим? И то верно. — Он отвернул одеяло, пощупал матрас: — Солома! Опять солома! — Встал, скатал постель в рулон, переложил на другую койку, а матрас взял в охапку и понес во двор. За сараем вытряс из него солому, сложил по длине вдвое, потом скрутил его в трубку и пошел огородной тропкой. Уже возле деревьев оглянулся, произнес торжественно: — Не бойтесь! Матрас будет цел!

Хозяева — все четверо — долго смотрели на огород, пока вербованный не скрылся за деревьями. Мать вздохнула, покрутила головой:

— Что ж это Захар?.. Обещал ведь комсомольцев прислать...

Алешка вышел наперед, напыжился, изображая великана, поднял палец высоко над головой, продекламировал:

— Я — ро-ман-тик!

Васька и Танька засмеялись, а мать пригрозила им и предупредила:

— Ну-ну!.. Вы поосторожней...

Разумовский вернулся через час или полтора с матрасом, набитым мягким пахучим сеном.

— О, сенца где-то раздобыли? — обрадованно встретила мать квартиранта.



И не понятно было, чему она радовалась: то ли действительно сенцу, то ли возвращению в дом матраса, за который она расписалась в Захаровой папке.

Васька хмуро покосился на мать: ему жилец не нравился, и он готов был пожертвовать даже матрасом, только бы он не возвращался. «Бандюга какой-то...» — думал о нем Васька. Мать поймала косой Васький взгляд, шепнула ему:

— Может, он только с виду страшный, а так человек хороший? Видишь, слово сдержал: матрас не унес.

— Нужен ему матрас! Ценность большая! — ухмыльнулся Васька.

— А больше ему у нас нечем разжиться, — спокойно сказала мать. — Сундук пустой, нарядов не накопили. — И, заглянув в комнату, где Разумовский укладывал свой матрас, громко, будто глухому, сказала: — Нужда заела, решили стеснить себя — пустили общежитие. — Оглянулась на Ваську: вот, мол, как здорово, как незаметно, будто ненароком, расскажет она вербованному о своей бедности и таким образом развеет у того дурные мысли, если они у него были. — Осень подходит, детям в школу идти, а надеть нечего. Топливо дорогое, все съедает...

Разумовский продолжал ладить свою постель и, казалось, не слушал материных речей. Но, закончив дело, сел на койку, покачался, словно пробовал, мягко ли, и, подняв голову, внушительно проговорил матери:

— Мамаша, я же вам сказал: не бойтесь меня. Я вас не обижу.

Мать засмушалась и, чтобы как-то замять неловкость, заговорила торопливо:

— Да разве я к тому?.. Топливо, говорю, дорогое. Уголь — беда наша. А почему? Кругом шахты, в газетах пишут, что добывают его сейчас много... И правда, много: составы бегут один за другим и все больше с углем, а купить его трудно...

— Уголь — хлеб индустрии, и это не просто слова, — сказал Разумовский и стал загибать пальцы: — Паровозам уголь нужен? Доменным печам нужен? Химической промышленности нужен?

— И то верно, — закивала мать.

— А сейчас, когда мы взяли курс на индустриализа-

цию, потребность в топливе намного возросла, и растет она с каждым днем. — Помолчал, добавил: — Да и вообще, топить углем — это преступление.

— Как так? А все топят. Чем же еще топить? Дров у нас нет и кизяков — откуда их столько?

— Бесхозяйственность. Это не я, это еще Менделеев сказал: топить углем — все равно что топить ассигнациями.

Заинтересовавшись разговором, Васька подошел поближе, стал у двери. Разумовский указал на него пальцем, спросил:

— Разве ты не знаешь об этом?

— О чем? — Васька взглянул на мать.

— О Менделееве. — Разумовский смотрел на Ваську, ждал ответа.

Тот застыдился, будто не выучил урока, покрутил головой.

— В какой класс ходишь?

— В шестой перешел...

— Еще узнаешь, — подбодрил его Разумовский и продолжал: — Уголь, как и нефть — самое ценное сырье, которое подарила природа человечеству. Из него можно делать керосин, бензин, разные смазочные масла, резину, шерсть, спирт, маргарин...

— И шерсть?.. — искренне удивилась мать.

— Да. Скоро мы с вами будем ходить в костюмах из искусственной шерсти. — Разумовский потрогал свою рубаху.

— И маргарин из угля? — продолжала удивляться мать. — И его можно будет есть?

— Конечно! Химия, молекулы туда-сюда поменяют, и все.

— Он же черный будет? — не верит мать.

— Не отличите от настоящего. — Разумовский был доволен произведенным впечатлением, продолжал: — А спирт, например, из угля я уже пил. Не отличишь от обычного. Поэтому жечь уголь в топках — действительно преступление.

— А чем же топить? — допытывалась мать. — Обед на чем-то надо варить...

— Обед можно сварить на электроплитке, на газу... Солнечную энергию будут использовать.

— Это когда еще будет! — махнула мать рукой. — А есть сейчас хочется...

Ваське разговор понравился, будто интересную книжку прочитал. Научную фантастику он любил. Хотя резина из угля — это уже никакая не фантастика: сначала из угля выкапчивают сажу, а потом ее превращают в резину. Так, по крайней мере, ребята рассказывали. И это похоже на правду, потому что, когда резина горит, от нее столько копоти, столько сажи — прямо хлопьями летит. А вот шерсть, маргарин — это интересно!..

— О чем задумался, тетка? — спросил его Разумовский. — Не верится? А ведь будет! Все будет! — воскликнул Разумовский и вдруг добавил: — У тебя, парень, глаза хорошие — мечтательные. Это прекрасно — мечтать! Тебе, наверное, хочется совершить что-то необычное? Такое, чтобы удивился весь мир? — спросил он, угадав постоянное Васькино желание. — Но знай: само по себе, случайно ничего не приходит. Чтобы что-то совершить, надо к этому стремиться, надо много знать! Надо много читать! Книги — вот аккумулятор всех знаний человечества.

— Книжки он любит, — сказала мать и посмотрела ласково на Ваську. — Носит из библиотеки, читает. Летом, правда, не очень... А так — читает, грех жаловаться... — И она тронула его голову рукой.

Васька тут же вывернулся из-под руки, застеснялся.

Когда сели обедать, мать сказала:

— Надо бы человека покормить, он, наверное, голодный...

— Во, начинается! — проворчал Васька.

— Ничего, ничего, — успокоила его мать. — Хватит и нам. Добро в человеке вызывают добром, а от зла зло и бывает. А он, видать, добрый: видишь, книжки советует читать. — И громко спросила: — Василий Никифорович, может, супу нашего отведаете? Он, правда, постный, без мяса, но...

— Не откажусь, — отозвался Разумовский.

Мать налила до краев в глубокую тарелку супу и на вытянутых руках, медленно, чтобы не расплескать, понесла Разумовскому. Поставила на стол, вернулась, взяла ложку, на ходу вытерла ее подолом фартука, приложила ковшиком к краю тарелки, сказала:

— Кушайте на здоровье...

Разумовский откашлялся в кулак, положил обе руки на стол, будто обнял тарелку, какое-то время смотрел прямо в суп, словно рассматривал себя в зеркале, потом не торопясь взял ложку и принялся молча есть.

Вечером, ложась спать, Разумовский попросил у Васьки почитать какую-нибудь книгу. Васька сначала замялся, раздумывая, давать ли: книжки библиотечные, он нарочно убирал их подальше, чтобы не изорвали на сигарки или не увезли целиком. Но отказать не хватило смелости, и он принес ему Максима Горького «Детство» и Виктора Гюго «Гаврош». Разумовский полистал своими толстыми в рыжих ворсинках пальцами, сложил вместе и вернул Ваське.

— Хорошие книжки. Но я их знаю. — Потом он снова взял «Гавроша», спросил: — А ты читал эту книгу целиком?

— Нет еще, только до половины, там заложено, — указал Васька на торчащий язычок белой газетной закладки.

— Не читал, значит, — догадался Разумовский и пояснил: — «Гаврош» — это только маленький отрывок из большого романа «Отверженные». Ты попроси в библиотеке — замечательная вещь!

На другой же день Васька принес домой толстую книгу романа и читал ее, забыв обо всем на свете. Жан Вальжан — какой человечеще! И оттого ли, что эту книгу Ваське открыл Разумовский, или еще по какой причине, но стал он на своего квартиранта смотреть совсем другими глазами: рыжий, здоровый, всезнающий, наблюдательный, он казался Ваське Жаном Вальжаном, сбежавшим с каторги. Но окончательно Разумовский покорила Ваську на четвертый или пятый день. К этому времени уже выяснилось, что для него не оказалось интересных книг ни в школьной, ни в заводской библиотеке, и тогда Разумовский скуки ради решил по вечерам рассказывать хозяевам ранее прочитанные им книги. Рассказчиком этот бродяга оказался необыкновенным — он не пересказывал сюжет, содержание книги, а читал текст на память подробнейшим образом. Читал увлекательно — его слушали, не смея шелохнуться, и дети, и мать, он держал слушателей в напряжении час-полтора и обрывал на самом интересном месте, говоря:

— Продолжение завтра. А сейчас — спать, утром рано на работу. — И начинал взбивать свою подушку.

Васька с сожалением вздыхал, медленно поднимался и потом долго еще не мог уснуть.

Первая история, насыщенная невероятными приключениями, была замешена на жуткой смеси реального и колдовского, и длилась она поболее недели.

Жила-была крупная благородная банда из тринадцати человек. Она успешно делала свои дела, была неуловима и не знала себе равных. Добычу обычно они делили в склепе на кладбище. Со стороны посмотреть — горит в склепе огонь и тринадцать чертей справляют свой пир. И вот однажды свет в склепе гаснет, и на стене появляются огненно-красные буквы: «Вам отсюда не уйти». Вожак стирает ладонью текст, но он появляется вновь. И рядом — как знак — кровавый отпечаток ладони правой руки...

— Продолжение завтра...

Назавтра банда благополучно выбралась из склепа и продолжала свои дела. Но однажды ее постигло несчастье — она лишилась своего вожака. Банда переживает кризис. В одну из ночей, когда в склепе делили добычу двенадцать чертей, неожиданно раздался голос: «У вас не хватает одного звена, без которого все вы обречены на гибель. Я могу восполнить недостающее звено и спасти вас, но с условием...»

И снова — продолжение завтра. И так несколько вечеров подряд. За это время уже заполнились все койки, появились новые вербованные, а хозяева, будто загипнотизированные, слушали Разумовского. Да и новые жильцы невольно поддавались гипнозу рассказчика, вечером спешили побыстрее справиться свои дела, усаживались поудобнее и торопили Разумовского:

— Давай, не тяни...

Разумовский не торопился, двигал бровями — собиравшись с мыслями. Иногда спрашивал:

— На чем вчера остановились?

— «Я могу восполнить недостающее звено и спасти вас, но с условием...» — с готовностью подсказывал Васька.

...Первым после Разумовского койку в общежитии занял быстрый, веселый, будто на пружинах, Аркадий Бойченко. Пришел он днем, еще на пороге сразу обнажил в широкой улыбке свои белые зубы, словно вернулся из дальних краев



в родной дом, протянул всем мягкую белую руку, называя себя, в том числе Алешке и Татьянке, отчего последняя застыдилась, будто ей сделали предложение выйти замуж.

Аркадий выбрал себе койку в ближнем правом углу. Мать одобрила этот выбор:

— И правильно: зимой возле грубы будет тепленько. — И тут же спросила: — Комсомолец? — Ей очень хотелось, чтобы хоть один из вербованных был комсомольцем.

— Комсомолец, мать! Комсомолец! — сказал Аркадий и тут же показал серенькую книжечку с тисненым профилем Ильича на обложке.

— Вот хорошо, — обрадовалась мать и обернулась к Ваське, призывая и его порадоваться такому случаю.

— Хорошо, мать! Хорошо! — И он откинул со лба прядку соломенных волос.

— Издалека к нам приехал? — допытывалась она.

— Издалека. Из-под Орла, есть там город Кромь. Слышали?

— Орел — слыхала. Это ж где-то в Расее? А фамилия хохлацкая.

— Не важно, — сказал Аркадий. — А у вас фамилия кацапская.

— Ну да! — не поверила мать.

— Самая настоящая. Курская.

— Ну да! — отмахнулась она как-то обиженно. — Еще чего придумал... Курских мы знаем, приезжают сюда на заработки. Зачуханные какие-то. Там, кажут, мужики сами хаты белят.

— Там совсем их не белят, — засмеялся Аркадий. — Кто же вы тогда? Не хохлы и не кацапы?

— Мы сами по себе. Мы — здешние, донбасские, и все.

— И все? А национальность у вас есть?

— Наверное, есть, — не очень уверенно сказала мать. — Русские мы. — И пояснила: — Здешние мы, донбасские.

— Но сюда-то вы откуда-то пришли?

— Нет, мы не пришлые. И отцы наши, и деды — все здешние. Тут и родились и померли.

— Значит, прапрадеды ваши пришли сюда на заработки. Только не по путевке комсомола, как я, а сами, на свой страх и риск... Голод их гнал сюда. Это я знаю точно. Так что корни ваши, пожалуй, там, недалеко от моих. Вот так-то!

— Ну, и ладно,— согласилась мать,— роднее будем. Мне-то что? Все люди одинаковы...

Аркадий с первого дня и до последнего называл хозяйку только «мать», а она иногда, при хорошем настроении, как бы в шутку звала его «сынок».

Следующим появился Грицко. Высокий, необтесанный какой-то, стеснительный и недоверчивый. Лба у него не было, а жесткие черные волосы росли почти от самых бровей, отчего Грицко казался суровым, насупленным и недовольным. Грицко принес с собой окованный медными полосами тяжелый сундучок и сунул его далеко под койку. В сундучке, как после выяснилось, было несколько кусков домашнего сала, завернутых в холщовые тряпицы, крупа в мешочках и буханки две или три домашней выпечки хлеба. Не только на вид, но и по натуре своей Грицко был неразговорчив, но тем не менее мать узнала от него, что он из-под Гуляй-Поля. Она сказала об этом другим, и с легкой руки Аркадия Грицко прозвали махновцем. Безобидный увалень не обижался на прозвище, а лишь иногда пытался объяснить своим сожителям, что ни его батько, ни тем более он сам махновцами не были, хотя в их краях и «гулял батько Махно».

Грицко приехал в Донбасс по доброй воле (он не был комсомольцем), приехал, чтобы заработать денег и уехать обратно к себе в деревню.

Последним в доме появился Валентин, он пришел уже в самом конце длинного рассказа Разумовского и захватил только развязку всей истории.

Приехал Валентин вечером рабочим поездом вместе со всеми. Его привел Аркадий и указал ему пустую койку. Валентин — маленький, кривоногий (одна нога у него была «усохлой»), белобрысый паренек, ростом с Ваську, тихий и какой-то сиротливый. Как сел на свою койку, подобрав под себя маленькую, словно у ребенка, ногу, так и не встал, пока не пришла пора ложиться спать. Слушал он Разумовского внимательно, но лицо его было совершенно непроницаемо — не угадаешь, нравится ему рассказ или нет.

На другой день Валентин привез с собой плоскодонную мандолину. Култыхаясь, сильно припадая на усохшую ногу, он нес эту мандолину, будто тяжелую ношу, на плече. Не снимая кепки, сел на койку, настроил и заиграл: «Встань,



казачка молодая, у плетня...» Потом он играл другие песни, но чаще всего «казачку».

Васькина мать сразу прониклась жалостью к «убогому Валентину»: он был сирота, да к тому же калека. Она обихаживала его, как сына: стирала ему, кормила. Застенчивый Валентин постоянно смущался от ее такого внимания, но никогда ни от чего не отказывался.

С первой получки Разумовский напился, но не буянил, а только поговорил сам с собой, извинился и лег спать. На другой день он на работу не пошел, валялся больной на койке, тяжело вздыхал, мучился от чего-то. Выздоровев, попросил у матери взаймы пятерку, которую вернул еще до зарплаты. Во вторую получку повторилось то же самое. Но на этот раз у него еще остались деньги, и он, дав матери сколько-то, сказал:

— Возьмите... Это за стирку и... за все... хорошее, одним словом. Я не хочу быть свиньей.

Мать отказывалась:

— Какая там стирка... Да и от пьяного деньги брать...

— Я рассудок не теряю, — обиделся Разумовский. — Не бойтесь. Возьмите. У меня на душе будет чище и оттого легче.

Заходили холода, Разумовский из теплых вещей себе так ничего и не справил. Мать достала с чердака валявшийся там отцов зипун — из грубой коричневой шерсти негнушущуюся, словно валенок, одежину, — выбила из него пыль, несмело предложила его Разумовскому. Зипун этот надевал отец, когда зимой ездил в каменный карьер за камнем на фундамент новой хаты. Любой ветер, любой ураган был не страшен ему в этом зипуне.

Разумовский надел зипун. В плечах он ему оказался впору, а длина — до колен; были коротки лишь немного рукава. Тяжелый, грубый зипун этот сидел на Разумовском как-то ладно и не казался ни тяжелым, ни грубым.

Застегнулся на крючки, оглядел себя Разумовский и даже улыбнулся — так хорошо ему было.

Аркадий с получки принес много разных продуктов, вывалил на стол перед матерью:

— Вот, мать. Будешь варить себе и мне заодно сварить. А?

— А че ж не сварить?... Раз сынок, куда ж девать тебя? Сварю!

Так Аркадий стал харчиться вместе с хозяевами, давая матери продукты и приплачивая ей за стирку.

Валентин никогда ничего не приносил домой и ни разу не заплатил матери ни за стирку, ни за те супы, которыми она угощала его почти каждый день. И покупок новых у него тоже ни разу не появилось. Куда он девал свои деньги — никто не знал.

— Да какие там у него деньги? — оправдывала мать Валентина. — Убогий, калека, сколько он там зарабатывает? Получит получку, долги раздаст и опять, наверное, побирается до получки.

Может быть, и так. Только ни у кого из живущих в комнате денег он никогда не занимал.

Грицко жил сам своим хозяйством. Сам варил себе обед после работы, сам съедал его. Сам стирал себе белье, рубашку, от материной помощи отказывался. Но мать не обижалась, подхваливала его:

— Вот кому-то мужик попадетса — живи да радуйся: сам и постирает, и сготовит!

Так все постепенно привыкли к вербованным, и даже Васька, больше всего страдавший от тесноты, смирился с неудобствами. Зато в доме тепло, за углем они с матерью ходить на путя перестали, да и мать повеселела — легче ей стало. А Ваську она все утешала поговоркой:

— В тесноте, да не в обиде.

## ТРАУР

Осень выдалась слякотная, зима не начиналась долго — наступала она как-то несмело, вяло и кисло. Заморозков почти не было, все время сыпал то дождь, то мокрый снег, то снова дождь. Дни стояли тяжелые — короткие, сырые, темные, — к полудню еле-еле развиднялось, и тут же начинало смеркаться. Мокрые, нахохлившиеся воробьи днями повсюду сидели на голых осклизлых деревьях, молчали и лишь лениво поводили головами, если поблизости появлялся прохожий. С наступлением темноты они куда-то исчезали, чтобы утром вновь появиться на тех же деревьях или на кустах боярышника.

Дороги сделались непроезжими, улицы непроходимыми.

Спрятав под полу пальто книжки, Васька тащился в школу, хлюпая разболтавшимися галошами. В галоши давно уже набралось воды и грязи, и от этого они совсем не держались на ботинках. Да и проку теперь от них уже никакого, одно мучение: они то и дело увязали в раскисшей дорожной глине, с каким-то утробным чмоканьем снимались с ботинок, и Ваське всякий раз приходилось вытаскивать их из грязи руками. Он выносил галоши на твердый травянистый островок, всовывал в них ботинки и шел дальше.

У мосточка Васька спустился к ручью, встал на камень и принялся мыть обувь. Некогда ярко-красная мягкая подкладка галош превратилась в серую, облезлую.

Помыв галоши снаружи и внутри, он пристроил их на плоские камни вверх ребристыми подошвами, чтобы стекла вода, и взялся за ботинки.

Ботинки он мыл долго: вязкая липучая глина набилась в ранты, в швы, в глазки для шнурков, отовсюду Ваське пришлось выковыривать ее тонкой щепочкой.

Отмыл до сизо-мраморной синевы ботинки, отбил на камне короткую чечетку — стряхнул с них воду. Влез снова в галоши и пошел дальше.

Следующая остановка у Васьки, как всегда, у клуба. Тут теперь он был своим человеком и поэтому смело направился к двери. Но не успел он взяться за ручку, как дверь с шумом открылась и оттуда выскочил Саввич. Увидев Ваську, он с минуту сердито смотрел на него, словно соображал, что с ним сделать, и вдруг заворчал: «Родственники тут еще разные ходюты!.. А хороших людей убивают...» — и побежал куда-то по своим делам.

Обескураженный Васька вошел в фойе, заглянул в гримерную, которая одновременно была и кабинетом завклубом. Зав — Степанов Иван Егорович — мрачный, на Ваську даже не взглянул, сидел и медленно, раздумчиво постукивал карандашом о крышку стола. Тут же, стоя на табуретке, прикреплял к портрету Кирова черный бант Николай.

Николай оглянулся на Ваську и тоже, против обыкновения, ничего не сказал, не подмигнул — посмотрел, как на пустое место, и продолжал свое дело.

Васька тихо вошел и остановился у двери, поглядывая то на Николая, то на Ивана Егоровича. Иван Егорович был

в пальто, но без шапки. Седые волосы его под яркой лампой, ввинченной в потолок, поблескивали серебром. Пальто было расстегнуто, и на груди виднелся прицепленный к темно-зеленой гимнастерке с отложным воротником орден боевого Красного Знамени. Этот орден он получил в гражданскую войну за храбрость в борьбе с белыми. От гражданской у него остался и шрам на левой щеке.

Николай спрыгнул с табуретки, посмотрел издали на портрет, звонко хлопнул ладонями — стряхнул с них пыль.

Не поднимая головы, Иван Егорович кивнул в ответ, потом поднялся, достал из шкафа штуку красной материи, бросил на стол.

— Оторви для флага и отдай Насте. Нехай подрубит края, а снизу пришьет черную полосу, сантиметров двадцать шириной. — Он взглянул на полки в шкафу: — У нас тут ничего черного нет... У себя пусть поищет. Найдет, наверное...

— Найдет, — сказал Николай.

— Прибьешь к деревку и вывесишь на улице. С наклоном. — Иван Егорович потянул со стола шапку и направился к выходу. — Пойду в райком.

Когда Степанов ушел, Васька осмелел, спросил у Николая:

— А зачем это? — он кивнул на красную материю, на портрет.

— Убили Сергея Мироновича Кирова...

— Как?.. Как убили? — У Васьки екнуло сердце, язык стал заплетаться.

— Как. Убили, и все.

— Кто?..

— Преступник.

Васька не знал, как быть, что говорить, что спрашивать. В горле запершило. Молчать было неловко, а говорить — слов не находилось. Одно чувствовал Васька в этот момент — жалость и любовь к Кирову и негодование к убийце народа. «Гады, гады! — кричал он про себя. — Когда же это кончится?! Гады враги, всех вас саблями порубить надо, пулеметами расстрелять!»

В черной тарелке репродуктора что-то затрещало, и послышались тревожные позывные — мелодия «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный!..» Ни-

колай поднял руку — сигнал Ваське, чтобы помолчал, и подкрутил винтик громкости.

Дрожащим, взволнованным и одновременно твердым и грозным голосом диктор читал сообщение:

«Первого декабря, в шестнадцать часов тридцать минут в городе Ленинграде, в здании Ленинградского Совета (бывший Смольный) от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб секретарь Центрального и Ленинградского комитетов ВКП (большевиков) и член Президиума ЦИК СССР товарищ Сергей Миронович Киров. Стрелявший задержан. Личность его выясняется...»

— Задержан! — Глаза у Васьки расширились, руки сжались в кулаки. — Задержан! — Васька торжествовал: враг будет наказан! Будет! Это ему так не пройдет!

В школу Васька прибежал возбужденный, думал, тут ничего не знают, соображал, как и кому сообщить об этой тревожной вести. Но когда вошел в коридор, увидел здесь всех учеников и учителей. Они молча стояли у стен и слушали радио. Старшая пионервожатая, стоявшая в свободном проходе, как командир перед строем, оглянулась на Ваську и дернула сердито щекой — замри, не шуми!

Когда диктор кончил читать сообщение, зазвучала траурная музыка. Пионервожатая крикнула кому-то:

— Сделайте потише, — и стала говорить речь. Она говорила долго, гневно, запальчиво: — ...На выпад врага мы должны ответить еще большей сплоченностью вокруг партии большевиков. На удар врага мы ответим двойным, тройным ударом!

Васька побаивался и недолюбливал старшую пионервожатую — строгую, вечно сердитую, постоянно чем-то недовольную худую девицу с черными усиками, как у парня. Но тут он был согласен с ней, казалось даже, что она не все говорит, и Васька не выдержал, крикнул:

— Врагов надо убивать!

Все оглянулись на Ваську, а пионервожатая дольше всех смотрела на него, соображала, что ответить. На всякий случай бросила обычное:

— Гурин, не нарушай! Тебе слово не давали. — Потом

подумала и сказала: — Не волнуйтесь, ребята, суд над убийцей будет строгим и справедливым!

После митинга от группы учителей отделился директор — он вышел на шаг вперед и печальным голосом сказал:

— Да, нашу страну, партию постигло большое горе. Но... — Он поперхнулся, откашлялся и продолжал окрепшим голосом: — Но мы не должны вешать головы и расхолаживаться. В ответ на эту коварную вылазку рабочие нашей страны отвечают еще большей сплоченностью и ударным трудом. Нашим же ответом должна быть отличная дисциплина и учеба. Прошу классных воспитателей развести учеников по классам и приступить к занятиям согласно расписанию.

Директор — суровый, брови насуплены больше обычного — повел бритой головой из стороны в сторону, словно искал кого-то и не нашел, направился быстрой походкой к себе в кабинет.

Ученики молча, медленно разбредались по своим классам и только здесь давали волю своим чувствам. Они спорили, негодовали, строили свои догадки насчет убийства, предлагали решительные меры, чтобы раз и навсегда покончить с врагами.

Вместе со всеми, а может быть, даже и больше других негодовал и Васька. Он был недоволен пионервожатой — слова, пустые слова сказала, а дела никакого не предложила. Тут делать что-то надо, делать, а не митинговать! Объявить запись добровольцев на борьбу, на охрану...

На какую борьбу, на какую охрану — конкретно Васька себе не представлял, но дружины такие по всей стране надо создать немедленно — в этом Васька был уверен.

И директором Васька тоже был недоволен — только и знает: учеба да дисциплина. Там вождей революции убивают, а он — «приступить к занятиям согласно расписанию». Да что же это такое? Следовало бы, по крайней мере, отменить занятия на три дня, не меньше. Отменить и объявить всеобщий траур.

Школа гудела, как потревоженный улей. Об учебе «согласно расписанию», конечно, не могло быть и речи, учителя с трудом удерживали учеников в рамках школьной дисциплины. Да и сами они были взбудоражены не меньше своих воспитанников: жуткой, непонятной тенью случив-

шееся легло на сердце. В учительской радио не выключалось, и после каждого урока они спешили к нему, надеясь узнать что-то новое. Но дополнительных новостей не было, и это еще больше тревожило и волновало.

В класс вошел учитель немецкого языка Григорий Иванович Черман. Григорий Иванович резко выделялся из всех учителей и внешностью и методом преподавания. Высокий, стройный, черные густые волосы волнами зачесаны назад, большой умный лоб открыт. Осанка у Григория Ивановича гордая, голову держит он, как норовистый конь. Быстрой походкой он прошел к столу, сказал:

— Guten Tag! — и тут же, не дожидаясь, пока ученики вразнобой ответят на приветствие, обернулся к доске, взял мел и написал красивым почерком:

Nieder mit Faschismus!

Васька уважал Григория Ивановича — что-то родственное чувствовал он в нем: Григорий Иванович умел и пошутить, и пожурить как-то не обидно, а так, будто приподнимал ученика до своего уровня. И еще Васька чувствовал в нем какую-то большую скрытую силу, огромные знания, уверенность в себе — такого человека Васька готов любить, подражать ему, идти за ним в огонь и в воду. К тому же вокруг Григория Ивановича прочно витала легенда, будто он, по национальности немец и настоящий антифашист, сумел убежать в Советский Союз из гитлеровского концлагеря.

Васька верил в эту легенду и сам рассказывал ее другим шепотом и под большим секретом, как великую тайну, чтобы не услышали фашисты и не сделали бы какой-нибудь беды Григорию Ивановичу.

Черман в школе по совместительству был еще и библиотекарем и давал Ваське всегда очень интересные книжки. Это тоже удивляло его и покоряло: откуда Григорий Иванович знает, какие книжки любит Васька, и почему он к нему так добр? Всякий раз снабдит Ваську такой книжкой, что, прочитав ее, плакать хочется и хочется быть лучше.

Как-то увидел Васька у старших ребят книжку французского писателя Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера Фобласа», наслушался восклицаний об этом романе, загорелось прочитать его. Попросил — не

дали, еще и обсмеяли. «Иди,— говорят,— в библиотеку к Черному, попроси, может, даст».

Черный было прозвище Григория Ивановича, в котором школьные острьяки объединили фамилию и цвет волос учителя. Сердился Васька на тех, кто называл так Григория Ивановича, да разве на каждый роток накинешь платок? Тем более старшеклассники, они заносчивые, циники. Это, наверное, оттого, думал Васька, что их поколотить некому...

Пошел Васька в библиотеку, выждал, когда Григорий Иванович один остался за стойкой, подошел и, запинаясь, выговорил трудную фамилию писателя и длинное название его книги. Григорий Иванович выслушал Ваську, с минуту что-то подумал, словно вспоминал, на какой полке стоит книга, сказал:

— В нашей библиотеке такой книги нет. Что-то я ее не встречал. А ты где о ней слышал?

— У ребят видел.

— Может быть... Это старая книга... Да и зачем она тебе? Вот я тебе дам книгу!..— И он положил на стойку толстый в синем переплете том. Васька нехотя взглянул на нее, прочитал: «Граф Монте-Кристо». «Какая-нибудь скушица, наверное...» — подумал Васька.

— Не читал?

Васька покрутил головой.

— Возьми. Не пожалеешь. Гораздо лучше, чем «Похождения Фобласа».

Васька нехотя взял книгу: заранее знал, что читать ее он все равно не будет. Дома небрежно бросил книгу на стол. Так бы, наверное, она и пролежала свои десять дней, если бы не Разумовский. Увидел вечером, схватил, стал нянчить ее в руках, как птенца. Большими рыжими, в волосах, пальцами аккуратно перелистывал страницы, нежные слова приговаривал:

— Ай, прелесть какая! Сколько лет я ее в руках не держал! — И стал читать вслух.

Книга захватила слушателей, особенно Ваську. Зауважал после этого он Григория Ивановича еще больше. Когда принес книгу, виновато, потупясь, сказал на вопрос учителя:

— Понравилась. Очень... Еще такую дайте.

— Есть продолжение этой истории, но в нашей библиотеке этих книг нет. Как появятся, я тебе скажу. Книг



же интересных много — подберем! — И он дал Ваське «Как закалялась сталь».

А потом были «Принц и нищий», «Том Сойер», «Ленька Пантелеев», «Без семьи», «Всадник без головы»... Ай, какие книги! Откуда только Григорий Иванович знал о них?..

Nider mit Faschismus!

Написал, стукнул мелом — точку поставил, сказал громко:

— Гурин, переведи.

Оба Гурины — Васька и Никита — вскочили одновременно. Никита поглядывал на Ваську, хотел, чтобы тот скорее начал переводить, потому что сам он этой фразы осилить не мог. Васька тоже не знал перевода и надеялся, что вызов относился к Никите.

— Гурин Василий, — уточнил Григорий Иванович, и Васька начал рассуждать вслух:

— Фашизм... mit — с... с фашизмом... Nieder...

— Дословный перевод здесь не годится, — сказал Григорий Иванович. — Эта фраза переводится так: «Долой фашизм!» — И он прочитал это с таким чувством, что у Васьки по спине пробежали мурашки. — Nieder mit Faschismus! — И поднял правую руку, сжатую в кулак. — Сядь, Гурин. А теперь споем — повторим «Интернационал», — Григорий Иванович запел торжественно, громко:

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,  
Die stets man noch zum Hungern zwingt!  
Das Recht wie Glut im Kraterherde  
Nun mit Macht zum Durchbruch dringt.

Голос у Григория Ивановича сильный, рот открывал он широко, не стыдясь, пел вдохновенно, увлекал за собой учеников. Васька смотрел на учителя, надвигающийся его большой кадык и тоже пел с азартом, так, что у самого от переполненности чувств на глазах слезы выступили и в горле запершило.

Григорий Иванович хорошо угадал настроение ребят.

В клубе кино и танцы были отменены. В переполненном зале шел траурный митинг. В зал пробиться было невозможно, и Васька полез к Николаю в кинобудку. Николай

сидел перед аппаратом на табуретке, думал о чем-то и в такт своим думам двигал бровями и шевелил губами. Васька глазами спросил у него, что случилось, но тот ничего не ответил, только качнул головой и заглянул через окошко в зал. Потом подрегулировал угли и пришлось ходить по кинобудке взад-вперед, заложив руки за спину.

«Кино пускает, что ли? — удивился Васька. — А мотор не работает...» Он подошел к аппарату, заглянул в зал и понял всю Николаеву механику. Оказывается, Николай мощным лучом проекционного аппарата подсвечивал большой портрет Кирова на сцене. Из-за этого луча Васька не сразу рассмотрел, кто сидит в президиуме за красным столом. Узнал только Степанова Ивана Егоровича, Полянского — директора кирпичного завода — да директора школы. За трибуной стоял Васькин любимец — председатель райсовета Глазунов Дмитрий.

Николай толкнул Ваську в плечо, спросил:

— Побудешь здесь? Я пойду туда, — кивнул он в зал, — послушаю. Присматривай за углями, время от времени подкручивай вот этот винт.

— Знаю, — обрадовался Васька доверию, но происходящее в зале притягивало его сильнее, и он тут же снова прильнул к окошку. Набитый до отказа людьми клуб казался пустым — такая тишина стояла в зале: ни звука, ни шороха, только поднятые вверх головы и глаза, устремленные на оратора.

Глазунов говорил горячо, неистово. Он то бил кулаком по трибуне, то энергично взмахивал рукой и показывал куда-то вперед и в сторону, то вдруг отбрасывал ее назад и грозил кому-то длинным упругим пальцем. Прямые пряди волос спадали ему на глаза, и он то и дело резкими рывками головы отбрасывал их назад; под худыми, впалыми щеками бегали тугие желваки.

— На Западе и на Востоке — всюду империализм поднимает голову против единственного в мире социалистического государства... Враг не дремлет. Кулаки, разные прихвостни недобитого капитала, мракобесы, — и он вытянул руку в сторону церкви, — все это враги рабочих и крестьян... Враги террором хотят запугать нас. Но мы не из пугливых! На белый террор ответим красным террором, на один удар — тройным ударом! Враг метит в самое сердце нашей партии — в ее вождей... Но убийцы жестоко

просчитались! Мы еще крепче сплотимся вокруг партии, и будем охранять жизнь вождей, как знамя на поле боя!

Зажигательная речь Глазунова будоражила Васькино воображение, он весь кипел гневом к врагам народа и жаждал действий. Но действий никаких не было, и его негодование не находило выхода. Поэтому после митинга он бежал домой с такой поспешностью, словно там его ждало что-то необычное. По крайней мере, он принесет домашним эту страшную новость, и тут уж главным оратором будет он, Васька!

Но не успел Васька переступить порог, мать напустилась на него с бранью:

— Где тебя носит по ночам? Вся душою изболелась! Вон каких людей, с охраною, и то не уберегли! А тебя ночью прихлопнуть — раз плюнуть, как муху. Что они, разбираться будут, кто ты есть такой? Попадешься под руку, и все... Опять в клубе был, паршивец?

— В клубе! А что? — с вызовом ответил Васька. — Кирова убили.

— То-то и оно. А ты шляешься где-то... Вон, говорят, война будет.

— Кто говорит? Какая война?

— Тише вы, — шикнула на них Танька, и мать, приложив палец к губам, подошла к двери, за которой митинговали вербованные.

Больше всех горячился Аркадий. Он стоял у своей койки и доказывал Разумовскому:

— Если будет доказано, что убийца подослан определенным государством, может вспыхнуть война. Потому что безнаказанным такое оставлять нельзя! Престиж государства...

— Престиж государства — это верно, — спокойно согласился Разумовский и тут же стал возражать: — Но только войну объявлять даже из-за такого серьезного повода мы не будем. В тебе, Аркадий, говорит молодость, горячность, а мудрость государственная где? Нам война сейчас очень некстати.

— Но если нам навяжут ее, мы...

— Если навяжут — куда денешься! Тут надо, Аркаша, спокойно, трезво и мудро рассудить. А вдруг этот выстрел в Кирова — провокация: авось нервы не выдержат и мы дернем за курок. С войной шутить нельзя.

— «Нельзя», «нельзя»! — тряс своей густой шевелюрой Аркадий. — Эта осторожность хуже пораженчества. Я понимаю: мы войны не хотим, но если полезут...

— «Если полезут»... А они не лезут. Они провоцируют нас первыми начать ее. Чтобы выставить нас таким образом в мировом общественном мнении агрессорами. — Разумовский говорил так уверенно, будто ему все досконально известно. Он даже не смотрел на кипятившегося своего собеседника, и это еще больше распаляло Аркадия.

— Плевать нам на мировое общественное мнение! — кричал он. — Мало ли что будут в буржуазных странах о нас говорить и думать! Буржуи...

— Но в этих странах не только буржуи. Там есть рабочие, коммунисты. Их мнение, их поддержка для нас не безразличны. — Разумовский поднял указательный палец и слегка нагнул голову, как профессор, изрекающий истину.

Аркадий замаялся, занервничал, не зная, что ответить, засуетился, стал поправлять подушку.

Васька в душе не был согласен с Разумовским, его спокойствие, рассудительность, будто случилось что-то рядовое, обыкновенное, выводили Ваську из себя. Возбужденный митингом и особенно речью Глазунова, Васька быстро пришел на выручку Аркадию.

— А если это внутренние враги — кулаки, подкулачники и церковники-мракобесы? — бросил Васька Разумовскому.

Аркадий быстро воспрянул, заулыбался:

— Да! Что ты на это скажешь?

— А ты? — Разумовский прищурил глаза.

— Думаю, может вспыхнуть гражданская война. Может, это разветвленный заговор подпольной реакции. А? Васька правильно говорит.

Мать посмотрела на Ваську, качнула удивленно головой: «Гляди ты, и он туда же язык тянет. Соображает чего-то».

— Опять война! — усмехнулся Разумовский. — А если это выстрел одиночки, фанатика, уголовника какого-нибудь?

— Не может быть, — отверг Аркадий такую версию. — Уголовника в Смольный не допустят. Это стрелял замаскированный враг. Тут все не так просто!

— Войны гражданской тоже не будет,— твердо сказал Разумовский.

— Меня удивляет, почему ты все время умаляешь значение этого убийства, значение потери Кирова для партии? — спросил Аркадий и даже подошел поближе к Разумовскому, чтобы лучше его рассмотреть.

— На демагогию не скатывайся, комсорг,— опять поднял палец Разумовский.— Этим меня не возьмешь. Случившегося я не умаляю. Но я знаю, что такое гражданская война, и говорю: не будет ее. Вспышки какие-то местного значения, бунты, спровоцированные в каких-то местах, могут случиться, но в войну они не выльются. Война гражданская — это война классовая. Такая война у нас недавно прошла, всего десять — двенадцать лет тому назад. Война может быть сейчас только одна — интервенция капиталистических держав против нас. Но повода для этого мы будем стараться не давать. Нам мир нужен: мы же строимся! Ты и вы все,— обвел он рукой комнату,— зачем приехали в Донбасс? Если бы дело шло к войне, вы бы сейчас были в армии. Надо знать внутреннюю обстановку и международную.

— Профессор! — хлопнул себя по бокам Аркадий.— И откуда ты все это знаешь?

— Из газет. Читаю газеты, думаю, анализирую, сопоставляю факты. Вот возьми,— Разумовский взял с койки «Правду», протянул Аркадию.— Советую и тебе читать.

— Так я ж тоже ее читаю,— повел плечами Аркадий, беря газету. Он глядел на нее, будто видел впервые.— Я ж читаю!

— Читать можно по-разному. Политика — штука тонкая, тут далеко не все пишется прямо, надо уметь читать между строк. Слышал такое?

— Слышал... — Аркадий медленно пошел к своей койке, на ходу разворачивая газету.— Нарком. Ей-богу, тебе бы, Разумовский, быть наркомом иностранных дел.

Все заулыбались, Разумовский тоже слегка улыбнулся, и сделал он это как-то загадочно, будто должность наркома для него пройденный этап.

— Вояки,— сказал он, глядя на Ваську.— Это, конечно, хорошо — патриотизм. Но раньше времени горячку пороть нельзя.— Обратился к Аркадию: — Видишь, до чего

твои воинственные речи могут довести? Хозяйка побледнела, а Грицко уже чемодан собирает — в деревню бежать собирается. Панику посеял ты, Аркаша!

Все оглянулись на Грицко. Здоровенный детина, стриженный «под бокс», не проронивший ни слова за все время спора, сидел на койке перед раскрытым сундуком и укладывал вещи. Изредка, прислушиваясь к спорившим, он отвлекался от своего занятия, что-то взвешивал в своем мозгу, сдвигая брови, и снова укладывал вещи.

— Ты что же, в самом деле убежать задумал в свое Гуляй-Поле? — удивился Аркадий.

— А шо? Пойду до батька — там у сели спокойниш...

— Вот махновец!

— Я не махновец, — спокойно сказал Грицко.

— Как же не махновец? Служил же у него?

— Ни. Я был тогда ще малым хлопцем.

— Ну, отец.

— И батько не служив. Он только в обози был, Махно мобилизовав коняку и батьку.

Грицко говорил медленно, слова отрывал от себя с трудом, будто загустевшую патоку. Шутки он не понимал, на насмешки не обижался, на все отвечал ровно и спокойно.

— Да, дела! — закрутил головой Аркадий. — Ты погоди собирать-то сундук, слышал, что Разумовский говорил? Может, он и прав. А ты, Валентин?

Валентин ко всему был равнодушен. Лежал читал книгу. Услышал свое имя, приподнялся, подтянул под себя усохшую ногу, руками подвернул ее поудобнее и ничего не сказал. Отложил книгу, потянулся за мандолиной, стал тренировать, настраивая ее. Настроив, стал тихо наигрывать, импровизируя.

Мать тронула Ваську, кивнула:

— Иди ешь. — И первой отошла от двери, облегченно вздохнув. — Хоть бы войны не было...

Шестого декабря, еле сдерживая слезы, Васька стоял у репродуктора и слушал репортаж о похоронах С. М. Кирова в Москве на Красной площади. Каждый вздох траурной музыки, каждое слово диктора отзывалось в Васькином сердце глубокой скорбью.

«Урну с прахом товарища Сергея Мироновича Киро-

ва, — медленно вещал диктор, — несут к Кремлевской стене товарищ Сталин и его соратники...»

А музыка, траурная, печальная, словно плакала навзрыд, вздыхала тяжело и скорбно. Потом вдруг все затихло, и через какое-то время послышались залпы пушек — салют. Потом опять тишина и вдруг — «Интернационал». Васька не выдержал, слезы крупными градинами покатались по щекам. Он хотел их смахнуть, но не посмел: все стояли по команде «Смирно», и Васька не решился нарушить строй. А слезы катились, катились, в горле першило: жалко Кирова, обидно, что он никак не может отомстить за него...

### «ЗАИВЛЕНИЕ»

Уснули все, не спит только Васька, ворочается на скрипучей койке, думает одно, думает другое. О своей жизни думает — неудачник он, нет ему счастья: революция и гражданская война прошли без него — опоздал родиться. Даже челюскинцев спасали без него. В Красную Армию пошел бы служить, на границу, врагов ловить, — не возьмут: года не вышли. Его даже в военную игру не принимают — мал. А школьные комсомольцы играют в войну. Щеголяют желтыми нарукавными нашивками и красными петлицами на воротничках. У некоторых в петлицах поблескивают настоящие армейские эмалевые треугольнички и квадратики. Командиры! Разда два в месяц военрук вооружает их малокалиберными винтовками, оделяет патронами, вручает им мишени — круглые, расчерченные спиралевидными кольцами, и фанерные, с по грудь нарисованным фашистом в зеленой каске, — и ведет в кучугуры стрелять.

Таких, как Васька, в эти игры, конечно, не принимают.

Жаль, случай подходящий никак не подвернется, а то бы он показал им, на что способен. Вот если бы сейчас в поселке появились белые или Антанта высадилась с самолетов, Васька первым побежал бы бить их, гадов. Залез бы на церковную колокольню и всех до одного покосил бы из пулемета...

Приподнялся, прислушался. Храпит, будто мотоцикл заводят, Разумовский. Храпит могуче и страшно. Поначалу

пугал всех, потом привыкли... Вот будто завелся мотор, заработал и вдруг захлебнулся, умолк. Долго молчал, словно умер. Но он не умер — силу набирает. Вдруг во всю мощь — хыр-хыр-хыр... Ему вторит Охрименко — у этого «песня» простая, как у воробья, — на два звука: на вдох — хр-р-р, на выдох — фр-р-р. Валентину, как всегда, очевидно, снится страшный сон: он то и дело кричит во сне писклявым голосом: «А-а-а!..» Сам себя разбудит, перевернется и снова: «А-а-а!..» Прямо замучили его кошмары.

Воеет в трубе ветер, шумит за окном непогода, а Антанты не слышно — крепко ее разбили, теперь не очухается...

На последнем уроке рисования Васька вырвал, не пожалел, из тетради плотный лист бумаги и написал:

### *Заявление*

*Прошу принять меня в комсомол так как я хочу отомстить врагам за смерть товарища С. М. Кирова.*

*В. К. Гурин*

Написал, скрутил в трубочку и после звонка понес старшей пионервожатой. В учительскую войти не решился, долго топтался в коридоре, ждал, когда она выйдет. Дождался, запинаясь, окликнул:

— Галина Васильевна!

Высокая, худая, в зеленой косынке, узел которой съехал с затылка на правое ухо, Ребрина взглянула на Ваську, поморщилась:

— Ну что там еще случилось?

— Я решил... Вот... Можно мне?..—Он протянул ей свернутое в трубочку заявление.

— Это что еще за свиток? — Она брезгливо взяла двумя пальцами трубочку и стала вертеть ее.— А?

— А вы посмотрите...

Правая рука ее была занята портфелем, и она не могла раскрутить «свиток». Наконец догадалась — поставила портфель между ног на пол, растянула двумя руками Васькино прошение. Прочитала, и тонкие губы ее повело на сторону — скривила рот:

— Опять ты, Гурин, глупостями занимаешься!

— Какими глупостями? — вспыхнул Васька.— В ком-



сомол хочу! — Глаза его широко раскрылись, он рванул заявление, скомкал, сунул в карман.

— Гурин, как ты себя ведешь?! — взвизгнула Ребрина. — Ты соображаешь, с кем разговариваешь?

— Я в райком пойду, — бросил ей Васька и повернулся уходить.

— Подожди!.. Гурин, подожди, кому сказала? Иди сюда. — Она взяла его за рукав, потянула к окну. — Ты почему себя так ведешь?

— Как?

— А вот так. Грубишь.

— Я не грублю.

— Опять! Стой, стой! Рано еще в комсомол. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать... — Васька с лихвой округлил себе годы.

— Ну, вот. Не положено. По уставу не положено. А потом, чтобы называться комсомольцем, надо это звание заслужить.

— Как? — Васька недоверчиво взглянул на вожатую.

— А так. Учиться надо хорошо. В коротком заявлении ошибок сколько наделал. У тебя какие отметки?

— «Неудов» нема.

— Одни «удики»? И потом... Надо себя чем-то проявить... Общественной работой какой-нибудь.

— Какой?

— Ну, какой. Вот, к примеру, у нас организуется кружок воинствующих безбожников...

«Воинственных», — подумал Васька. — Это интересно: там, наверное, и стрелять будут, раз кружок воинственный».

— А что там делать? — заинтересовался.

— Скажут. Скоро рождество наступает, многие верующие родители втягивают в это дело и ребят. Наверное, некоторые пионеры христославить собираются. Свиной сейчас вон вовсю режут. Надо с этим бороться.

— С чем? — не понял Васька. — Чтоб свиной не резали?

— С религией бороться! — рассердилась Ребрина. — Чтобы ребята в церковь не ходили, не христославили... Сам, наверное, тоже христославишь?

Васька промолчал: года два назад было дело, ходил. Да

и то своих только обошел: соседей самых близких, тетку Грünü, бабушку... И не думал он, что это как-то с верой в бога связано. Просто красиво было — в домах у всех нарядно, в «святых» углах лампадки горели. У многих пахло вкусными пирогами, мясом, салом. Взрослые ребята со звездой ходили большой ватагой. А он вдвоем с Алешкой. Утречком рано пошли, начали с Карпа: «Пустите похристославить?» — «Заходите!» Зашли. Васька слова христославия все запомнил. С трудом, правда, потому что непонятные они какие-то, а Алешка ничего не знал, только подтягивал вслед за братом.

— Рождествовое христобожена-а-аш... — выпаливал Васька без передыху первую строчку.

Алешка все это время смотрел на брата, готовый помочь ему, но, не зная слов, лишь кивал головой с открытым ртом. И только в конце фразы подхватывал:

— ...на-а-аш...

— Возсияй мировой светразу-у-ма... — выпаливал Васька вторую строчку и делал глубокий вдох.

— ...азу-у-ма... — вторил ему Алешка и тоже вздыхал.

Одаривали кто чем: давали пирожки, конфеты, деньги. Алешка конфетам радовался, а Ваське больше нравились деньги: за них можно пугач купить или переводные картинки у тряпичника.

Карпо дал тогда Ваське двадцать копеек, Родион — тридцать медяками, а дядя Иван Глазунов, материн брат, целый рубль отвалил — большой, желтый и совсем новый, хрустел даже еще. Жалко было сгибать.

Радостное воспоминание осталось у Васьки от того рождества, не думал он, что это позорно. Все мальчишки христославят... Но Васька в последние годы уже не ходит. То трудный год был, мать не пустила, сказала: «Какое оно христославие — у всех голодно. Сидите дома, не дразните собак». А прошлой зимой Васька сам не пошел, застенялся чего-то. Алешка один ходил. Танюшка колядовала с Карповой Клавкой. Теперь он гордо хотел сказать Ребриной, что давно бросил это дело. Но не успел, Ребрина опередила его.

— Вот видишь? — качнула она головой. — А еще в комсомол хочешь вступать. Подумай сначала как следует...

«Подумай»... Думать Ваське нечего, ему и так все ясно: не любит его почему-то Ребриха — ничего не доверяет,

никуда не пускает, только и знает замечания разные делать.

Шел домой Васька сердитый, ежился от пронизывающего ветра, по замерзшим лужам не прокатывался, обходил их стороной, будто кому-то назло. Достал из кармана скомканное заявление, швырнул на дорогу. Ветер обрадовался, подхватил его и покатил, словно котенок, вдоль по улице.

«А вдруг поднимет кто да прочитает ошибки!» — спохватился Васька и пустился догонять заявление. На припорошенном снежном ледке поскользнулся, не удержался и грохнулся мягким местом на твердую кочку. Хорошо, затылком не достал дорогу — пожалуй, не поднялся бы. Встал, захромал, слезы горло заточили — не от боли, от обиды.

Увидел: заявление в кустах запуталось, — подошел, взял его (и бежать не надо было), развернул. «Ошибки нашла какие-то». Прочитал: «Заивление». Ну? Где ж тут ошибка? По ее: «Заевление»? Хм... А может, «Заявление»? И он стал изменять слово, коверкать его: «Заива... заева... заява... заява...» Это, похоже, по-украински. И все-таки, наверное, надо «заявление»...

Васька изорвал на мелкие кусочки лист, пустил обрывки по ветру.

Пришел домой, а дома всюду идет предрождественская суета.

Мать целый день потратила, обе комнаты выбелила — и у вербованных, и у себя. Когда Васька вошел, она наводила поясок на плите, обводила рогожной щеткой огненную пасть плиты. Оглянулась на Ваську:

— Ой, ой! Не успеваю, уже мужики собираются. Скоро и квартиранты, значит, придут. Вроде трудовой поезд прокричал уже. А я думаю: «Да нет, показалось». — И сама себя стала успокаивать. — Ну, ничего, успею. Осталась одна земля, и то только в нашей комнате.

Алешка беспрерывно бубнил слова христославия. Смысл их ему был совсем непонятен, и он торопливо, чтобы не забыть, на одном выдохе, выкрикивал:

— Рождествовоехристебоженаш... — и надолго останавливался, сиюсь вспомнить следующую фразу. Поводил сконфуженно глазами, пока мать не подсказывала:

— Возсияй...

Он морщился — не надо, мол, сам вспомню — и тут же вслед за матерью повторял:

— Возсияй... — и снова останавливался.

Танька хвасталась своей памятью — тараторила колядку без запинки с начала до конца:

Колядка-колядница,  
Хорошая с маком липяница,  
А что тетка напекла,  
Неся сюда, до окна.  
От стола — до порога,  
Чтоб ваша хозяйка была черноброва...

— Я могу ее с закрытыми глазами туда и обратно, сзади наперед прочитать.

— Да... Это для маленьких колядка, — сердился Алешка. — А большую и не знаешь.

— Нет, знаю! — И Танька затягивала нараспев:

А у царя во дворе стоят три престола,  
Радуйся, ой радуйся раю — сыне божий родился...

— Большая, а дура, — оборвал ее Васька. — А еще пионерка... Тот хоть маленький, — кивнул он на братишку, — в первый класс только пошел, а ты-то?..

— Во! — удивилась Танька. — Гляньте на него! — Она сжала крепко губы и широко раскрыла глаза — изобразила крайнее удивление. — Безбожник объявился! А сам?

— Сам! — обиделся Васька. — Когда то было?..

Мать услышала спор детей, бросила работу, выпрямилась.

— Бога не трогайте, — сказала она строго. — Его никто не видел и никто не знает, есть он или нет. Может, и есть, и, может, все видит и все слышит. Кто-то ж все это сделал или как? — Она развела вокруг себя руками.

— Природа, — быстро сказал Васька.

— А природу кто придумал? А звезды? — не унималась мать.

— Звезды... Звезды — то миры, а небо — бесконечность. Вон Разумовский рассказывал же...

— А те миры и ту бесконечность тоже кому-то надо сделать? Может, за бесконечностью он и живет. Не трогайте его, раз не знаете, не берите грех на душу, не накликайте беды, ее и так у нас хватает. И Разумовский твой — рази он был там? Книжки читал, а книжки разное пишут.

Васька задумался, не стал спорить: в самом деле — кто знает, что там, за этими звездами, и откуда они взялись...

А еще через день Васька вместе с Карповыми ребятишками и своими — Алешкой и Танюшкой — смотрел, как Карпо смолил кабана, и с удовольствием грыз вместе со всеми сначала хрустящий свиной хвостик, а потом такие же хрустящие свиные уши. Карпо для них не жалел ничего. Будто знал, когда у ребят терпение кончалось, — брал на вилы пучочек соломы, потом на них же подхватывал дымящийся комочек золы и держал на ветру, пока солома не вспыхивала пламенем. А когда солома воспламенялась, подносил ее к свиному уху и пропекал его как следует. Потом встромлял вилы в мерзлую землю, доставал из-за голенища нож и принимался скоблить. Очистит добела, взглянет на ребят, подмигнет — не догадываетесь, мол, для кого стараюсь? — и отхватывал по самый череп хрящеватое ухо и кидал его ребятам:

— Делите поровну!

Никита на правах хозяина делил ухо на шесть долей — никто не был в обиде, грызли с удовольствием, будто вкуснее никогда ничего не ели.

А тетка Ульяна, видя такое, ругала Карпа:

— Глянь! Я думала, он делом занимается — просмаливает голову как следует, а он вухо детям поджаривал!

— А это не дело? — слабо оправдывался Карпо.

— Дак кончать же надо скорее. День на исходе, когда ж мы управимся? Унутренности надо до дела довести? Или как ты себе это думаешь?

— Успеем.

— «Успеем»! — передразнивала Ульяна. — Ты глянь — всего поросенка обкорнал: и сзади и спереду. А рази они наедятся тем? Вот кончим, наварю — всем хватит...

— Да рази этим наедаются? Это ж забава ребятам, — развел руками Карпо.

Тетка хотела еще что-то сказать, но Карпо махнул досадливо ножом:

— Ах, ладно... Не галди... Иди лучше неси горячую воду, мыть будем. Ото скорее дело будет.

С поросенком управились поздно вечером. Васькина мать помогала кишки «разматывать», поэтому тетка

Ульяна всех их пригласила на свежатину. Взрослые сидели за столом в горнице, а ребятам соорудили отдельный стол на кухне.

Ел Васька душистое мясо с картошкой и думал — вот бы каждый день так обедать! Да только не бывать этому, так, наверное, одни цари живут: по три раза в день едят мясо. И царь Николашка тоже, наверное, каждый день ел мясо с салом...

А про рождество Васька забыл. Только уже дома, когда спать ложились, мать напомнила. Она развернула сверток, полюбовалась свежей печенкой и кусочком сала:

— Во, и у нас на праздник будут пирожочки... Тетка Ульяна дала, спасибо ей. Разговеемся, как люди.— И понесла в чулан.

Васька ничего не сказал. Сытно было, хорошо и дремотно. Уснул, не успев поразмыслить над материнскими словами.

## ВОИНСТВЕННЫЙ БЕЗБОЖНИК

Как ни обходил Васька стороной назло Ребриной кружок безбожников, как ни воротил от него нос — и в музыкальный записывался, и в «Умелые руки», — а все равно попал в него. Видно, правду говорят: свою судьбу ни объедешь, ни обойдешь...

Случайно забрел он к безбожникам да и увяз там.

Приближались весенние церковные праздники, и кружковцы все чаще и чаще выносили свою работу «на люди» — устраивали различные разоблачительные вечера. На один такой вечер, когда они под руководством учителя химии рассекречивали поповские хитрости с превращением воды в молоко и в вино, попал и Васька. Во все глаза смотрел он на восьмиклассницу Майю Хавикову — дочку химика, как она поднимала вверх, словно фокусница, два стакана с прозрачными жидкостями и тонкими струйками сливала их в одну колбу. Смешиваясь, две струйки превращались в темно-красное «вино». Потом она брала другие два стакана и снова лила «воду» двумя струйками в один сосуд. На этот раз смесь давала «молоко».

— Вот это да! — не выдержал Васька. — А попробовать можно?

Учитель улыбнулся, а Ребрина встала и строго предупредила:

— Гурин, оставь при себе свои вопросы и не пытайся сорвать вечер.

— Я ж не вина прошу, а молока.— Васька явно озорничал.

— Гу-ри-н!.. Предупреждаю!

Учитель сделал знак Ребриной, чтобы она успокоилась, пояснил:

— Конечно, ни «вино», ни «молоко» это пить нельзя.— И шепнул дочери: — Убери подальше, а то еще кто-нибудь глотнет...— И вслух: — Но вы видите: внешне это получается очень убедительно. Я понимаю, что вас такие фокусы не поразили, так как вы знаете: это обыкновенная химия. А вот ваших бабушек подобными опытами попы еще очень даже здорово дурачили. Или истории с плачущими иконами. Слышали, наверное? Так вот. Там использовались уже не законы химии, а законы физики. Сейчас мы вам продемонстрируем такое чудо. Ваня, пожалуйста.

Из-за занавески вышел Иван Костин — ученик седьмого «Б». Бровастый, суровый неулыба, Иван этот славился как самый сильный мальчишка в школе. У него были не по росту жутко огромные кулаки — они, точно кувалды, оттягивали ему руки по швам. Иван не знал, куда девать свою силу, и постоянно вызывал ребят на борьбу с ним. Но таких охотников находилось мало. Любимая шутка его была — подойти сзади, легонько ударить по плечу и сказать:

— Привет, кореш!

«Кореш» от такого «привета» сразу приседал, а Иван смеялся:

— Ну вот, и поздороваться нельзя!..

Васька очень удивился, увидев Ивана в роли фокусника-безбожника. Были бы это соревнования по боксу — тогда его присутствие, наверное, было бы кстати.

Не глядя на зрителей, Иван взялся двумя руками за углы и легко вытащил из-за занавески квадратный стол, на котором стояла икона. Большая, метра полтора высотой, божья мать с младенцем была нарисована самими кружковцами — неумело, и потому выглядела она немного карикатурно. Особенно выделялись у нее глаза — широкие,

удивленные. Потом Васька понял, что это было сделано нарочно — для удобства опыта.

У Ивана с самого начала с опытом что-то не заладилось. Он возился за иконой с какими-то причиндалами и время от времени выбегал на авансцену, заглядывал божьей матери в глаза — смотрел, не плачет ли она. Икона не плакала, и Иван, пожимая недоуменно плечами, снова скрывался за иконой.

— Не получается? — спросил учитель. — Ты не торопись, проверь все спокойно. Посмотри, есть ли вода в груше?

Иван, высунув голову, выслушал учителя и скрылся, звякнув чем-то, и крикнул радостно:

— Точно! Вот гадство!.. Куда ж она делась? — Он схватил со стола учителя графин с водой и снова скрылся.

Не прошло и минуты, как он, красный и взлохмаченный, появился перед зрителями и встал возле иконы с правой стороны, готовый к началу фокуса. Одной рукой он что-то держал за спиной божьей матери, а другой беспокойно теребил пряжку на своих брюках.

— Можно начинать?

Учитель кивнул.

Не меняя позы, Иван нажал за спиной иконы резиновую грушу, и из глаз божьей матери брызнули две длинные тугие струйки воды, обильно оросив зрителей первых рядов. Девчонки завизжали, вскочили с мест, стали отряхиваться.

Пытаясь исправить свой механизм, Иван юркнул за икону и время от времени поливал зрителей «слезами» чудотворной, пока учитель не пришел ему на помощь и не прекратил опыт.

В зале стоял хохот, больше всех смеялся Васька. Это ему напомнило цирк, который года полтора тому назад выступал в ихнем клубе. Васька впервые тогда видел цирк, и поэтому он запомнился ему на всю жизнь. Несмотря на особую бдительность Саввича, Васька все-таки проскользнул в зал и сидел на полу у самой сцены. Из всей программы больше всего нравились ему клоуны: он так смеялся, что даже живот заболел. Особенно один рассмешил его — рыжий Бим: нос большой, красный, вокруг глаз белые круги, одет он был в широченный костюм — одна



штанина синяя, другая красная. «Бим! Здравстуй!» — «Здравстуй, Бом!» — «Где ты был?» — «На свидании». — «Ты? На свидании?» — «Да! Девушку встретил красивую-красивую! Аж мурашки по спине бегают!» — «Отодвинься от меня!» — «Почему?» — «А то твои мурашки на меня перепоползут».

Васька от смеха покатывался по полу — очень ему нравилась острота рыжего.

А клоуны продолжали: «Бим!» — «Что, Бом?» — «Я думаю, тебе надо жениться». — «Нет, я не хочу жениться, я хочу учиться!» — «А я говорю — жениться надо!» — «Не хочу-у же-е-ни-ться!..» — Рыжий начал истошным голосом реветь, будто его собирались резать. Схватившись за живот, плача, он бегал по краю сцены, а из глаз его длинными струями, как из фонтана, били «слезы» и поливали зрителей. Особенно досталось мальчишкам, которые сидели у сцены. Васька вытирал с лица Бимовы «слезы» и смеялся. Смеялся над переиначенными словами Митрофанушки, смеялся таким обильным слезам рыжего. Смеялся и удивлялся — как все искусно сделано: ведь никаких трубок не видно. Не выдавливал же из себя Бим всамделишные слезы? Только потом уже, много времени спустя, Николай Шляхов объяснил и даже показал ему, как это делается. Для этого он привез из города клоунскую маску — взял там напрокат, — и они долго играли ею — поливали друг друга «слезами». А когда надоело себя поливать, стали других «оплакивать». Брызнули на Ивана Егоровича. Тот принял шутку, улыбнулся, но от повторного опыта загородился рукой:

— Будет, будет...

Дошла очередь до Саввича. Подкараулил его Николай в коридоре, выскочил из двери и взревел:

— Дядя Саввич, пустите в кино! — И полились «слезы».

Саввич сначала оторопел, а потом пришел в себя и начал ругаться. Обиделся, кинулся на Николая, чуть маску не содрал с него. А обиделся больше всего от того, что неожиданно на него вышел Николай, перепугался Саввич чего-то.

— Но-но! — отстранялся от него Николай, вызывая к благоразумию. — Вещь казенная. Шуток не понимаешь? А еще в клубе работаешь.

После этого Николай отвез маску, сдал — от греха подальше.

Точно так, как из Бима тогда, теперь лились «слезы» из иконы.

— Конечно, — заговорил учитель, когда в зале успокоились. — У нас приспособление несовершенно. Но принцип вам ясен — с обратной стороны по трубкам подводится вода, и она капает из глаз, создавая полную иллюзию слез. Так происходит «чудо». Вопросы есть?

Васька поднял руку:

— А как же вон криничку — святой колодец — засыпали, а она снова открылась? И там на дне, говорят, иконку видели?

Криничка, о которой говорил Васька, находилась в буераке за поселком. Спустишься в глубокий овраг, и там она, выложенная белым песчаником, сверкает чистой, холодной и вкусной водой. Зимой вода в криничке не замерзает, а летом она такая холодная, что зубы ломит, как от мороженого. Бабы приходят сюда с бидончиками, ведрами — берут воду на стирку, на варено. Много стекается сюда и разного другого люда из дальних селений, наслышанных про святую воду, обладающую будто бы целебными свойствами. Старушки приходят сюда, как на посиделки, — придут, перекрестятся, попьют водички и не торопятся уходить, долго сидят на верху оврага, на зеленых лужайках, греются на солнышке и о чем-то судачат. Только к заходу солнца наберут в бутылки воды и расходятся. Они-то, эти старушки, и берегли криничку от мальчишек, которым нравилось почему-то то камень бросить в нее, то рукой залезть и поковыряться в самом ключе.

Заглянешь в эту криничку — вода в ней прозрачная, дно видно. А на дне песчинки шевелятся, будто живые — ключи бьют.

Вода из кринички выбегает через край песчаной кладки, которая обросла зеленой скользкой бородой.

Зимой, в самые лютые крещенские морозы, в какой-то из дней у кринички собирается масса народу — приходят из ближних и дальних сел, приезжают на лошадях. Ходят вокруг кринички по краю оврага поп с кадилом и какие-то дядьки с хоругвями — освящают воду. Потом голубей пускают. Весело, нарядно, торжественно. Васькина ба-

бушка называет этот праздник «ирдань», а мать — «иордань».

В прошлом году признали криничку рассадником заразы и решили закрыть ее. В больших количествах сюда стали приходить разные люди, пили воду прямо из кринички или брали ее в посудины и тут же невдалеке омывали себя — лечились.

Чтобы прекратить эту дикость, пригнали сюда с завода мужиков с лопатами и закопали криничку, засыпали ее землей, сровняли с краями оврага. Думали все — задушили ключ. А он через какое-то время вновь пробился. Правда, ему помог ливень — хлынул с градом, пошел поток с бугра и вымыл из оврага землю до дна. А там и ключ объявился. Криничка была заилена, но сердобольные старушки очистили ее от грязи, и ключ снова бьет, как и прежде, бежит прозрачная вода.

Ликовали старушки: что свято — то не убьешь. На радостях еще и слух пустили, будто, когда чистили, видели на дне кринички икону. И пошла снова в ход криничкина слава...

— Живой родник трудно убить, — сказал учитель. — Воде нужен выход. Не здесь, так в другом месте она все равно вышла б на поверхность. Все вы, наверное, знаете: недалеко от Ясиноватской посадки — Фонтанная улица. Там вода фонтаном из-под земли бьет. Это тоже ключ, родник, как и в криничке. Только здесь его заключили в трубу, дали выход. Вода бежит день и ночь, а ведь ее никто ниоткуда не качает. А попробуйте перекрыть трубу — вода обязательно найдет себе выход в другом месте. Напор подземных вод бывает очень велик.

Васька знает этот фонтан — недалеко от него тетя Груня живет. Вода в фонтане такая же вкусная и холодная, как и в криничке. Мать всегда завидует сестре — у нее хорошая вода под рукой, а матери приходится носить ее из школы или из той же кринички, а это не близко...

— Вы всерьез думаете, что Гурин этого не понимает? — перебила учителя Ребрина. — Что вы ему объясняете?..

— Во?.. — удивился Васька. — Откуда ж?..

— Ладно, — прекратила дискуссию Ребрина и обратилась к присутствующим: — Нам надо обсудить сейчас очень важный вопрос. Перед вами, товарищи безбожники, стоит большая задача. В этом году пасха совпадает

с праздником Первого мая. Поэтому нам будет трудно определить, кто какой праздник справляет. Вы должны усилить не только свою пропаганду, но и повысить бдительность. Надо выявить, кто из ваших друзей и близких собирается справлять пасху, и помешать им сделать это. Особенно нужно быть начеку накануне пасхи — когда пойдут святить куличи. Проследить, кто из учеников или их родителей пойдет в церковь, и всех их взять на заметку. Из числа старшеклассников выделим наблюдателей. Я, конечно, написала в Совнарком, чтобы в этом году празднование Первого мая по просьбе трудящихся перенесли на пятое мая, так как иначе трудно будет уследить и определить, кто во что верует и кто что празднует. Но если почему-либо перенесение праздника не произойдет, нам придется крепко потрудиться. Для этого будет разработан специальный план мероприятий...

Ребрина говорила уверенно, напористо, для каких-либо возражений не оставляла и маленькой щелочки. Кончив речь, она не стала ждать вопросов, тут же пошла за занавеску, где возился, исправляя неполадки в плачущем механизме иконы, Иван Костин, спросила его в упор:

— Костин, признавайся: это ты нарочно сделал? — Она кивнула на икону.

— Что сделал? — не понял тот.

— Это самое. — И она показала руками, как из глаз хлынула вода в два ручья.

— Нарочно? — усмехнулся Иван. — Придумают же!.. — Он покрутил головой.

— Да нет, не нарочно, — вступился за него учитель. — Испортилось у нас тут.

— Не защищайте, — сказала она учителю строго — и снова к Ивану: — А ты смотри: узнаю правду — даром тебе это не пройдет.

На следующем занятии уже никаких опытов не ставилось, была лекция о постах, о говенье, о скоромном и постном, о самоистязании фанатиков, об укрощении духа и плоти человеческих. Лекция эта Ваське тоже понравилась — он легко себе представил, какой вред здоровью наносят посты: человек долгое время постится, морит себя голодом, а потом придет время разговляться — набьет с голоду брюхо жирным да вкусным, желудок и расстроится от непривычки. Пронесет так, что и не рад еде будешь.

Это точно, такое Васька не раз на себе испытывал: поспеют у Карпа сливы, выберет момент — нахватает, наестся, а потом хоть не надевай штаны — только успевай бегать за сарай. И от яблок тоже бывало такое. А особенно от помидоров и от паслена.

Шел Васька домой и улыбался про себя, представляя, как страдает какой-то внук, которого набожная бабка перекормила жирным мясом. А бабка та — то ли его бабушка Марфа, то ли бабка Марина Симакова — набожная старуха... И само собой стало что-то сочиняться:

Знал бабку я Марину...

Больше он о ней ничего не мог сказать, а вторая строчка пришла откуда-то просто так:

Она толста была собой...

Симакова была вовсе не толста, но строка получилась такой стихотворной, что Васька решил пренебречь правдой и оставить ее. Третья строка началась быстро, но без конца:

На рождество сварила...

А что сварила — ничего из того, что знал Васька, со словом «Марина» не рифмовалось: ни мясо, ни курятина, ни говядина... И вдруг — свинина! Подставил — подходит, только строчка получилась длинной, неудобной для чтения. И тогда Васька вернулся снова к первой строке и заменил Симакову Марину своей бабушкой Марфуткой. Заменял, и дело пошло как по маслу:

Знал я бабушку Марфутку,  
Она толста была собой.  
На рождество сварила утку  
И сказала: «Заговляем, внучек мой...»

Стихи! Получились настоящие стихи! Васька подпрыгнул от радости, заторопился домой, записал на бумагу, перечитал — стихи! И полились слова, посыпались рифмы — начал быстро рождаться рассказ, как бабка и внук долго постились, а потом разговелись и оба захворали сильно, а помогли им врачи, но не поп.

В один вечер сочинил! Вот это да! На другой день показал учителю в кружке безбожников. Тот прочитал, улыбнулся своей загадочной улыбкой и отдал Ребриной:

Вожатая долго читала тетрадку, двигала бровями, постигая скрытый смысл Васькиной поэмы, перечитывала некоторые строки по нескольку раз, наконец подняла глаза, пристально посмотрела на Ваську:

— Сам сочинил?

— Сам,— сказал Васька и, почувствовав в ее вопросе недоверие, застеснялся, покраснел, поспешил добавить: — Вчера вечером...

— Удивительно,— качнула головой вожатая, и в глазах ее Васька заметил какое-то потепление и интерес к нему: — Ты что ж, поэтом хочешь стать?

— Нет, летчиком,— быстро ответил Васька, чтобы успокоить Ребрину.

— Это мы поместим в очередном номере нашей стенгазеты «Безбожник». — Ребрина потрясла тетрадкой. — Согласен?

— Ладно,— сказал Васька, провожая глазами свои стихи, которые записывались в ребринскую сумку.

В тот же вечер Васька сидел дома над чистой тетрадкой, отведенной им специально для стихов, и думал, о чем бы сочинить стих. Но, к сожалению, ничего не придумывалось. И тогда он стал вспоминать, о чем еще не писали поэты. Оказалось, они все уже воспели и Ваське ничего не оставили. Но это его не обескуражило, и он вывел красиво заголовок: «Зимнее утро».

Зимнее утро. Кругом тишина стоит.

Ни птица, ни зверь не летает...

Изредка лишь паровоз просвистит

Да Карпова собака залает...

Стихи Ваське понравились, хотя во второй строке было что-то явно не то. Но он не стал мучить себя поисками слова, понес сочинение матери — похвастаться. Та взглянула на тетрадь, спросила:

— Выучить задали?

— Не... Сам сочинил.

— Сам?! — удивилась мать и прочитала стихи. — Складно,— сказала она. — Молодец. Это такое задание вам дали — стишки сочинять? У нас такого не было.

— Да нет, я сам...

— Сам... — Мать повертела тетрадь. — Ты сначала уроки выучи, а потом уже сочиняй. Время тратишь на пустое: кому оно надо — про Карпову собаку написал. Интересно, што ли?

Васька отобрал у матери тетрадь и, огорченный неподдержкой, сунул ее в самый низ под стопку книг.

В числе других Ребрина назначила Ваську дежурным у церкви во время всенощной. Без каких-либо опознавательных знаков — без повязок — они пришли в церковь с видом обыкновенных прихожан и быстро смешались с толпой верующих, как и было заранее намечено планом Ребриной.

Васька с трудом протиснулся в середину, взмок весь и остановился, чтобы передохнуть. Задрав вверх голову, он по люстрам, как по звездам, определил направление и двинулся дальше. «Пропустите...» — то и дело шептал Васька в спины стоящих. Кто пропускал его, но большинство шикали на него, обзывали «хулюганом», если он слишком напористо продвигался вперед.

Пробравшись в первые ряды, Васька окинул стоявших — все незнакомые. Кругом горели свечи, сверкало золото в окладах икон и стоял приглушенный гул, шедший откуда-то сверху, из-под купола.

Алтарь от общего зала был отгорожен золоченой решеткой, калиточки в ней были закрыты. Закрыты и «царские врата» — служба еще не начиналась. Какие-то дядьки с благостными лицами, с приглаженными бородками и прилизанными волосами мягко ходили вдоль алтаря, поправляли свечи в подсвечниках, переговаривались вполголоса, будто при покойнике. Один из них заприметил Ваську, несколько раз взглянул на него, не выдержал, подошел к нему и прошептал на ухо:

— Ты с кем здесь, мальчик?

— А что? — Васька хотел обидеться на дядьку — маленький он, что ли, сам не может в церковь прийти? Но тут же сообразил: у всех в руках узелки с куличами, яйцами, творогом — святить принесли, а он стоит с пустыми руками, и всем ясно, что пришел он сюда не по делу.

— Иди на улицу, мальчик, — сказал дядька, — тут тебе делать нечего.

— А что, и посмотреть нельзя?

— Иди, иди, — тем же шелестящим шепотом повторил дядька и посмотрел Ваське в глаза. Маленькие, кругленькие, как у мышки, глаза его сидели в глубоких глазницах и сверкали злобой. — Иди... А то возьму сейчас за ухо и выведу. — Он уже не шептал, а шипел.

— Ладно... Сразу — за ухо, — проворчал Васька и повернулся уходить.

Уже у самого выхода он неожиданно наткнулся на соседку — Марину Симакову. Еще этого не хватало! Она и так недолюбливает Ваську, «азиатом» зовет, а тут и вовсе в хулиганы запишет, в «анчихристы». Разве она поверит, что он пришел в церковь богу молиться? Такие сюда за этим не ходят, у них на уме одно «хулюганство»...

Завидев Симакову старуху, Васька нагнул голову и юркнул в сторону. Кажется, пронесло. А то оправдывайся потом перед матерью, зачем ходил да что делал.

На улице — в ограде и за оградой — народу было не меньше, чем внутри церкви. В наступившей темноте всюду белели узелки с куличами. Против дверей забор был облеплен любопытными мальчишками. Вспугнутые необычным нашествием, в ночном небе черными хлопьями, как при пожаре, летали вороны.

Васька нашел местечко на заборе, уселся поудобнее и стал смотреть в церковь. Издали ему были видны лишь колышущиеся головы и плавающий над ними дымок. Самая большая люстра была низко опущена и загораживала все, что делалось в глубине церкви, у алтаря. Изнутри церкви, как из улья, доносился сплошной гул. Откуда брался этот гул, если все стоит молча, Васька не мог понять.

Но вот головы закачались больше обычного, заволновались, задвигались, и прямо от двери образовался проход. И вдруг откуда-то издали, из-под люстры вышел батюшка в золотой ризе, в сверкающей шапке-короне, а за ним шел второй — без шапки. Оказывается, первый — это архиерей, приехал из города, потому и народу так много собралось — посмотреть на него.

Позади архиерея и попа напomaженные дядьки несли хоругви — большой серебряный крест, большое полотно с длинной бахромой и вышитым на нем серебряными нитками святым, икону и еще много разных красивых вещей.

Когда вся эта процессия ступила на крыльцо и запела, ударили колокола — весело и торжественно, и в тот же миг все вокруг задвигалось, загомонило. Успокоившиеся было вороны снова взлетали с криком в темное небо, из звонницы с хлопаньем крыльев вылетали перепуганные голуби. А колокола вызванивали что-то веселое, ликующее, совсем



не божественное — бом-бом, три-ли-ли, три-ли-ли, бом-бом, три-ли-ли...

С крыльца процессия повернула налево и пошла вокруг церкви. Когда она показалась с другой стороны, Васька увидел, как поп одной рукой махал кадилом, а другой макал маленький венчик в чашу, которую нес рядом с ним какой-то мужичок, и кропил налево и направо стоявшие на земле развязанные узелки.

После этого люди быстро стали увязывать свое освященное снадобье и уходить в ворота за ограду — торопились по домам.

Побежал домой и Васька. Было уже далеко за полночь, но на улице народу как днем: идут и идут с узелками, несут зажженные в церкви и спрятанные в железнодорожные фонари свечи. Подсвечивают дорогу, гомонят, торопятся.

Такого зрелища Васька не видел никогда. Идет, а перед глазами освещенное нутро церкви, и в нем в сизой дымке колышется море голов и слышится сплошной гул. И — золото, золото, кругом золото сверкает. А колокола — бом-бом, три-ли-ли...

Мать открыла Ваське, заворчала, как обычно:

— Где тебя носит, полуношник? Ко всенощной ходил, што ли?

И не выдержал Васька, признался:

— Ага! С ребятами посмотреть ходили.

— Клуб это вам, што ли?.. Спектакль какой?..

— Ох, здорово там все, аж страшно!

— А что же ты с пустыми руками ходил? Взял бы хоть яички да и посвятил, вот бы и разговелись.

— Ну да!

Утром рано, Васька еще с постели не встал, услышал всегда желанный голос бабушки:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес, — ответила мать, и они громко поцеловались.

— Не ели ишо? Я вот разговеться принесла. А то вы тут, как неверные, живете и праздников никаких не соблюдаете. А безбожник твой дома?

— Кто?

— Ну, сапустат... Старший...

— А... Вон валяется в постели. Поздно пришел — на всенощной был.

— На всенощной? Так он же безбожник! Рази ты не знаешь, как он свою бабушку опозорил? Написал стих и в школе вывесил. А мне Платоновы ребята вчера принесли это известие. «Бабушка, а про вас Васька Гурин стишок сочинил. Все читают и смеются. Вот — мы переписали». А ну иди сюда, сочинитель, я хоть погляжу на тебя, какой ты стал.

Васька выполз из-за занавески. Было стыдно, не знал, куда глаза девать. Уши вспыхнули жарким огнем. Как он не подумал, что узнает обо всем бабушка — его любимая бабушка! — и каково ей будет?

Мать смотрела на него удивленно и растерянно:

— Как же это?..

— Да вот так.— Бабушка достала из кармашка на фартуке свернутый лист, стала читать: — «Знал я бабушку Марфутку...» Вишь? Марфутку... Нет бы сказать Марфу Ермолаевну, а то Марфутку. «Она толста была собой». А тут и совсем брехня: рази ж я толстая? И-их... Вон бабушка Феня, тетка моя,— та толстая, а я? Слухай дальше: «На рожжество сварила утку и сказала: «Заговляем, внучек мой». Опять брехня. Когда это мы на рожжество уток варили? Мы их и не держали сроду. Им же вода пужна, это кто возле ставка живет — те держат.— Обернулась к матери: — На, читай дальше сама, какие там страсти приключились. Опозорил бабуку свою.— Бабушка ткнула Ваську в лоб пальцем, отошла к столу, стала развязывать свой узелок.

Танька подошла, заглянула снизу Ваське в глаза:

— Ты Пушкин, да?

В ответ Васька показал ей кулак. Танька отскочила, развела руки в стороны:

— Это ж надо! В нашей хате новый Пушкин!

Мать прочитала, закрутила головой:

— Вот уж правду говорят: ради красного словца не пожалеет мать-отца. Как же это ты?

Васька молчал.

— Да он не только про вас написал,— сказала мать бабушке.— Тут как-то прочитал мне стишок про Карпова кобеля.

Бабушка засмеялась:

— О, так, значит, не я одна попала ему на зубок? И кобелю досталось! Ну, тогда и мне не так обидно будет —

в одной компании с Карповым кобелем. И так же складно?

— Складно,— сказала мать.

Бабушка согнала улыбку с лица и, взглянув на мать, кивнула в Васькину сторону:

— А вот из него штось растет необычное, вишь, головастый какой,— и глядела после этого на Ваську долго и задумчиво.

Танька подошла к матери, попросила:

— Ма, дай я прочитаю.

Та отдала ей листок, и Танька стала про себя читать Васькину поэму, шевеля губами и то улыбаясь, то удивляясь.

— Ну, ладно, хватит над мальчиком измываться,— сказала бабушка.— Пошутковали, и будет. Мало ли на свете Марфуток, правда, внучек? Иди умывайся, да будем завтракать. Я вот принесла творожку, сальца, по яичку вам...

— Ему ж нельзя: он же безбожник! А вдруг прохватит? — сказала Танька.

И Васька не выдержал — заплакал, убежал на улицу. Как ни звали — не пришел. Мать рассердилась было, взяла хворостину, но бабушка остановила ее:

— Не тронь. Сами мальчишку довели, а теперь еще и бить?.. Это все я, дура старая... Обиделась на стишки. Нехай отойдет чуть, я сама пойду к нему, повинюсь. А ты держи язык за зубами,— погрозила она Таньке.— Не дразни его.

Васькины огорчения из-за стихов продолжились и в школе. Когда он пришел туда, первое, что увидел,— это учеников, столпившихся возле стенгазеты. Они толкали друг друга, читали вслух, смеялись, отходили возбужденные. Никогда еще не было такого, чтобы стенгазету брали с бою. Первое чувство, которое нахлынуло на Ваську, было чувство неловкости и стыда за бабушку, но потом, когда стали подходить к нему ребята и хлопать по плечу, это чувство исчезло и появилось другое — гордость. Он видел, что ребята стали относиться к нему как-то по-другому: кто с завистью, кто заискивающе, но равнодушных не было, во всех случаях он, Васька, был в центре внимания, ребята толпились возле него, как возле приезжей знаменитости. Особенно вдохновляли Ваську девчонки: они проходили мимо него медленно, словно мимо урны с прахом, смотрели на него издали, а в их глазах-омутах



были одновременно любопытство, восторг, робость и любовь.

Над всеми у стенгазеты возвышался Григорий Иванович Черман. Высокий, гордый, он читал поэму издали, через головы мелюзги. Прочитал, подумал что-то, не отходя. Васька с трепетом ждал, что он скажет, и всеми силами старался прочесть на его лице впечатление. Но лицо Чермана было непроницаемо.

Наконец Григорий Иванович оглянулся, и Васька, ловя его взгляд, улыбнулся ему издали. Григорий Иванович заметил его, качнул головой:

— А, и стихотворец здесь! Пьет нектар славы!

От прихлынувшей к лицу крови Васька не разобрал слов, но чувствовал, что говорит Григорий Иванович что-то доброе.

— Молодец! Остро и смешно. Сатира. Только вот в одном месте... Что такое опий? — спросил он.

«Неужели не знает, что это такое? — удивился Васька. — Или испытывает?..»

— Ну, этот... Когда курят, а в мундштуке желтое остается... Яд такой.

— Курят — это верно. И яд — верно. Только не тот. Табачный яд называется никотин, а опий, или опиум, — это совсем другое. Он добывается из опиумного мака. А у тебя: «Как от махорки опий». Неверно.

Застыдился Васька, готов сквозь землю провалиться, но Григорий Иванович тут же и выручил его:

— Произошло смещение образов, путаница, подмена одного образа другим. Такое встречается даже у больших поэтов. Так что не смущайся...

Взбодрился Васька — Григорий Иванович всерьез с ним говорит — «образы», «смещение образов». Такое он слышал только на уроках литературы — **образы!** А ведь он, если честно признаться, когда писал, как-то и не думал, чтобы в его стихе были образы. А они, оказывается, есть!

— У Лермонтова, помнишь: львица с лохматой гривой на спине? — продолжал Григорий Иванович. — А у львиц, как известно, гривы не бывает, она растет только у льва. Верно?

Васька кивнул — верно, а про себя поразился: «У Лермонтова ошибка и у меня! А ведь то — Лермонтов!..»

Подошла Ребрина, послушала разговор и, когда

раздался звонок, позвала Ваську с собой. Привела в пионерскую комнату, прикрыла плотно дверь, достала из ящика стола толстую тетрадь в клеенчатой обложке, карандаш, приготовилась писать.

— Ну, рассказывай, кого видел? — спросила, нацелив острие карандаша на чистый лист тетради.

— Где? — не понял Васька.

Ребрина нетерпеливо потрясла карандашом.

— Как где? В церкви был?

— А-а... — вспомнил Васька и поморщился. — Был...

— Ну? Кого видел? Говори.

— Никого не видел.

— Как не видел? — удивилась Ребрина. — Никого-никого?

— Да нет... Тетку Маришку...

— Какую еще тетку Маришку? Что ты мне голову морочишь!

— Правда. Бабушка Симаковых, с нашей улицы... А больше никого из знакомых не встретил. Там знаете сколько народу было? Не протолкнешься.

— Н-да... — протянула разочарованно Ребрина и посмотрела на Ваську, скривив в брезгливую гримасу тонкие губы. — Значит, не выполнил поручение? А еще в комсомол просился! А еще стихи антирелигиозные пишешь! Чему же верить — твоим делам или стихам? Человек должен быть цельной натурой, в нем должно быть все едино — и слова, и дела. А ты пишешь одно, а делаешь другое.

— Что я делаю? — вспыхнул вдруг Васька. — Что я такое делаю? Чего вы ко мне пристали? И поручение ваше выполнять стыдно: вы шпионить заставляете, доносить, фискалить, ябедничать — разве это честно? Честно, да? А стихи?.. Стихи!.. Это не ваше дело — стихи. Дались они вам, все время попрекаете.

Васька готов был ударить Ребрину в острые, обтянутые тонкой кожей скулы или заплакать. Но он не сделал ни того ни другого, выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Побежал по пустому коридору, возле стенгазеты остановился — она бросилась ему в глаза яркими красками: карикатурный поп-страшилище смотрел на него сердито, готовый все заграбастать своими когтистыми лапами, толстая набожная старуха неистово крестилась, а ее тощий рахитичный внук, зеленый, как лягушка, держал руки на

животе и болезненно корчился. Это все иллюстрации к его стихам, тем самым стихам, которые принесли ему столько страданий, тем самым стихам, которыми теперь колет глаза ему пионервожатая. Стихи!.. Да пропадите вы пропадом! И Васька схватил двумя руками стенгазету, сорвал со стены, стал остервенело шматовать ее на мелкие куски, потом бросил на пол и, потоптав ее ногами, пошел в класс.

На первой же перемене из школы никого не выпустили, всю смену выстроили в коридоре, как тогда, когда был траурный митинг. Разъяренная Ребрина стояла на середине, потрясала ошметками стенгазеты и угрожающе говорила:

— Кто-то злостно сорвал и растоптал стенную газету. Тяжкое преступление это черным пятном ложится на всю школу. Так может поступить только враг. Но мы понимаем, что здесь не все враги, и тот, кто это сделал, должен иметь мужество признаться, чтобы не ложить пятно на всех.

С тех пор как увидел в руках Ребриной куски стенгазеты, Васька понял, что он пропал окончательно и жизнь его кончена, и потому стоял бледный, как тот лист ватмана, на котором была нарисована газета. Он не слышал, что говорила Ребрина, мысли его беспорядочно бродили далеко от школы, в которой он находился последние минуты. Это он уже точно знал. А что же дальше? Домой с такими новостями он не пойдет — видеть материнны слезы, ее горе, ее причитания, упреки он тоже не выдержит. Одна дорога — на станцию, на поезд — и куда глаза глядят... Или — в петлю... Или — под колеса вагона... И пропадите вы все пропадом с вашей такой жизнью...

— Так кто же это сделал? — в который раз вопрошала Ребрина, обходя затихшие ряды учеников и заглядывая каждому в глаза. — Не хватает мужества признаться? Да, враг всегда труслив, исподтишка действует!.. Кто это сделал? Последний раз спрашиваю!

«Брошусь под поезд, и нехай как знают...» — решил Васька и выступил вперед.

— Я... — сказал он, не поднимая головы.

По рядам прошел гул удивления.

— Ты? — первым подал голос Григорий Иванович. — Зачем же ты?.. — искренне огорчился он.

— Гурин? — Это подал голос директор и тяжело вздохнул.

— За-зна-лся!.. — протянул ядовито кто-то из девочек.

— Наконец-то ты раскрыл свое настоящее нутро,— закончила с облегчением Ребрина.

Также не поднимая головы, ни на кого не глядя, Васька повернулся и медленно направился к выходу. Он был как во сне — в голове стоял какой-то шум, как от близко проходящего поезда, а перед глазами мелькали черные колеса — то по одному, то по паре, щелкали на стыке рельсов, вдавливали смолистые шпалы в щебенку...

— Гурин, вернись!..—Голос у директора был на пределе — он никогда так не кричал.

Васька остановился, кто-то взял его за плечо и повел в директорский кабинет.

— Зачем ты это сделал, Гурин? — спросил директор, вытирая лысину платком.

Васька повел глазами, увидел ноги Ребриной — она была здесь.

— Не знаю...

— Что тебя толкнуло на это? Была же какая-то причина.

— Не знаю...

— Да что тут спрашивать? — подала голос Ребрина.— Он себя раскрыл полностью. Таким не место...

— Что раскрыл? Что раскрыл? — Впервые Васька поднял глаза и посмотрел на Ребрину.

— Погодите вы... Галина Васильевна...— остановил Ребрину директор и обратился снова к Ваське: — Так просто ничего не бывает... Что-то же тебя толкнуло на этот поступок?..

В кабинет вошел Григорий Иванович, остановился у двери.

— Может быть, ты мне не хочешь сказать, так вот Григорию Ивановичу... Его, я знаю, ты любишь... Может, ему скажешь? Мы выйдем.

— Это она все,— кивнул Васька резко головой в сторону Ребриной.— В комсомол не пускает... Поручения дает такие, чтобы шпионить за другими и ей доносить... Теперь начала этими стихами попрекать...

— Отговорки! — прикрикнула Ребрина.

— Помолчите... Но зачем же вымещать накипевшее на стенгазете? Ты понимаешь, что ты натворил? — спросил директор.

Васька кивнул.



— Ну и как же теперь?

— А никак... Я и жить больше не хочу и не буду... Кругом я виноват, все у меня неважно... Пойду на путь... — Васька не сдержался, крупные слезы покатились по щекам.

— О! — протянула Ребрина. — Он еще и запугивает, клеветник!..

— Да помолчите вы! — не выдержал директор. — Идите, займитесь своими делами. Мы тут сами разберемся.

Ребрина дернула нервно головой:

— Хорошо! Но я это так не оставлю, Евстафий Станиславович! — И она вышла.

Наступила долгая пауза.

— Это не дело, — проговорил как бы про себя директор. — Это не борьба — голову на рельсы. Будто страшнее Ребриной и зверя нет. А, Григорий Иванович?

— Да, решение не самое мудрое, — согласился с ним Черман. — У меня сейчас нет уроков, разрешите мы с Гуриным пойдем в библиотеку и там поговорим?

— Хорошо, — согласился директор.

Григорий Иванович положил Ваське на плечо руку и так, не снимая ее, повел его в библиотеку. Здесь он усадил Ваську на диван, сам сел рядом.

— Да, это верно: не очень мудро ты решил распорядиться своей жизнью. Уж если отдать ее — так отдать за такое, что стоит этой самой дорогой цены... Жизнь-то, дружок Вася, самое дорогое, что у нас есть. Другой ведь не будет... Так стоит ли бросать ее под ноги какой-то Ребриной?

— Почему Ребриной?

— Ну а кому же? Ведь это из-за нее ты разуверился и в жизни, и в людях? Из-за нее. А что, на ней свет клином сошелся? Может быть, тебе в жизни предстоит еще такая борьба, такое испытание, такие идеи отстаивать, за которые действительно и жизнь не жалко будет отдать. Как великие революционеры. Тельман сейчас в фашистской тюрьме томится. Думаешь, ему легко? А он не сдается, не падает духом — борется. В петлю же сунуть голову легче всего, только кому это надо, кому это выгодно? Врагам. Помни, Вася, жизнь человеческая очень хрупкая, прекратить ее очень легко, поэтому ее беречь надо и распоряжаться ею толково, с пользой.

Григорий Иванович уже не сидел на диване, он ходил по

комнате, рассказывал о Ленине, о Боливаре, о Дзержинском, о Марате, брал с полки книги, нежно поглаживал их и складывал стопкой на столе.

— Вот, Вася, сколько тебе предстоит прочитать, но зато ты познакомишься с настоящими людьми и узнаешь, как дорого они ценили свою жизнь, поймешь, за что они готовы были отдать свою жизнь.

Ушел от Григория Ивановича Васька успокоенным, с книжкой под коротким названием «Овод».

## КОНЕЦ ЦЕРКВИ

Недели через три после пасхальных дней — еще куличи не были съедены, еще на угольниках и подоконниках красовались выкрашенные в отваре луковой шелухи яички, еще дожди не смыли с могил на кладбище разноцветную яичную скорлупу — пошли по хатам уполномоченные с толстой амбарной книгой. Их было много, они охватили сразу все улицы, не пропускали ни одного дома, чтобы не дать распространиться контрпропаганде, которая помешала бы большому мероприятию: уполномоченные собирали подписи у населения — согласие на закрытие церкви.

К Гуриным пришли двое — низенький, верткий, с длинными прямыми волосами мужчина лет тридцати и Ребрина. Мужчина то и дело дергал головой — отбрасывал спадающие на глаза волосы — и уверенно объяснял Васькиной матери вред от церкви. Он говорил, что этот вред все уже поняли, охотно дали свое согласие, и поэтому ему удивительно, что мать, такая еще молодая и красивая, а такая бессознательная: не решается расписаться в этом журнале. Ведь только расписаться!

Ребрина, как ни странно, не мешала своему партнеру и лишь изредка, в наиболее затруднительных моментах, приходила ему на помощь. Васька уже не думал с нею встретиться — с неделю назад Ребриной не стало в школе, ее почему-то перевели куда-то на другую работу. Ходили слухи, что это директор настоял после истории с Васькой. Но это были только слухи... Появление ее в Васькином доме удивило и насторожило его. Но когда он услышал, что речь идет о закрытии церкви, успокоился и всем своим видом выказывал явное презрение к этой гостье.

Мать слушала агитатора, вздыхала, терла себе щеки, оглядывалась на детей, словно искала в них поддержки, потом на агитатора — не обманул бы, спрашивала, уже почти соглашаясь:

— А как люди? Как люди, так и я...

— Я же говорю вам: люди все поставили свои подписи. — И он быстро листал перед ней толстую тетрадь с испещренными вкривь и вкось различными подписями.

Мать брала ручку, макала перо в невыливайку и снова клала на стол.

— Не... Боюсь... Нехай люди — каждый за себя отвечает, а я боюсь... Посоветоваться с кем бы...

— Чего ж советоваться?.. Неужели вы сами не разбираетесь, где свет, а где тьма?

— Это-то я разбираю... — И, вдруг приняв решение, отодвинула от себя и ручку, и чернильницу, села поглубже на стуле, сказала: — Не.

— Что «не»?

— Не буду подписывать.

— Но почему?

— Я ее не строила, не открывала, и закрывать — не мое дело. Ходить я туда не хожу. Может, и пошла б, так некогда. Она мне не мешает — что есть, что нема...

— Так тем более! — обрадовался агитатор. — Подпишитесь, и все, вам легко: не рвать из сердца эту заразу — религию. Вы же сознательная женщина! А насчет того, что не мешает, — ошибаетесь. У вас дети, на них религиозное влияние...

— У них уже своя голова на плечах. «Влияние»! Вон — главный безбожник, пусть подписывает, — кивнула мать на Ваську.

— Молодец! — Агитатор улыбнулся Ваське. — Но он еще несовершеннолетний.

— А я не буду. Кто открывал ее, тот пусть и закрывает.

— М-да... Упрямая...

— Как бы это не помешало вашим детям. Парню в комсомол скоро вступать, не было бы худо... — предупредила Ребрина.

— Ма... Ну подпиши... — подал голос Васька. Он знал: если Ребрина вступила в разговор, от нее не отделаться.

— Молчи! — рассердилась мать. — А вы не пугайте! Детям как бы не было худо? А им уже и так худее некуда:

вон который год без мужика с ями колочусь. Помог кто-нибудь? А пужать — так вас много найдется. — И заплакала, отвернувшись. Потом протерла глаза, махнула уполномоченным — уходите.

Потоптались те, покачали головами, ушли неохотно. А мать кинулась к окну — смотрит вслед, к кому пошли, узнать бы, как люди? С кем бы посоветоваться?.. Посмотрела на Ваську:

— Шо она насчет комсомолу сказала? Помешает тебе?

— Да...

— Вот беда! Подписать, што ли?.. Боюсь... Ой, как боюсь! С богом шутки шутковать боюсь: есть он или нема его — не знаю. Подпишу, а потом вдруг рука отсохнет? Шо я буду с вами делать без руки? Кто вас кормить будет?..

Не успели уполномоченные агитаторы скрыться в Толбатовом, через дорогу, дворе, как дверь открылась, и в комнату вошла Симакова старуха — бабка Марина. В черном платке, повязанном на монашеский манер — весь лоб до самых глаз закрыт, она, не здороваясь, перекрестилась на «красный» угол, прошептав что-то, обратилась к матери:

— Подписала?

— Покамест нет... Да и дрожу вот теперь. Нагрянули, и посоветоваться ни с кем не успела. А вы?

— Господь с тобой! — двумя руками отмахнулась Марина от материных слов. — Неужели ж поддадимся на анчихристовы слова? — И закачала головой, запричитала: — Ай-ай... Вот он — свету конец. Конец, конец!..

— Да ну, не пужайте.

— А ты што ж думаешь? Даром все это пройдет? Разгневают бога, ой, как разгневают, накличат беды! Ох, сапустаты, ох, сапустаты, не сидится им спокойно, тихо. — Она выглянула в окно на Толбатов дом. — Ишь все еще не выходят, уговаривают.

Вскоре прибежала и сама Параскевья Толбатова — бледная, беззубый рот с перепугу перекошен, с порога прямо к Симаковой:

— Что же это будет, Ермолаевна?..

— Конец свету, — не моргнув глазом, ответила ей Симакова. — В писании все сказано. «И пойдет по земле анчихрист, и будут разрушены храмы божии», — продекларировала она нараспев.

Параскевья еще больше раскрыла рот, поглядывала на всех, словно показывала каждому остатки щербатых желтых коренных зубов.

— Так прямо и сказано? Ну что ж, на все воля божья, — проговорила она обреченно. — Без его воли и волос с головы не упадет.

— Прогневили бога, — не согласилась с ней Симакова. — Прогневили! Подписали?

— Все подписали... Одна я — нет, забоялась, рука не поднялась. И што ж теперь, на Страшном суде мы будем врозь: дети мои по одну сторону, а я по другую? — задумалась Параскевья.

Как чуяла, что тут идет собрание, пришла и Ульяна. Возбужденная, резкая, она с минуту послушала разговор, сообщила:

— Я их послала к чертям собачьим, и все. Ходют! «Вы ее строили ту церкву, што собираетесь закрывать? Я вас знать не знаю, кто вы такие! Приехали откуда и распоряжаетесь». А и правда, эта сатана дохлая, кожа да кости, вожатая, откуда она тут объявилась? — Обернулась к Ваське и, не дождавшись ответа, продолжала: — Тоже, наверное, вербованная какая-нибудь, без роду без племени. «Хозяин, — сказала, — придет — нехай как хочет, а я в этом деле не участвую». Пошли как миленькие.

Воспрянула духом мать — не одна она не подписала, вон их сколько уже. «И пусть будет что будет: что людям, то и нам...»

До позднего вечера судачили старухи, страху на детей нагнали — сидят те, не дышат. Даже Васька, подкованный безбожник, и тот струхнул. Представил себе, как это будет, — жутко сделалось... «Протрубит Архангел в трубу...» Какая ж это труба? Вроде горна, только побольше — ведь его должны услышать и живые и мертвые! «И встанут все, правые, по одну сторону, неправые по другую». Сколько же это народу сразу будет стоять, какая шеренга будет длинная! Спартак тут будет стоять со своей армией, белые встанут и красные. Можно будет увидеть живого Чапаева... И Васькин отец встанет — сколько уже лет прошло, Васька стал лицо его забывать, узнает ли его в такой толпе: народу ведь соберется побольше, чем в городе на толкучке.

— «И будет суд великий и праведный...» — вразяжку,

тайнственно, почти шепотом рассказывала Симакова.

Васька стал перебирать свои «грехи», и по всему выходило, что быть ему в неправых: в сад к Чуйкиным лазил, Таньку обижал, мать до слез доводил и главный грех — стишок против религии написал...

— Ой, девки, засиделись мы! — спохватилась первой Симакова, заговорив совсем другим голосом, будто это и не она только что вещала. — Уже темнеть стало, а корова недоена...

— Ленка, Пашка не подоят, што ли? — спросила Ульяна.

— Куда там! Такие ледачие... Только улица на уме. — И побежала.

— Да и мне надо поросенка кормить, наверное, уже там и закуток разнес в щепки, — встала Ульяна.

— погоди уж, за одним рипом, — остановила ее Параскевья и чему-то улыбнулась беззубым ртом. — Пойду и я кормить своих отрехшихся...

Ушли они, и еще страшнее стало в полутемной комнате. Темные углы пугали.

— Ма, а как же они встанут, мертвые? — спросил Васька. — Они ж сгнили. Скелеты будут стоять, да?

— Не знаю, — вздохнула мать. — Спросил бы у Марины.

— А если скелеты, так их и не различить, где кто... — И, помолчав, снова стал выяснять: — А с неправедными что будут делать, когда их осудят? Убивать будут или как?.. Снова в могилу?

— Не знаю я... Што ты пристал? Увидим... — досадливо отмахнулась мать. Бабий разговор ее тоже взбаламутил, а Васька своими вопросами мешал ей думать.

Алешка сидел возле матери на полу притихший, держался за ее ногу, поглядывал на всех испуганными глазенками. Танька стояла у матери за спиной, положив руки ей на плечи. Васькин разговор про скелеты окончательно ее доконал, чуть не плача, она попросила:

— Ма, зажги свет!..

Только когда уже пришли с работы вербованные, в доме повеселело: комнаты наполнились гамом, шумом — хлопали двери, без передыху звенел рукомоийник, плескалась в тазике вода, запела Валентинова мандолина — «Встань, казачка молодая, у плетня...», — и от этой суеты вся жуть мигом куда-то улетучилась из дома, будто ее и не было.

И только на лицах хозяев все еще оставалась какая-то тревога, робость, пришибленность, что не могло не броситься в глаза наблюдательному Разумовскому.

Вошел в комнату, оглядел притихших хозяев, спросил осторожно у матери:

— Что-нибудь случилось, Павловна? Кто-нибудь умер?

— Да нет, бог миловал... — сказала мать, освобождаясь от страшных мыслей. — Церкву закрывать хотят.

— Ну и что? Разве вы верующая?

— Я христианка, — ответила мать. — Как же... Крещеная...

— Но в церковь-то, по-моему, вы не очень ходили?.. Чего ж так убиваться?

— Кажуть — это свету конец уже будет.

— А-а-а!.. — протянул Разумовский, задрав голову кверху. — Это дело серьезное! Надо готовиться. — И пошел к своей койке.

Мать удивленно смотрела ему вслед — всерьез он или шутит? Грицко копался в своем кованом сундуке, прекратил занятие, повернул медленно голову и тоже стал смотреть на Разумовского. Валентин приглушил мандолину — накрыл струны ладонью.

— Да все это ерунда! Поповские сказки! «Свету конец... Свету конец»... Никогда этого не будет. — Отряхнув руки над тазиком, Аркадий потянулся к полотенцу.

— И на какой день он назначен? — спросил Разумовский, не оборачиваясь.

— Вы шутите? — спросила мать.

— Нет, — сказал он.

Грицко принялся складывать вытащенные вещи обратно в сундук.

— Да шутит он! — улыбнулся Аркадий. — Разумовский, не пугай людей.

— А ты смелый? Не боишься? — спросил у него Разумовский. — Не веришь в конец света?

— Не верю, — твердо сказал Аркадий.

— Какой же ты диалектик? Ведь было начало, значит, должен быть и конец? Так ведь?

Мать подошла поближе, слушала Разумовского — разговор, похоже, был серьезный. Заинтересовался и Васяка, облокотился на спинку Валентиновой койки, смотрел на рыжего.

— Нет, не так,— не согласился Аркадий.

— А как же?

— Не было никакого начала и конца не будет. Мир бесконечен, жизнь вечна,— отрапортовал Аркадий и уверенно посмотрел на окружающих.

— Догматик! Это противно природе! Все имеет свое начало и свой конец,— поднял палец Разумовский.— Вот истина! Так во всем: в большом и в малом, в атоме и в космосе.

— Идеалистическая философия! — отмахнулся Аркадий.

— Нет, дорогой мой, самая настоящая материалистическая! Разве ты не наблюдаешь это каждый день, каждый час, каждый миг вокруг себя?

— Да, наблюдаю. Одно умирает, другое нарождается,— не сдавался Аркадий.— И жизнь, таким образом, не прекращается, ее цепочка тянется бесконечно.

— Ах, вот в каком смысле!

— Именно,— победно произнес Аркадий.

— Но ты же веришь, что когда-то на Земле не было жизни?

— Да...

— Значит, когда-то было ее начало?

— На Земле — да...

— А на других планетах, значит, все по-другому? Но ладно. Поговорим о Земле, а не о космосе. Будет существовать материя, будут существовать и различные формы ее бытия: камень, железо, живые организмы... Исчезнет жизнь на Земле, возродится где-то на другой планете. Но в какой форме — мы этого не знаем. Так или не так?

— Да...— осторожно согласился Аркадий.

— Значит, все-таки будет конец света? — уточнила мать.

— Будет! — твердо сказал Разумовский.

— Ну вот, опять ты за свое! — развел руками Аркадий.

— Будет! Только не такой, каким он рисуется в церковных писаниях. И ты, Грицю, не собирай чемодан — все равно не успеешь удрать домой. Да и зачем? — Разумовский пожал плечами.— Если это случится, все равно не спасешься.

— Какой же будет конец света? — не вытерпел Васька.

— Он будет, юный мой друг, — обратился Разумовский



к Васье, — только как катастрофа. Взрыв Земли, например...

— Взрыв! — покачал головой Аркадий. — Что она — пороховая бочка?

— Думаю, еще похлеще, — ответил ему Разумовский. — Ты видел вулканы? Нет. А я видел. Откуда такая сила? Она выбрасывает камни величиной с дом, а кратер — в диаметре несколько километров! И может внутри Земли скопиться такая сила, что разлетится наша матушка на кусочки. Это один вариант, — Разумовский загнул мизинец. — Второй — космическая катастрофа. Земля может столкнуться с каким-нибудь блуждающим телом.

— Вроде Тунгусского метеорита? — подсказал Аркадий.

— Правильно, Аркаша! Ты начинаешь мне помогать, значит, моя мысль дошла и до тебя. Будь этот метеорит в тысячу раз крупнее, наверное, уже была бы катастрофа. Третий вариант — может погаснуть Солнце. Оно ведь тоже не вечно. И тепло в нем не бесконечно. Сколько оно энергии затрачивает ежедневно, а пополнения нет.

— Ну, до Солнца далеко! — отмахнулся Аркадий.

— А я что, предрекаю это на завтра, что ли? — обиделся Разумовский. — Я просто в силу своего понятия перечисляю возможные варианты конца.

— Так можно предположить, что и Луна упадет на Землю?

— Можно, — сказал Разумовский. — Почему же нельзя? А ты знаешь, что было время, когда не было Луны?

— Как так?

— А вот так — не было. Предполагают. Однажды появилось блуждающее космическое тело. Пролетая на близком расстоянии от Земли, оно не упало на нее, так как было на достаточно далеком расстоянии, но и не смогло улететь, так как было все-таки очень близко к Земле и земное притяжение уже сильно действовало на него. Это тело превратилось в спутник Земли. На Землю это оказало сильное воздействие: на Земле была катастрофа. Луна тоже имеет солидную массу, и под воздействием лунного притяжения на Земле началась страшная буря, воды вспучились, ринулись навстречу Луне: моря и океаны стали перемещаться — затапливать одни земли и освобождать другие. И только постепенно все успокоилось, но приливы и отливы, связанные с лунным притяжением, остались до

сих пор. Так погибла древнейшая цивилизация Атлантида, а мы живем на земле, которая когда-то была морским дном.

— Сказка, — сказал Аркадий.

— Гипотеза, — уточнил Разумовский.

— Всемирный потоп был, — подсказала мать.

— Да, похоже, что это был именно он. Но о том, что на Земле была какая-то катастрофа, связанная с потопом, — об этом уже писали ученые.

Разговор этот длился до поздней ночи, и когда мать позвала Ваську спать, он с неохотой оторвался от Валентиновой койки, на спинке которой все время «висел», вздохнул тяжело, поплелся на свою постель.

— Вот, черт рыжий, откуда он все это знает? — удивился Васька вслух.

— Ты почему ругаешься? — возмутилась мать. — Ишь ты!.. Гляди у меня! Волю какую взял!

— Нет, правда?..

— Книжки читать надо, а не клубиться по вечерам в своем клубе, и ты будешь знать не меньше. А то только и научился — чертыхаться.

Долго в ту ночь не мог уснуть Васька, взбудораженный мозг его работал, как раскопегаренная топка, и витал Васька мысленно где-то далеко-далеко от Земли — в космосе, на других планетах, в других мирах. «Дурак, не спросил у рыжего, есть ли жизнь на других планетах, — упрекнул себя Васька, но тут же и ответил сам себе: — А чего спрашивать? И без него известно — есть. В книжке «Аэлита» об этом точно написано...»

В последние перед летними каникулами дни учеба давалась с трудом: в школу идти не хотелось, сидеть дома и корпеть над учебниками — тем более. Время на уроках тянулось томительно долго, зато перемены казались минутными, и звонок обычно надрывался до хрипоты, прежде чем собирал учеников на очередной урок. В этот же день, как ни голосил он, как ни надрывался, с большой перемены в классы никто не вернулся. А началось еще до перемены. Первым все обнаружил Никита Гурин. Случайно выглянув в окно, он увидел возле церкви толпу, какой не было, наверное, и на пасху. Никита толкнул Ваську.

— Смотри, что там делается! — сказал он сначала шепотом, а потом не выдержал и закричал во весь голос: — Смотрите, смотрите, полез!

Все вскочили с мест, бросились к окнам и увидели, как по голубому куполу церкви ползет вверх маленький, словно муха, человечек.

Человечек полз и наконец добрался до золотого креста, схватился за него и помахал стоящим внизу свободной рукой. Крест снизу казался не больше лопаты, человечек же с высоты выглядел совсем крохотным лилипутиком.

— Ой, какой маленький! — провизжал кто-то из девчонок.

— Это Сантуй, — сказал Никита. — За четверть водки согласился крест сбить.

— Ты откуда знаешь? — удивился Васька.

— Папка говорил. Он за водку куда хочешь полезет.

Урок, конечно, был сорван, и, как только прозвенел звонок, все ринулись к дверям, а Васька с Никитой махнули прямо и через минуту были уже возле церкви. Протиснувшись сквозь толпу в первые ряды и задрав головы, они стали смотреть вверх.

— Рубит... — прошептал Васька Никите на ухо.

— Крест железный, топором не возьмешь... Наверное, ножовкой по металлу пилит.

Толпа стояла молча, угрюмо, все взоры были устремлены на макушку купола, где у подножия креста копошился Сантуй — сопливый и грязный мужичонка, окончательно спившийся и потому брошенный женой и детьми. Жил он один в хате-завалухе, пробавляясь случайными заработками...

Сантуй копался у креста долго, его голова то поднималась, то опускалась, и уже в толпе загомонили — не совладать, мол, Сантую с крестом, как вдруг крест накренился. И в тот же миг закричала истошно какая-то старуха:

— Люди добрые, православные христиане, ратуйте! Ратуйте! Пришел анчихрист храмы божии рушить, свету конец... Поглядите — солнце почернело...

И все мигом отвернулись от креста, стали смотреть на солнце. Васька тоже взглянул на солнце — яркое, оно ослепило ему глаза, вышибло слезы, и перед глазами замельтешили сине круги, будто и в самом деле солнце потемнело.

А старуха не унималась, кричала. Ей стали помогать другие, и через минуту уже стоял над площадью сплошной бабий, надрывающий душу вой — обреченно-жут-

кий, безысходный, будто и впрямь пришел свету конец.

Вой все нарастал, и где-то на самой жуткой вершине его старухи ринулись к ограде. Но в этот момент крест снова качнулся и накренился еще больше. Старухи на минуту остановились, стали креститься, а крест тем временем рухнул и полетел, кувыркаясь, вниз.

Бабий вой с новой силой взметнулся над площадью.

Крест упал на землю торчком и, застряв в ней основанием, какое-то время постоял, словно дал людям напоследок полюбоваться собой, и только потом медленно повалился плашмя на траву. Тяжелый, большой, сияющий, он ударился глухо о землю и замер. Как человек, лежал он навзничь, раскинув руки...

Отворилась тяжелая железная дверь в церковь, и народ как по команде ринулся в нее. Никита и Васька, повинуясь воле толпы, тоже оказались в церкви. Здесь уже царил полный разгром: всюду валялись толстые книги, разбитые иконы, весь иконостас изломанной грудой лежал на полу. Васька не знал, зачем он здесь и что делать, поднял книгу, полистал — церковная вязь непонятная, а обложка крепкая — кожаная. «Вот бы в такой тетради носить — никогда бы не обтрепались». И, не долго думая, он начал выдирать из переплета листы. Выдирались они с трудом, будто это и не бумага вовсе, а какая-то крепкая материя. Смотрит: Никита тоже шматует какую-то книгу — освобождает такой же переплет. Другие берут книги целиком, прячут воровато под полы и торопливо убегают. Освободил Васька одну обложку, увидел другую — жадность одолела, начал потрошить другую. Выпотрошил, пошел бродить по церкви. Увидел золоченую головку ангела, поднял. Грустными глазами смотрел на него кудрявый мальчик. Понравилась Ваське фигурка, хочется взять ее с собой, да не знает, как быть — можно ли? Оглянулся туда-сюда и сунул ангелочка под рубаху, затолкал подальше, под мышку, и быстрее к выходу, чтобы никто не отнял. Даже Никиту не стал ни искать, ни ждать, побежал домой.

Показал матери сначала обложки, та спросила:

— Откуда такие политурки? С каких-то священных книг, похоже... А?

— Из церкви. — И он рассказал, как зорили храм.

Мать перекрестилась.

— И ты там был?

— Да...

Она вертела обложки, что-то думала.

— Ну и принес бы целиком книжку, почитали б... Жития святых — интересная книжка. — Потом она взяла головку ангела, полюбовалась им, стерла с него пыль и поставила на стол. — Красивый...

Подошли вербованные — Разумовский и Аркадий.

— Значит, разрушили?.. — сказал Разумовский и тоже долго любовался головкой ангела. — А ведь это произведение искусства, хотя и культовое...

— Жалеешь? — спросил Аркадий. — «Всему есть начало и есть конец...» — напомнил он Разумовскому его слова.

— Да... — печально проговорил тот.

— А скажи, Разумовский, вещам и природе в целом безразлично, как они гибнут — то ли от руки человека, то ли от стихии какой?

— Конечно, безразлично... — сказал Разумовский и посмотрел на Аркадия в упор. — Но человек-то не должен быть к этому безразличным. Вот в чем штука, молодой философ!

Не понял Васька мудреной мысли вербованных, взял головку ангела, стал рассматривать. И только теперь увидел, что она выточена из дерева, — на изломе шеи все это ему ясно открылось: ребристое дерево, покрытое слоем какой-то крепкой серой глины, похожей на цемент, и все это покрыто гладким блестящим золотом. Огорчился Васька, будто надули его: он-то думал, что головка вся целиком отлита из золота. «Вот попы, и тут не могут без обмана...»

А на другой день выяснилось, что Сантуй, спускаясь по веревке вниз, сорвался и разбился насмерть. Одурев от радости, что все страшное осталось позади, и представив, наверное, каким героем он стал теперь, уже на самой нижней части — на крыше пристроенного крылечка — Сантуй остановился и поднял руки вверх. Он решил, видимо, покуражиться над богомолками и начал ораторствовать:

— Граждане-гражданки, отступись безгрешные и падишицы, которые грешили! К вам спускается ангел-архангел, телохранитель и повелитель!..

Сантуй плел свою речь из слов, которые слышал когда-то, без всякого смысла. Быстро исчерпав словесный запас,

помахал руками и, встав на четвереньки, пополз задом с крыши. Повиснув на животе, он стал ловить веревку, чтобы по ней спуститься на землю. Веревка висела рядом, но Сантуй почему-то не мог до нее дотянуться. Попробовал зацепить ее ногой, словно кочергой, и тоже не смог. Тогда он схватился руками за водосточный желоб и хотел, видимо повиснув на руках, прыгнуть на землю, тем более что она была совсем близко. Но железо оказалось старым, ржавым и хрупким, Сантуй сорвался и, к своему несчастью, ударился головой о каменную ступеньку. Своей смертью он дал в руки богомольцев большой козырь: они стали говорить, что это бог наказал антихриста.

Молодым же ребятам был лишний повод позубоскалить. Материн брат Гаврюшка сказал по этому поводу:

— Летел как ангел, а упал как черт!

А Васька об одном жалел: был там и не видел самого интересного и самого трагического, золотая головка ангела унесла его домой...

## УБИЙСТВО

В том же году летом Ваське повезло как никогда: профсоюз выделил матери для него путевку в пионерский лагерь в Мариуполе.

Вернулся Васька оттуда распираемый впечатлениями. А они начали наполнять его с самого начала пути. Первой диковиной для него было, что ехали они в лагерь одни, специальным поездом, — все родители остались на вокзале. И Васька тоже ехал «один», без матери.

Всю дорогу стоял он, прильнув к окну, — лучшего развлечения, чем смотреть на мир из окна идущего поезда, Васька себе не представлял. Но вершиной радости и счастья его в тот день был момент, когда он вдруг увидел море. Он сразу не сообразил, что это такое: темно-серое, гладкое, оно простерлось во всю ширь горизонта и уходило вдаль без конца и края. Неожиданно из-за туч выглянуло солнышко, море заискрилось, и только теперь Васька догадался: «Так это ж море! Вот оно какое — море!» И он закричал:

— Море!.. Море!..

Все повскакали с мест, стали смотреть в окна и повторяли:

— Море! Море! Приехали!

Море!.. Васька уловил его особый свежий запах, напоминающий запах разрезанного молодого огурца...

Лагерь разместился в городской школе — и это тоже было ново для Васьки, — каждый день он видел город. Он жил в городе!

А потом купанье в море и первое впечатление от всего этого — от соленой воды, от того, что на ней легко лежать на спинке. Рассказать бы обо всем ребятам — Никите Гурину, Таньке, Алешке!

Здесь все было ново для Васьки, каждый день было что-то для него впервые. На всю жизнь осталась в Васькиной памяти экскурсия в порт на пароход: какой громадой оказался этот пароход. В несколько раз больше Васькиного дома.

Обо всем Васька писал в письмах домой, которые он отправлял почти каждый день, не забывая передавать приветы всем-всем.

Но кажется, не было счастливей дня, когда он получил первое письмо от матери. Будто сто лет он не был дома, соскучился, читал письмо, улыбался, сердчишко замерло от восторга, а слезы градом сыпались на бумагу, и чернильные буквы кляксами расплывались по листу.

Как море цвело, как костер жгли на берегу в гостях у рыбаков, какие трамваи маленькие в Мариуполе и еще многое-многое хранил Васька в своей памяти, чтобы обо всем рассказать домашним, одноклассникам, Николаю Шляхову.

Николая он застал в киновудке уже неделю спустя после того, как начались занятия в школе. Когда ни зайдет — все закрыт и закрыт клуб, и афиш никаких, и ни сторожа, ни уборщицы. А тут вдруг видит: открыта киновудка, зияет черной квадратной дырой дверь. Васька бросился к лестнице и полез вверх. На пороге остановился удивленный — в киновудке был почти такой же разгром, как весной в церкви: там, где стоял фильмоштат, на полу белел от толстого слоя пыли и паутины большой квадрат; обитого железом стола тоже не было; на оголившейся стене висели лохматые, как на мельнице, паутины; там-сям валялись обрезки пленки, обрывки старых афиш. У двери стоял ящик, в который Николай складывал диск для

перемотки киноплёнки, разъемные бобины и другую разную мелочь, необходимую в работе механика. Нетронутым пока стоял лишь проекционный аппарат — он по-прежнему, задрав черный коробчатый зад свой, заглядывал в темный пустой зал одноглазым объектом.

Удивился такому разгрому Васька, ходил по киновудке, высоко поднимая ноги, чтобы не наступить и не раздавить какую-нибудь нужную вещь, поглядывал на Николая. А тот ухмылялся и ничего не говорил: мол, догадайся сам, что тут происходит.

— Ремонт?

Николай покрутил головой — нет.

— Новую аппаратуру будут устанавливать? Звуковую?

— Почти угадал, — сказал наконец Николай. — Получили и будем устанавливать. Только не здесь.

— А где?

— В церкви. Помещеньице — во! — Николай поднял большой палец. — Вот это будет клубик так клубик! А?

— Да, — согласился Васька. — Просторно там. А сцена — откуда поп выходил?

— На амвоне. То дьячок там молитвы читал, теперь мы будем выступать.

— Вот здорово!

— «Здорово»! Еще неизвестно, как получится.

— А что?

— В ней гудит все. Слово громко скажешь, а оно во всех углах эхом отдается, ничего не разберешь.

— Как же теперь?

— Сделают что-нибудь, придумают. Специалистов пригласили из города, акустиков, что-то они там изучают. Бери, понесем, — кивнул Николай Ваське на ящик, сам взял за доску с другого конца и приподнял: — Пойдем посмотрим, что они там колдуют.

В церкви уже был наведен порядок. Весь мусор, осколки и обломки убраны в дальний угол, где когда-то торговали крестиками, свечками, иконками. Теперь этот закуток, заваленный всяким хламом, был отгорожен и заколочен шершавыми, неотесанными досками. Алтарь, где когда-то сиял золотом и смотрел на прихожан сотней глаз святых огромный иконостас, украшен большим панно, на котором были изображены деревья в натуральную величину. Зеленый этот лес казался живым, будто это и не стена



вовсе, а большое окно в открытый мир. Васька сразу угадал, что это работа Николая, оглянулся на него, подмигнул. Тот стоял рядом, наслаждался произведенным впечатлением.

— Здорово?

— Ага!..

На «царских воротах» висел экран — белое полотно, окаймленное черным сатином. В зале — в центральной его части — уже стояли скамейки, перевезенные из старого клуба. По бокам от скамеек и сзади них гуляло много пустого места, и потому они казались маленькой семейкой, сиротливо сбившейся в кучечку в чужом неприветливом доме.

Проем парадного входа был напрочь замурован красными кирпичами, только вверху его были оставлены два квадратных окошка. Васька без труда догадался, что там обосновалась Николаева кинобудка.

Пол чисто вымыт, желтые и красные кафельные шашечки его были скользкими, словно лед. Люди ходили по нему осторожно, не отрывая подошв, катались, словно мальчишки по замерзшим лужам.

Два инженера-акустика (один пожилой, усталый какой-то, другой — молодой, с гладко причесанными блестящими волосами), оба в галстуках и при шляпах. Шляпы они носили в руках. Акустики бродили по церкви, и то один, то другой кричали «эй!» и прислушивались к гулкому эху, которое откликалось в разных концах. После этого они обменивались двумя-тремя словами и шли в дальний угол и там снова кричали «эй!».

За ними неотступно следовали председатель исполкома Глазунов, завклубом Степанов и клубный сторож Саввич. Головы у всех были обнажены, свои фуражки и кепки они, как и те, двое приезжих, держали в руках. Только уборщица Настя стояла на одном месте. В белом платочке, завязанном слабым узлом на груди, она облокотилась о дверной косяк и грустно смотрела в зал.

Васька тоже сдернул с головы отцовскую шестиклинку, и они с Николаем присоединились к мужской группе.

Откричав во всех углах «эй!», акустики вышли на центр церкви и остановились в проходе между скамейками, задрав головы вверх. Там, высоко-высоко, на самом своде купола, была фреска — поясное изображение Вседержителя. В одной руке он держал шар с крестом, а другой,

поднятой на уровень головы, распрямив два пальца — указательный и безымянный, он словно предупреждал о чем-то. Глаза Вседержителя были широко раскрыты и смотрели вниз строго и печально.

— Вот главная причина, — сказал пожилой акустик, указывая на Вседержителя. — Купол. Его надо закрыть потолком.

— Но вы же понимаете, что это невозможно сделать без капитальной перестройки здания? — возразил ему Глазунов. — Нам надо сейчас определить, где лучше установить динамики и какая будет слышимость. Вот главная задача.

— Мы понимаем... — кивнул акустик.

— Для этого нам всем, наверное, нужно сесть на скамьи в разных местах зала, а кто-то один пусть говорит, — предложил Глазунов.

— Ну, что ж, давайте, — нехотя согласился пожилой и кивнул своему напарнику, чтобы тот сел в том конце, а сам направился в противоположный.

Васька сел тут же, где стоял, а Саввич долго топтался на месте, вертелся — никак не мог выбрать себе место, наконец решился и посеменил на последнюю скамейку, откуда он обычно в старом клубе смотрел кинокартины.

— Настя, иди и ты садись, будешь слушать, — позвал Иван Егорович уборщицу.

Та встрепенулась, отмахнулась:

— Что вы, господь с вами... — И торопливо вышла на улицу.

— Бойтся, — улыбнулся Степанов. — Запугали и Настю.

— Все сели, а кто же голос подавать будет? — засмеялся Глазунов. Он окинул всех глазами, поманил Ваську: — Мальчик, пойдй к экрану и скажи оттуда что-нибудь громко.

Не помня себя от радости, Васька побежал, заскользил к бывшему алтарю, поднялся на амвон и крикнул:

— Эй!.. — Постоял немного и снова: — Эй!.. Эй!..

Подхваченное многочисленным эхом, Васькино «эй» летало по залу из конца в конец, сшибалось друг с другом и не скоро затихло.

Глазунов махнул Ваське, что-то стал говорить, но Васька не мог понять что, и тогда предрика встал, подошел к экрану:

— Ты говори что-нибудь... Говори, — он показывал на свой рот.

— А что? — Васька покраснел: не справился с таким пустяковым поручением самого Глазунова!

— Слова какие-нибудь. Слова. Книжки у тебя никакой нет? Нет. Жаль. А то прочитал бы. Слова говори. Ну, что-нибудь, только — слова... Выступай...

— Товарищи!.. — произнес Васька.

— Во! — обрадовался Глазунов и пошел в зал на свое место.

— Товарищи!.. — повторил Васька. — Великая Октябрьская революция!.. Да здравствует стахановское движение! Сто две нормы вырубить угля за смену — это, товарищи, не шутка! — Васька замолчал, припоминая, что еще такое сказать, о чем в газетах пишут.

Глазунов махнул ему, чтобы продолжал.

— Товарищи!.. — снова произнес Васька. — Слава товарищу Кокинаки, который установил мировой рекорд высотного полета в стратосферу! Смерть фашисту Муссолини! Руки прочь от Абиссинии! — Васька вошел в роль оратора, а лучшим образцом для него в этом деле был Глазунов. Передохнув, он продолжал, жестикулируя: — Пламя Великой Октябрьской социалистической революции разгорается все больше и больше! Оно зажигается во всех странах мира! На Западе и на Востоке поднимается мозолистая рука рабочих!.. Да здравствует мировая революция во всем мире! Смерть международному капиталу! Долой мировую буржуазию! Нидер мит фашизмус! — закончил он призывом, который написал на доске учитель в день убийства Кирова.

В зале улыбались, а Николай хохотал, подпрыгивая, и, когда Васька кончил, он зааплодировал. Глазунов тоже улыбался и то крутил головой, то низко склонял ее и чесал у себя за ухом.

Васька не понимал, в чем дело, смутился, медленно сошел с амвона и остановился у передней скамейки. «Это все Николай, черт конопатый, виноват — надо было ему хлопать...»

Первым к Ваське подошел Глазунов:

— Ах ты озорник! Ты чей же будешь такой? Здорово, здорово ты меня!.. Даже перещеголял: по-немецки я, брат, не умею. — Он потрепал Ваську за вихры. — Пародист! —

И обернулся к остальным, все еще улыбаясь: — Ну что, товарищи? По-моему, все слышно? Разборчиво? Я, например, оратора вполне понял.

— Вполне, вполне! — сказал Иван Егорович.

— Да, пожалуй, — кивнул пожилой акустик. — Разобрать можно. Отдельные слова, правда, сливаются, но ведь учтите: зал все-таки пустой. А когда он заполнится зрителями, будет совсем другое дело: эхо исчезнет.

— Одежда зрителей будет поглощать лишний звук, — пояснил молодой акустик, — и он будет мягче, разборчивей. В театрах для этого специально вешают портьеры.

— Ну и отлично! — обрадовался Глазунов и обернулся к Степанову: — Иван Егорович, значит, как и было решено: в воскресенье открытие. Какую картину заказали?

— «Путевку в жизнь», — сказал Николай.

— Ну что ж, хорошая картина.

— Специально попросил, — похвастался Николай. — Начнем с первой советской звуковой кинокартины. И пойдем по порядку.

— Правильно, — одобрил Глазунов.

Когда все ушли, Николай хлопнул Ваську по плечу:

— Ну, ты и дал!

— А что? Почему все смеялись?

— Хватит притворяться. Все хорошо: здорово скопировал Дмитрия Ивановича.

Только теперь до Васьки дошло, почему трепал его за вихры Глазунов, и он залился густой жаркой краской.

— Он что, родственник тебе? — спросил Николай. — У тебя ж мать Глазунова?

— Не, не родственник, — с сожалением сказал Васька.

— Тогда — смело ты!.. А я подумал, не дядя ли он тебе, — так смело шпарил.

— А я ничего не разобрал, — подошел Саввич. — Бу-бу. Ни одного слова. А все чего-то смеялись.

— «Бу-бу»! — передразнил его Николай. — Тебя хоть куда посади, все равно ничего не расслышишь: глухой как тетерев.

— Кто глухой? Я глухой? — обиделся Саввич. — Я ишо знаешь как слышу! «Глухой»! Я вам покажу, какой я глухой. — И засеменял к выходу, завихлял бабьим задом.

Клуба из церкви, как ни старались Глазунов и Иван Егорович, не получилось. Что-то напутали акустики,

пообещав, что звук запутается в одежде зрителей и потеряет свое эхо.

Несмотря на то что в поселке впервые шел звуковой фильм, на сеанс людей пришло не так уж много — в основном молодежь. Пожилые, наверное, поостереглись идти в церковь смотреть кино. Но тем не менее места почти все были заняты, и для эксперимента народу было вполне достаточно. Пришел сюда и Дмитрий Глазунов, он сидел в центре со своей невестой, Дашей Протасовой.

Васька с Николаем были в кинобудке и по очереди заглядывали в смотровое окошко в зал. Николай этот фильм видел уже не раз и потому, наладив звук, отдал Ваське наушники.

— Хорошо! — восторгался Николай.

— Как здорово! — восклицал Васька.

Но здорово было в наушниках, а в зале — не очень. Еще не прошло и полчаса, как в кинобудку прибежал Саввич, закричал на Николая:

— Убавь звук — там ничего не разобрать. Иван Егорович приказал.

Николай отобрал у Васьки наушники, убавил звук. Однако минут через пять прибежал сам Иван Егорович и попросил:

— Прибавь чуть — ничего не слышно.

Так весь сеанс Николай то убавлял, то прибавлял звук, но зрители все равно ничего не могли разобрать и с половины картины стали расходиться.

Глазунов досидел до конца, и, когда в зале зажегся свет и все ушли, он все еще сидел, о чем-то думал. А рядом с ним сидела его невеста, беленькая поселковая красавица.

— Дима, пойдем... — напомнила она.

— Да... Сейчас...

Подошел Иван Егорович, Глазунов посмотрел на него, сказал грустно:

— Выходит, не вышло?

— Да, не получилось... — виновато сказал Степанов.

— Тут надо капитально перестраивать, — горячо заговорил Николай, возбужденный сеансом. — Слева и справа надо стены возвести кирпичные, потолок нормальный сделать. А пространство, которое останется за стенами, оборудовать под фойе, нагородить комнат для кружков. И клуб будет во!

Глазунов смотрел на него, слушал и молча, как-то отрешенно кивал. Иван Егорович обвел глазами зал из конца в конец, проговорил:

— Так-то оно так... Да где столько средств взять?

— Ну что ж, — поднялся Глазунов. — Пойдемте, утро вечера мудренее...

Но следующего утра для Глазунова уже не было. Той же ночью, когда он, проводив Дашу, стоял с ней у ее дома, налетели бандиты и убили его. Дашу тоже били, но она осталась жива...

Весть эта уже с самого раннего утра несколько раз облетела весь поселок, обрастая правдой и неправдой о случившемся.

Преступление свершилось страшное, оно всколыхнуло старых и малых, врагов и недругов — равнодушных не было: Глазунова знали все, это была фигура — деятельная, энергичная и умная.

Но больше всех этой смертью, кажется, был потрясен Васька. Только вчера он видел его своими глазами — живого, красивого, правда, немного грустного от неудачи с новым клубом, но, как всегда, волевого, целеустремленного, и вдруг сегодня его уже нет. Не веря ушам своим, Васька помчался к Николаю. Он нашел его в старом клубе, в красном уголке, перед белым полотном, натянутым на большом подрамнике. Перед ним на столе лежала разлинованная на квадратики фотография. Васька взглянул на карточку и узнал на ней Глазунова — молодой, веселый, улыбающийся.

Гроб с телом Глазунова установили в старом клубе, в зале, на высоком постаменте, обитом красным с черными полосами полотном и украшенным зелеными сосновыми ветками, привезенными из Славянского леса. У постамента и у сцены стояло много венков с красными и черными лентами.

На сцене, окаймленной черным крепом, в рост человека — портрет Глазунова.

Жужжит, бьется о стекло мохнатый шмель, ищет выход на волю и никак не найдет его. И невдомек ему спуститься ниже одной шилкой — там открыто окно, оттуда тянет запахом цветущей акации и пыльной улицы, оттуда заглядывают ветки молодых тополей.

Устанет, опустится обессиленный на поперечную рамку, отдышится, побеждает враз-вперед и снова заводит свой мотор. Взревет самолетом, сделает круг по залу, над стоящими у стен в скорбном молчании родными и друзьями, над покойником, утонувшим в цветах — живых и бумажных — и опять к окну, об стекло тук-тук...

Следит за ним испуганными глазами Настя — клубная уборщица, крестится украдкой, шепчет молитву, просит бога помочь Глазуновской душе вырваться на волю. «Ишь как мается, как бьется грешная душенька его... Правильно, знать, в старину делали — потолок прорубали, чтобы облегчить выход душе... Прими ее, господи... Ишь, ишь бьется. То-то — грешная...»

Обессилен совсем шмель, хочет взлететь — не хватает силенок. Заводит мотор — не заводится, тут же глохнет. Дышит тяжело. Отдышался, завелся, полетел по залу, присел на цветы у подножия гроба, обрадовался — думал, на волю вылетел. Стал бегать по цветам, запускать хоботок вместе с бархатной головкой в чашечки цветов и вдруг, рассерженный, взлетел: не те цветы, сухо в чашечках, — стрелой к окну и об стекло тук-тук...

— О, господи! — крестится Настя.

— Будя, дура несознательная, — шепчет ей сердито Саввич, облокотившийся на палку. — Обнаковенный шмель, а ты черт-те што придумала. Как была с придурью, так и осталась.

— Дурак кривобокий... — огрызнулась Настя и перекрестилась уже не украдкой, а медленно, размашисто и пошла к выходу.

Заиграл оркестр. Тихая и скорбная музыка разлилась по залу. Заплакала на стуле у высокого гроба женщина в черном — мать Глазунова, нагнулась над ней приехавшая из города дочь, утешает. Стоит рядом высокий кудрявый парень в военной форме — младший брат Дмитрия. Глаза у него заплаканные, губы по-мальчишески дергаются. Чтобы не разрыдаться, кусает нижнюю губу, крепится, ни на кого не смотрит: встретится глазами, увидит сочувствие — и не сдержат потом слез. Чуть в сторонке стоит, склонив голову, Даша. На ней черная кружевная шаль, которая делает ее еще более красивой. Все жалеют Дашу — осталась ни невеста ни вдова. К ней подошел старший брат Дмитрия — Григорий, который тоже жил

и работал в городе, где он был каким-то большим областным начальником. Подошел к Даше, стал что-то шепотом говорить ей...

Каждые пять минут сменялся почетный караул. Железнодорожники, рабочие кирпичного завода, колхозники, представители различных районных организаций, председатели колхозов района, друзья, родственники... Сколько их, людей искренне скорбящих, собралось сегодня здесь, чтобы проводить Глазунова в последний путь! Если бы он мог хоть на секунду, хоть краешком глаза взглянуть на окружающих, он немало удивился бы и воскликнул: «Друзья мои хорошие, как вас много!.. Спасибо вам...»

Льется траурная музыка. Она то совсем затихнет, то вдруг взлетит на скорбных нотах, взорвется, замечется, терзаясь в безутешном горе, и, пометавшись, обессиленная, падает, тихо всхлиывая. А когда стихает, слышно, как перешептываются столпившиеся женщины, слышна суeta каких-то приготовлений в фойе.

В почетном карауле встал секретарь обкома. Высокий, стройный, при черном галстуке и в черном костюме, с траурной повязкой на рукаве, он встал там, где только что стояла в черненьком платочке свинарка-пенсионерка, стахановка из местного колхоза «Путь к социализму». Он стоял в скорбном молчании, а Васька смотрел на него и думал: «Как хорошо, что сам секретарь приехал на похороны...»

В полдень уставшие музыканты прекратили играть, сложили трубы прямо на пол, пошли за кулисы курить. Наступила минутная тишина, а потом засуетилась толпа, расступились — принесли специальные носилки. Несколько мужчин переставили гроб с пьедестала на носилки и оглянулись по сторонам, ожидая дальнейших распоряжений. Повисла на руках своих детей совсем обессиленная мать Глазунова.

Вошел Иван Егорович Степанов, за ним секретарь райкома комсомола с бархатной подушечкой — на ней поблескивала награда Глазунова — орден боевого Красного Знамени. Степанов поторопил замешкавшихся парней с портретом. Большой портрет Глазунова в черной рамке, который они несли со сцены, мешал им пройти сквозь узкий людской коридор. Наконец они пробрались на середину,



повернулись лицом к выходу. Иван Егорович окинул в последний раз процессию, приподнялся на цыпочки, кивнул кому-то. И в тот же миг ухнул барабан, взвыли медные трубы, зарыдали контрабасы. Парни с портретом медленно двинулись к выходу, за ними — секретарь с орденом на подушечке.

Осторожно подняли гроб, понесли.

Вскрикнула Даша и тут же закрыла себе рот влажным от слез носовым платком, уткнулась лицом в мокрые ладони.

Мальчишки повисли на заборе, на деревьях, смотрят, как выстраивается процессия. А когда она наконец тронулась в путь, попадали перезрелыми плодами на землю, сыпанули воробьиной стаей вперед. Обогнали толпу, поравнялись с оркестром, залюбовались причудливо изогнутыми трубами, вздрагивая при каждом буханье барабана. Заметили, что два трубача играют с перерывами: они то и дело опускают свои трубы, о чем-то разговаривают между собой и даже улыбаются. Побежали дальше. От гроба — подальше — бочком, бочком, по-над самым забором, догнали парней с большим портретом. Думали пристроиться к ним, но Иван Егорович сердито взглянул на них, дернул головой, отгоняя глазами назад.

После отдыха носилки с гробом взялись нести секретарь обкома, секретарь райкома и еще человек шесть, приехавших на похороны.

Процессия двигалась к школьной площади. Там, у высокого обелиска, воздвигнутого стараниями Глазунова в честь погибших во время гражданской войны, была теперь вырыта могила и самому Глазунову, туда и ведет процессию Иван Егорович. Завидел памятник, вспомнил, как выбирал для него место Глазунов, как заботился, чтобы было все хорошо — и место, и надписи. Стоит обелиск на виду, деревья почтительно расступились вокруг него, красный ковер из цветов расстелен у самого подножия. На чугунной плите надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу народа в борьбе с врагами революции». Бронзовый венок у постамента, а чуть сбоку каменная плита, и на ней тоже надпись, но уже другая: «Живые вам бесконечно должны». Сам придумывал... Все сам придумывал. И получалось у него все, как хотел.

Носилки с гробом поставили на свежей насыпи — на

самом краю могилы. Начался траурный митинг. Его открыл секретарь райкома Андронов. Первым выступил секретарь обкома. Говорил он недолго, но хорошо, трогательно. Потом выступали рабочие, колхозники, директор школы. Выступил и Иван Егорович Степанов.

Васька протиснулся поближе к могиле, смотрел на покойника и невольно плакал. Увидел Степанова, прислушался.

— Классовый враг не складывает своего оружия. Кулаки и подкулачники, мракобесы-церковники всеми силами стараются помешать нам строить новую жизнь. Они убивают из-за угла лучших людей. Сегодня они выхватили из наших рядов Дмитрия Ивановича Глазунова. Пусть не думают, что им простится! Товарищи, повысим нашу бдительность, крепче сплотим наши ряды! — Степанов помолчал, посмотрел на покойника. — Это был принципиальный товарищ, честный и прямой человек, настоящий коммунист-ленинец, — говорил он печальным голосом. — С ним было легко работать, и я очень скорблю об этой утрате. Прощай, наш дорогой друг Дмитрий Иванович...

Среди начальства Васька увидел Ребрину; она мяла в руках листок бумаги, поминутно заглядывала в заготовленную речь, похоже, готовилась выступать. «Неужели и она будет говорить?» — подумал Васька.

Секретарь райкома покосился на Ребрину, переступил с ноги на ногу и, нагнувшись к секретарю обкома, сказал ему что-то на ухо. Тот кивнул, и секретарь объявил, что траурный митинг закрыт. Васька с благодарностью и уважением посмотрел на секретаря.

Засуетилась, задвигалась толпа, кто назад стал продираться, кто, наоборот, лез к самой могиле. Земля обрушивалась и падала в яму, и тогда суровые и деловитые мужчины просили отойти подальше.

Ваську тронули за рукав, он оглянулся: какой-то мужчина держал под локоть Дашу — глазами он попросил Ваську уступить ей место. Васька, не спуская глаз с Даши, посторонился. Под низко надвинутой черной шалью Васька заметил, что у нее забинтована голова и лоб. Под правым глазом большой синяк. Держа у себя на груди концы шали, Даша молча смотрела на покойника.

Подняли крышку, накрыли и быстро застучали по ней

молотками. Закричала мать Дмитрия, упала на гроб, забилась в истерике. Ее подняли, оттащили, а она вырывается, рвет на себе одежду:

— Митя, что ты наделал!.. Митя, что ты наделал!..

Повис гроб на длинных белых рушниках над могилой, покачался, выровнялся и быстро опустился на дно. Грохнули трижды из ружей, застучали комья земли о крышку гроба, и торопливо заработали лопаты.

Над могилой Глазунова соорудили большой памятник из кирпича разобранной церковной сторожки. Памятник этот сделали в виде мавзолея — с трибуной, и теперь отсюда выступали ораторы во время митингов и демонстраций в Первомайские праздники и годовщины Октября, и каждый раз Васька видел здесь обновленную и замазанную в неглубокую нишу памятника фотокарточку Глазунова — молодого, красивого, улыбающегося...

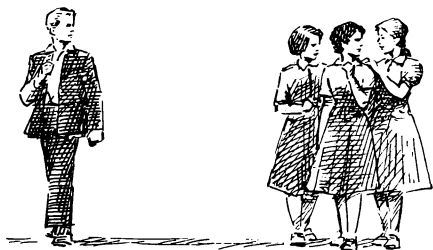
В ту же неделю были арестованы братья Цубриковы — племянники бабки Марины Симаковой — и еще двое с пристанционного поселка. Цубриковых Васька знал. Оба суровые, нелюдимые были, смотрели исподлобья. О них говорили, будто в гражданскую войну они воевали один у белых, а другой в какой-то банде. Но бабка Марина всячески опровергала эти слухи:

— Ну, злые языки! Ну, злые языки! А ведь они в Красной Армии воевали, у них и документы есть. И изранены оба.

Что изранены — то верно: у одного сабельный шрам через всю правую щеку, а у другого нос перебит и набок свернут. Видать, отчаянные рубаки были.

«Вот они, враги какие! — удивленно думал Васька. — А жили, как все: работали на заводе и никогда против Советской власти не агитировали, а сами...»

А церковь после этого долго стояла закрытой на замок. Сначала у нее прохудился забор, и целые звенья чугунной решетки стали постепенно исчезать; потом лист за листом улетучилось куда-то железо с крыши; прошло немного времени — начали таять стены. Сперва тайком, а потом и в открытую люди долбили крепкую церковную кладку, добывая на свои хозяйские нужды кирпич. Видя такое дело и боясь, как бы кого не придавило, поссовет взял разборку церкви в свои руки, разобрал и продал кирпич нуждающимся жителям по сходной цене.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



## ОТЦЫ И ДЕТИ

*Гости у нас расходятся, как правило, все сразу. Придет время, и вдруг кто-то вспомнит, что ему надо уходить, за ним другой встрепнется, тоже вспомнит — то ли дети одни, то ли поросенок не кормлен, тут же и третий поднимется — на работу утром рано вставать. И пошло: засобираются все, засуетятся. Хозяева уговаривают остаться еще хоть на часик, хоть на полчасика — самый же разгар веселья: разговоры пошли, песни наладились. Нет, не уговаривай, хозяйка, не остановишь: пришла пора. Да и самой уже время отдыхать, устала ведь, а после гостей работы сколько! Одной посуды гору перемыть — ночи не хватает...*

*Выходят на улицу всей гурьбой, впереди женщины — песни поют, позади мужчины — курят, продолжают неоконченный разговор или балагурят. Идут медленно, не спеша.*

*Мужики завели спор на вечно болезную тему: «они и мы». «Они» — это наши дети, а шире — нынешняя молодежь. А «мы» — это мы, старшее поколение. И то, что в двадцатые годы было уже взрослым, и то, что повзрослело*

в сорок первом. Время как бы сравнило нас, и поэтому мы часто выступаем единым фронтом. Но нередко нам, среднему поколению, приходится воевать на два фронта — и со своими отцами и со своими детьми.

Сейчас как раз идет такая война: мы с Федором — моим ровесником и двоюродным братом — отбиваемся от взбунтовавшихся союзников — стариков, насеивших на нас с тыла.

Спорят пока в основном двое — Федор и его отец Платон. Старик со свойственной ему манерой разговаривать то и дело «подшкыливал» сына, а тот спокойно, с улыбкой, не обращая внимания на его подковырки и не давая себя завести, отвечал отцу по существу. Платон упрекал Федора, а заодно и всех нынешних отцов и матерей в том, что они плохо воспитывают своих детей.

— Мы вас вырастили, как следует, — говорил он. — Нам за вас не стыдно, не подвели, испытания разные прошли. Войну! А вы кого растите? Какиясь они жиденькие, теперешние... Одни ловчат, другие бурчат — недовольные, трети волосья поотпускали и ходят, как святые печальники. Или — хулиганы, матерщинники. — Чтобы нанести последний удар, Платон даже остановился, обернулся к брату Гаврюшке, поднял палец. — Ты ж понимаешь, до чего дошли? В армию не хотят идти! Когда ж это было такое?!

Федор ухмыляется, ждет, когда отец выговорится, ответ у него уже готов, но он не спешит с ним, а сначала спрашивает:

— И много ты таких знаешь?

Ой, боже мой! — засмеялся Платон. — Да сколько хочешь!

У тебя уж, наверное, штук пять своих внуков. Хоть один среди них есть вот такой, как ты тут нарисовал? Мой старший, Вовка, служит в армии, офицером скоро будет.

В армии! И он так просто пошел? А войну с Веркой забыл уже? Как она знала тебя в военкомат, чтобы ты освободил его от армии?

Да рази то она от себя? — перебил его Гаврюшка. — Оно теперь поветрие такое: как чуть, так бегут освобождать сыночка. — И непонятно было — то ли он защитил жену Федора, то ли хотел помочь Платону.

Платон посмотрел на Гаврюшку, с минуту подумал, кивнул:

— Ото ж и я ему о том толкую... — И опять к сыну: — Ну, ладно, старший в армии, хорошо. А младший? Он же волосатик у тебя и бегаёт с магнитофоном! — И засмеялся довольный: накрыл Федора.

— Ничего, — сказал спокойно Федор. — Он еще молодой, пусть побегает. Придет время, и тот постригется.

— Гляди, прозеваешь!

— Не прозеваю...

Разговор вроде шел на убыль, и вдруг его подхватил Гаврюшка, подхватил так горячо, будто эта тема долгое время пекла его до нестерпимой боли и не давала покоя.

— Да-к оно ж, понимаешь, какая арифметика получается: чем больше человек имеет, тем больше ему хочется. Давай и давай! — Обращаясь главным образом к Платону, Гаврюшка заговорил сердито, даже раздраженно, вроде ему было обидно, что тот спорил как-то несерьезно, с ухмылочкой, с шуточкой. — Ты гляди сюда. — И он стал загибать пальцы: — Одежа, обува, жратва — это ж всего сейчас по горло, голода они не знали и не знают, понятия даже не имеют, шо это такое. А возьми разные предметы — рази можно сравнить с довоенным? Возьми хоть эти... как их? Часы. — Он постучал по руке. — У кого их сейчас нет? Самый сопливый пацаненок уже с часами. А тогда у кого были часы? Вспомни. Ре-е-д-ко у кого. А велосипед? Это ж мечта была несбыточная! Петро наш только перед самой армией купил себе, а тут война нагрянула, так и не покатался. А до этого у кого был велосипед? Только у Гришки-баптиста, вон што на краю улицы живут. Два — на всю улицу! А теперь? У каждого мальчишки! Того мало — мотоциклы имеют, а то и машину. О фотоаппаратах мы и понятия не имели, патефон тоже один на всю улицу был — у Сашки Симакова. Теперь же фотоаппараты в каждой хате, да не по одному; транзисторы, магнитофоны, телевизоры — всего по горло. А работать ленятся, а в армию идти не хотят. А почему? От сытого корыта отрываться не хочется, трудно отрываться. Вот она какая арифметика получается, брат! Или как? — Гаврюшка обернулся ко мне.

— У кого так, а у кого — иначе... — не согласился я с Гаврюшкой. — Целину поднимали — молодежь в ос-

новном там работала, и, кстати, в очень трудных условиях. На Даманском тоже была молодежь, уже это поколение, внуки ваши, и показали себя очень даже здорово. А сейчас на БАМе?.. Так что всех стричь под одну гребенку нельзя.

— Ну это да, конечно... — нехотя согласился Гаврюшка. — Но все ж таки сейчас туеядцев стало больше, чем было до войны. Больше хлыстов, которые боятся трудностей. Платон прав: шось с психологией не то, вывих какой-то есть.

— А может, мы склонны приукрашивать прошлое? Свое прошлое?

— Да че там красить! Ты возьми теперешние песни — разве ж их можно вот так заспывать в компании? Вон, слышишь, бабы спивают? Дак то ж песня — ей, наверно, сто годов уже! Или возьми моду: волосья поотпускали, ходят как пудели, а штаны широченные и с бахромами, будто занавески.

— Не все и у нас было нормально. Тоже носили широкие штаны — тридцать два сантиметра. И нас тоже осуждали.

— Да кто их носил! Тогда и нормальных-то штанов не хватало. Ты носил? — спросил он у меня.

— Я?.. Были и у меня. Правда, не совсем такие, как хотелось. А вот Жек носил.

— Это какой Жек? Дружок твой, што на гармонии играет? Ну, а много таких Жеков было?

— И музыка была, которую осуждали, и танцевать запрещали...

— Не было такого! — резко сказал Гаврюшка.

— А танго, фокстрот?

— Ну!.. Это так, трошки было, — смягчился он, вспомнив свое. — Мы танцевали краковяк, «наурскую», потом полечку.

— «Барыню», — подсказал Платон.

— Во-во! «Барыню». И никто не запрещал — танцуй сколько влезет! — махнул рукой Гаврюшка.

— В каждое время, в каждом поколении есть своя мода, — продолжал я, — свои запретные плоды, которые старшие запрещают срывать в силу своего консерватизма, есть свои кумиры, идола, которым поклоняются. И когда нынешняя молодежь состарится, тоже, наверное, будет говорить своим детям: «Вот у нас музыка была! Вот наше



поколение было!..» Привычка к своему окружению с детства — это много значит. Мне тоже кажется, что мы содержательней жили, хотя промахов и недозволенного творили немало. Но это же не стало главным — вот в чем суть. А без промахов, наверное, труднее понять истинное.

— Да что ж опять кому как, — возразил Гаврюшка. — Другому, может, промахи как раз больше всего по душе, и он всю жизнь так и «промахивает». Я о чем толкую?.. И Платон вот тоже... О чем? Армия — это главное в нашей жизни, иначе нас сразу сожрут. Мы были молодыми — только этим и жили: ждали, скоро ли в армию! И если кого в армию не брали — это ж обида какая была! А теперь? Как повестка пришла — так мать в слезы, отца в шею — иди выручать сына, будто того на каторгу угоняют. Ты пойди в военкомат, посмотри — редко увидишь допризывника одного, а больше все с папой да с мамой, которые шныряют с кучей справок то к одному, то к другому начальнику. Если не удастся совсем освободить от армии, добиваются, чтоб послали куда полегче. А время-то сейчас какое? Спокойное! Ведь не то што тогда было: то конфликт на КВЖД, то Хасан, то Халхин-Гол, то белофинны, то еще разное. И не боялись! А война началась — все пошли! Никто не сачканул!

— Были, сачковали.

— Кто? Я таких не знаю.

Я стал перебирать в памяти своих одноклассников и знакомых: Николай Шляхов — погиб, Сашка Толбатов — пропал без вести, Сашка Глазков — погиб, Иван Пыжов — погиб, Иван Костин — ранен, Миша Белозеров — партизанил, Илья Солопихин — воевал, Жек Сорокин...

— Ну, тот же Жек...

— Правильно! — чему-то, какой-то своей мысли обрадовался Гаврюшка. — Правильно! А ты воевал, и тебя два раза ранило, а могло и убить. А Жек на гармошке наяривал. Правильно, оно так и получается, как я говорю: Жек, у которого и баян был, и широкие штаны были, и жратвы — вот так, — Гаврюшка полоснул ребром ладони себя по горлу, — а на фронт не пошел! Почему? От сытого корыта гад не хотел отрываться? И при немцах потом играл — все ублажал их, и сейчас играет на свадьбах да на танцах, бегаёт как бобик. Вот оно и получается, што моя арифметика правильная: от жиру бесются! Так?

— Не совсем так, — не согласился я с Гаврюшкой, хотя против его убежденности, я чувствовал, все доводы будут напрасными.

Меня снова сменил Федор, он сказал:

— Дядь Гаврюш, так что ж, по-вашему, выходит, что нам надо теперь искусственно создать трудности?

— Кто так говорит? — развел Гаврюшка руками. — А, Платон? — позвал он на помощь старшего брата.

— Надо вывих в психологических мозгах лечить, — сказал Платон серьезно. — Мы накормили людей, обули и думаем: всё, свое дело сделали, остальное, то есть сознательность, само придет. Нет, брат, над мозгами тоже надо работать. Тем более што над нами другие очень шибко работают. Вон внучка моя, Кларкина старшая, бывает, поймает по приемнику, слышу — они нас так полоскают, так полоскают, што и не хочешь, а можешь закачаться. Нет, они не прямо, а хитроумно все это делают, исподтишка — я ж слышу, меня ж не обманешь, куда он разговор клонит. Тоже умные, паразиты!

На перекрестке встречная машина ослепила идущих ярким светом, разрезала их надвое — все сошли на обочину, по ту и другую сторону дороги. Песня смялась, женщины умолкли.

«Москвич» въехал в гущу компании и остановился. Из него вышел Никита — Карпов-старший. Низенький, плотный, вразвалочку обошел всех, поздоровался. Мне больше других тряс руку, улыбался:

— С приездом!.. Надолго? Может, ко мне заехал бы?

С отцом поздоровался с последним. Тот положил руку Никите на плечо, спросил:

— Ты куда на ночь глядя? Чи случилось што?

— До вас... Завтра приезжайте к нам — Николая в армию провозжать.

— Уже? — удивился Карпо.

— Миколку в армию берут? — всплеснула руками Ульяна. — Боже мой, как времечко-то летит!

— Уже, — подтвердил Никита. — И вы, мам, приезжайте. — И он полез в машину.

— Так ты што ж это, к нам и не зайдешь? — спросила Ульяна.

— Некогда, мам... Поеду. Там Надя ревет с утра... Гаврюшка толкнул меня:

— Слышишь? Ревет. А чего реветь? Два года пролетят, и не заметит. Парню армия нужна — для самостоятельности, для возмужания. А она ревет.

— Мать... Жалко...

— Мать! А твоя не мать была? А рази она ревела так? — он указал на мать, подошедшую к нам.

— Я за живот больше хваталась, — сказала она. — И плакала, а как же?.. Особенно когда слух прошел, што его убило...

— Дак то ж война была!

— Да и теперь... Каждой матери жалко своего дитя отпускать, — сказала мать. — Ну, што, прощаться будем? Спасибо вам, братики мои дорогие, што пришли, проведали. — Она стала со всеми целоваться, расстроилась от чего-то, зашмыгала носом.

Обратно от перекрестка мы возвращались вчетвером. У своего двора Ульяна наказала матери:

— Кума, ты ж завтра поглядай тут на наш двор, мы с утра пораньше подадимся до Микиты...

— Ладно... А как же? Пригляжу, — пообещала мать, и мы пошли к своему дому.

Но не успели сделать и двух шагов, как услышали оклик:

— Кума Нюрка!.. Нюр?..

Мы оглянулись, возле своих ворот стояла Дарья Чуйкина, и под светом лампочки на столбе было видно, как она машет рукой — подождите. Мы с матерью остановились.

— Зачем это я Дарье вдруг понадобилась? — вслух подумала мать.

— Я гляжу, гляжу — да чи это Вася приехал? — говорила Дарья, подходя к нам. — Хоть зашел бы?.. Мы с Родионом Васильевичем часто вспоминаем твоих детей, Нюр. Какие были маленькие, как тебе трудно было с ними, а, глянь, всех вырастила...

— Да уж было... — согласилась мать. — Што ж теперь вспоминать? Было — пережили.

— Зайдите хоть на минутку.

— Поздно уже.

— Какой поздно!

— Ну, зайди, — сказала мне мать.

— А ты?

— У меня делов-то после гостей сколько! Иди, проведай дядю Родиона. Он же тебе когда-то голубя подарил.

— Помнит! — засмеялась удивленно Дарья.

— Как же не помнить. Я чуть было с ума не сошла, как увидела того голубя. Ну, иди, иди. Недолго только держите его, он ведь тоже утомился...

Я пошел к Чуйкиным. В передней горела тусклая лампочка, но и под ней было видно, что чистота здесь по-прежнему в большой чести. Дарья подала мне тапочки, я переобулся и прошел по половичку к горнице, заглянул в раздвинутые занавески. Там, как и в те далекие давние времена, всю комнату занимало огромное растение в деревянной кадке.

— Все тот же фикус цел? — спросил я.

— Нет, — улыбнулась Дарья. — Не фикус это. — И она щелкнула выключателем.

Лампы дневного света залили комнату мертвенно-блеклым «молоком». В кадке, оказывается, росло роскошное лимонное дерево, усеянное крупными зеленовато-желтыми плодами.

— Лимон! И плодоносит? — удивился я.

— Да! Круглый год, — похвасталась Дарья.

— А где же дядя Родион?

— Сейчас придет. В погреб полез. Да вот и он.

Сгибаясь почти вдвое, в комнату вошел Родион с охапкой самых разнокалиберных банок, которые он прижимал к груди двумя руками.

— Помоги, Даш... — попросил он жену.

Дарья разгрузила мужа, поставила банки на стол. Родион вытер руки платком, который вытащил из кармана двумя пальцами за уголок, поздоровался.

— Садись, Вася, — сказал он просто. — Поговорим, попробуешь нашего производства, — кивнул он на банки.

— То ж все из своих фруктов, — пояснила Дарья, перебив Родиона. — Из разных сортов.

— Виноград разводите?

— Да! Почти весь сад уничтожил, да он, правда, уже и старый был. Все старое выкорчевывает и разводит виноградник. Ну, садись же, садись.

Родион принялся разливать соки. Дарья нарезала хлеба, тоже под села к столу.

— Осенью заходи — виноградом угостим, — сказала она.

— Пей... холодненькое, — подвинул Родион стакан, — и ешь.

— Есть-то уже не хочется, — признался я. — Только гостей проводили.

— Слыхали... Немножко попробуй.

Не мастак по сокам, я не смог по достоинству оценить Родионовы успехи в новом для него деле: все соки казались мне одинаково кислыми. Но, чтобы не обижать хозяев, я, как умел, хвалил их. Да они, наверное, и в самом деле были хорошими.

Мы сидели, разговаривали. Из разговора я понял, что старики, прожив всю жизнь вдвоем, под старость заскучали одни. Ни родни, ни друзей. И виноградник, и лимоны — все это сделано, выращено своими руками, а похвастаться не перед кем, угостить некого, и поэтому Дарья весь вечер стояла в воротах, караулила, когда я буду идти мимо, чтобы позвать в свой дом... Мне было грустно у Чуйкиных.

— Жаль, что вы до войны не развели виноградник, мы бы хоть полакомились им через забор...

— Ой! — засмеялась Дарья. — Кто б говорил! Мы с Родионом Васильевичем часто вас вспоминаем и говорим: «Вот у Нюрки дети были. В голоде, в нужде росли, а штоб по чужим огородам, садам лазить — этого не было».

— Да было! — перебил я ее. — Было. Лазили. И к вам в сад лазили. И не раз. Ну как же!

— Наговаривай, — махнула Дарья рукой. — Бери вон сальце.

— Да, может, и было, — сказал Родион раздумчиво. — Што ж такого? Все мальчишки лазють... И теперь вон тоже. Не в этом дело. Один полез, а после и засовестился, а другой полез — понравилось, и пошел, дальше — больше.

— Все равно я не поверю, — стояла на своем Дарья. — Людская молва другое говорит. Што ж ты, против молвы?..

— Так, а разве молва всегда объективна к человеку? — возразил я Дарье. — Она ведь тоже, как на кого взглянет. Кого полюбит — того и возносит, не дает в обиду, а кого невзлюбит — хоть разбейся...

— Это точно, — согласился Родион.

— Не, не грешите... — стояла на своем Дарья.

— Да чего уж тут грешного? В одного вцепится — затаскает, заласкает, а другого, наоборот, уничтожит без причины. Как ком снежный с горы катится, и на него наворачиваются пласты этой самой молвы. Одному достается только чистый снежок, эдакий бальзам, а другому, кого невзлюбят создатели этой самой молвы, — одни лишь комья грязи. И хоть ты что, хоть вывернись наизнанку, хоть кричи: «Да подождите минуточку, остановитесь, взгляните, присмотритесь: я ведь хоро-о-ший!» Ничего! Не докричишься! Не услышат! Так и идет, катится потом уже по инерции эта молва. Инерция — великая сила. Молва...

— Это точно, — подтвердил Родион.

— Простите, я что-то не то понес...

— Не, все правильно. А у нас на производстве, думаешь, не так? Это точно: на кого как глянут, — поддержал меня Родион.

Мы еще поговорили. Но вскоре почувствовал, что устал, и запросился домой. На прощанье Родион срезал с комнатного дерева желтый лимон и дал мне. Я нес его, этот чудесный плод, холодный и пахучий, вдыхал его острый, освежающий аромат и удивлялся: сколь велика сила человека, если он захочет что-то сделать! Даже лимон вырастит у себя в хате!..

Я в тот вечер долго не мог уснуть. Сначала думал о Чуйкиных, а потом вспомнился спор с Гаврюшкой, и он почему-то больше всего именно теперь взбудоражил меня. В чем-то он был прав, а в чем-то — нет, о чем-то он судил слишком прямолинейно, и у меня только теперь находились слова для возражения... Как всегда, умен задним числом.

Взбудоражил, взъерошил мысли, пошли воспоминания. Какими мы были?.. Были... Разными мы были... И у нас разное бывало...



## РАДОСТЬ

Стояло долгое бабье лето — погода, которую Васька любил больше всего. Теплая, прозрачная осень — было в ней что-то и радостно-праздничное, и тоскливо-грустное: празднично было от короткого ласкового солнышка, грусть же навсвало тихое, безропотное увядание природы...

Сады еще не совсем облетели, и по ним с каким-то отчаянным буйством шныряли стаи скворцов в поисках несклеванных перезрелых вишен. Налетят большой шумной тучей, обсядут деревья — почернеет сад от них, и тут же с еще бóльшим шумом вспорхнут одновременно, взвьются высоко, будто мошкара, а через минуту, смотришь, уже опустились на луг, гоняются за букашками, ловят запоздалых мелких осенних бабочек. Хлопотливы, непоседливы стали скворцы, совсем не похожи на тех, что прилетают весной: готовятся к дальней и трудной дороге в теплые страны.

По огородам бродят без привязи коровы, козы, телята. Ребятишки, презрев все межи и изгороди, рады

раздолью: жгут костры из сухой картофельной ботвы и бурьяна, лакомятся остатками овощей на грядках. Оброненная морковка, капустная кочерыжка, недозрелый брошенный помидор, забытый рыжий огурец-семенник — все им приносит радость, все идет в ход, все съедается с превеликим удовольствием.

В кустах играют звонкие суетливые синицы. Летом их и не видно было, а тут, учуяв близкие холода, уже жмутся поближе к человеческому жилью, знают: здесь их и покормят, и обогреют. А если забудут, доверчивая птичка эта напомнит о себе — вдруг в самую стужу, в самую непогоду застучит остреньким клювиком в окошко. И уж тут чье сердце не дрогнет! Тотчас откроется форточка — и высунется теплая рука с крошками пахучего хлеба на ладошке или повиснет на шнурке кусочек сала. И частенько бывает, что надолго останется открытой форточка, — милости просим в нашу хату...

В воздухе тихо и покойно, медленно плавают серебристые паутинки. И небо в это время такое чистое и глубокое, и даль до самого горизонта словно промытая, и вода в речке прозрачная, как зеркальное стекло.

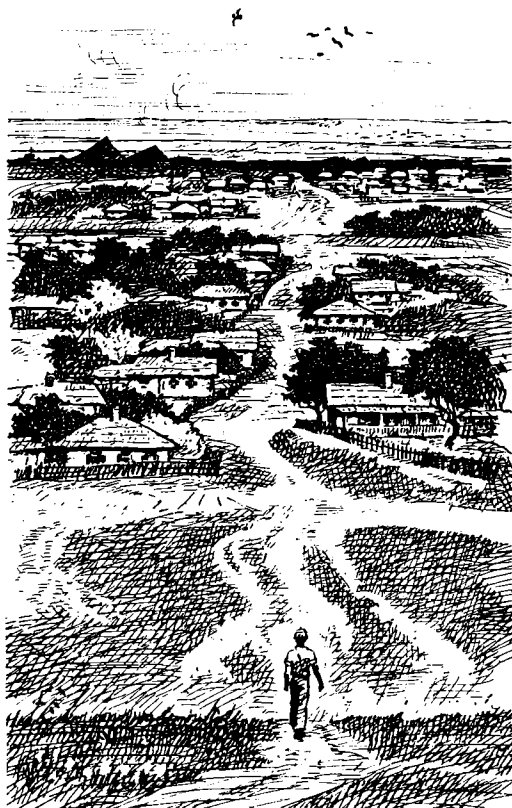
Что за благодать разлита в природе!

И не понять Гурину, почему так хорошо и радостно у него на душе, отчего такая легкость в теле, отчего такой подъем на сердце? Только ли погода тому причиной? Нет, конечно же, дело нынче не только и не столько в погоде: его приняли в комсомол! Потому он и радуется, радуется вдвойне погожему деньку, теплomu солнышку, веселым птицам. Вот и спешит он, торопится домой, чтобы похвастаться билетом.

Да и не спешит он вовсе, а идет своим нормальным шагом, но в теле такая легкость, что ноги сами несут его. Да не ноги вовсе, а будто и впрямь выросли у Васьки за спиной крылья, и он летит на них, как пушинка, как та беленькая невесомая паутинка, которая только что проплыла мимо.

Узкой полевой тропкой через жнивье шагает он, не жалея своих белых парусиновых туфель, так тщательно начищенных утром разведенным зубным порошком. Обзеленились носки, в морщинки изгибов набился порох земли и желтая пыльца от поздних поживных цветов — да только ерунда все это! Дома он снова окрасит их зубным порошком, выставит на солнце, и через минуту туфли опять





будут как новые. Зато насколько он сократил путь, зато насколько быстрее придет он домой!

Кончилась тропка, вышел Васька на твердую, накатанную, как асфальт, дорогу, отбил чечетку, и вместе с пылью поплыло от его туфель белое облако пахучего зубного порошка. Зашагал по дороге, запел:

Три танкиста, три веселых друга,  
Экипаж машины боевой!

Миновав кирпичный завод, Васька увидел с бугра родную улицу, хаты — свою, Карпову, Симакову, Чуйкину. И не выдержал — поднял руки вверх, закричал:

— Эге-е-ей!..

Крикнул и застыдился такого своего поступка, оглянулся вокруг — никого, успокоился. Тронул карман рукой — билет на месте. Остановился, достал, повертел серенькую книжечку с тисненым профилем Ильича на обложке. Понюхал. Новенькая книжечка пахла декстрином. Развернул, стал изучать написанное:

«Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.

<b>Фамилия</b>	<i>Гурин</i>
<b>Имя</b>	<i>Василий</i>
<b>Отчество</b>	<i>Кузьмич</i>
<b>Год рождения</b>	<i>1923</i>
<b>Время вступления в члены ВЛКСМ</b>	<i>1938 г.»</i>

Перечитал — все правильно, все так и есть, и билет, вот он, настоящий, значит, все случилось на самом деле, не сон то был, не давняя Васькина мечта о комсомоле.

Вручая Гурина билет, секретарь райкома наказывал ему беречь его, хранить в чистоте, носить всегда с собой, держать его у сердца. Быть преданным... Васька не выдержал, сказал взволнованно:

— Хоть сейчас куда хотите пошлите!.. В Испанию хочу.

— Верим, — сказал секретарь. — Но пока твоя задача учиться, учиться и еще раз учиться. Если понадобишься, позовем. А сейчас — учись как следует!

— Хорошо! Буду учиться! Только в Испанию, если можно, запишите меня сразу...

В Испании, видать, дела идут худо, республиканцам

приходится тяжело, поэтому Васька рвется туда — сразиться с фашизмом...

Сложил Васька билет, сунул в карман, оглянулся по сторонам — никого, и закричал опять:

— Эгей-гей-гей!..

И вдруг, откуда ни возьмись, Никита появился на тропе, что вьется вдоль оврага. Не заметил его Васька раньше за кустами, теперь стушевался, покраснел.

— Ты че орешь? — спросил у него Никита, подойдя поближе.

— Да... так... — отмахнулся Васька. — Вон хаты наши увидел... — И не выдержал, показал Никите билет: — Вот...

Осмотрел Никита комсомольскую книжечку и замычал одобрительно. Потом осторожно развернул ее, прочитал, губы у него задергались, улыбнулся он как-то грустно.

— Поздравляю...

— Спасибо. — Васька спрятал билет. — А ты?

— Да... — махнул Никита неопределенно. Потом пояснил: — Вступлю. Вот наладится... У нас же там еще ничего не организовалось, не определилось: все новое...

Никита поступил в только что образованный в поселке горный техникум, учился на электрика.

— Ну, это быстро организуется. Вступишь! — подбодрил его Васька.

— Вступлю.

Они постояли еще немного и разошлись каждый в свою сторону. Васька оглянулся, долго смотрел Никите вслед — низенький, коренастый, мужиковато покачиваясь, он не спеша удалялся в сторону поселка. Посмотрел на него Васька и почему-то взгрустнул: будто вместе с Никитой что-то оторвалось от него самого, оторвалось и ушло в невозвратное прошлое что-то большое, радостное, неповторимое...

Ушло детство... Ушло, отшумело последней Ульяниной руганью на Никиту, когда они вернулись из школы с ведомостями об окончании семилетки.

Чертовала Ульяна Никиту тогда как только могла — себя до слез довела, швырнула в него железную кружку, не попала, еще больше распалилась, кинулась в сарай за веревкой, окунула ее в бочку с водой, стала скручивать в тугую жгут:

— Вот я тебя сейчас допеку!.. Вот я тебе, паршивцу,

сейчас покажу, как надо учиться, как надо отца-мать почитать!..

Никита смотрел на нее исподлобья, терпеливо ждал своей участи. К бою он приготовился давно, еще как только получил на руки ведомость, в которой было три двойки, а это значило, что он опять оставался в седьмом классе. За это дома неминуемо следовала выволочка. Но чтобы такая — веревкой, да еще мокрой, — этого Никита не ожидал. «И откуда она это взяла? Раньше такого и в помине не было. Наверное, будет очень больно... Пусть!»

Никита еще ниже опустил голову, чтобы ничего не видеть. «Пусть!.. До смерти не убьет...»

Остановил Ульяну Карпо. Взял ее за локоть, сказал обреченно:

— Угомонись, Уля... Шо, ты этим поможешь? Остепенись...

— Как же угомонись?! Как же угомонись?! Мне ж обидно: все делали для того, щоб учился... А он, гад!.. Перед людьми стыдно.

— Ну шо ж теперь? Убить его? Значит, не пофартило нам.

— Не пофартило! Лень-матушка заела. Как же не быть обиды? У других, поглядишь, без отцов, живут впроголодь, а учатся. А тут? Чего тебе не хватало? — опять она стала наступать на Никиту. — Ну, скажи, какого рожна тебе ишо надо было?

— Угомонись... — повторил Карпо. — Не всем же быть учеными. Живут люди и без грамоты... А он, слава богу, семилетку имеет.

— Дак не имеет же он ее! Не имеет.

— Имеет, — твердо сказал Карпо. — Год просидел — шо ж оно все мимо ух пролетело?

— Если б то семилетку кончил! А то ж документа ему не дадут.

— Не в документе дело...

От слова к слову — видит Никита: смягчается мать, а потом и совсем утихомирилась, бросила веревку на завалинку, сказала Карпу:

— Тогда чертуйся с ним сам, моих силов больше нету, — и пошла в хату.

— Ладно... Как-нибудь... — Карпо поднял веревку, понес на место в сарай.

Никита остался один, думал, как быть, что делать.

Поднятый Ульяной гвалт был хорошо слышен в соседних дворах. От каждого ее слова Васька вздрагивал, будто это она его отчитывала: Васькина участь тоже висела на волоске. В последний момент пожалела его химичка — вывела итоговую тройку. А иначе и он сейчас размышлял бы, куда бежать от гнева и обиды матери. Там отец заступился, а тут ждать защиты не от кого.

Но все обошлось и там, и тут. Никита устроился в техникум, а Ваську мать тогда лишь слегка пожурела за слабые отметки:

— Хочется, чтобы ты десятилетку кончил. Ой, как хочется! Учись как следует — большой ведь уже, стыдно на троечках ехать...

И верно — стыдно. В восьмом с ними уже и учителя стали обращаться, как со взрослыми, на «вы», и чубы разрешили отращивать... И перед девочками стыдно... А теперь вот и комсомольский билет к тому же зовет: учиться, учиться и еще раз учиться.

Смотрел Васька вслед Никите и грустил, будто терял он его навсегда, а вместе с ним терялось и еще очень многое. Уходил Никита, а с ним уходили в прошлое мимолетные годы детства...

Дома мать взяла из Васькиных рук билет и, держа его бережно в ладонях, как воробышка, долго разглядывала счастливо улыбаясь.

— Слава тебе господи — дождалась! Сынок старший комсомольцем стал. Вырос! Сбылась одна мечта моя: вырос Вася!.. — И вдруг заплакала навзрыд, слезы крупные, обильные брызнули из глаз, она прижала билет к груди и так — смеясь и плача — глядела на Ваську и все порывалась что-то сказать и не могла. Наконец успокоилась немного, вздохнула, спросила: — Да правда ли это, Вася?.. Правда! Поздравляю, сынок. — И она поцеловала Ваську в лоб.

С двух сторон на нее наседали Танька и Алешка — просили показать им билет. Но она не обращала на них внимания, сама, будто ребенок, не могла наглядеться на серенькую книжечку. Танька рассердилась, повысила голос, потребовала капризно:

— Да ну, мам!.. Дай!

— Сейчас, сейчас... — отвечала мать машинально. —

Успесте. Дайте мне налюбоваться: первый же комсомолец в нашей семье! — Потом оглянулась на младших: — Руки чистые ли? Не испачкайте. — Хотела отдать Таньке, но раздумала и положила на стол: — Вот, любуйтесь.

Услышав необычный шум, встал с койки приболевший Аркадий, выглянул к хозяевам:

— Что за радость у вас такая?

— Да как же не радость? Вот в комсомол уже Васю приняли! — сказала мать.

— Да ну? — обрадовался тот искренне и, как был в кальсонах, только завернулся в одеяло, босиком, подскочил к Ваське, обнял его. — Вот это да! Вот это здорово! Вот это молодец! — И все держал, прижав, Васькину голову у себя на груди, а у Васьки от всеобщей радости щекотало в носу и хотелось плакать.

Васька попросил мать пришить с внутренней стороны пиджачка карман с пуговкой — специально для билета. И когда карман был готов, он завернул билет в газету, спрятал его в этот карман и застегнул на пуговку.

Теперь пиджачок в том месте, где был карман — у самого сердца, — приятно припух, и Васька постоянно ощущал билет своим телом. Но со временем он привык к его прикосновению и перестал замечать, а когда вдруг вспоминал о нем, хватался в тревоге за карман, как больной за сердце, и, ощутив билет на месте, вытирал со лба выступившую испарину: Гурии дорожил билетом, и всякий раз ему казалось, что он потерял бесценную книжечку...

В тот же день Васька засобирался ехать в Ясиноватую к дяде Платону — поделиться с ним своей радостью. Мать хорошо понимала Васькины чувства: Платон единственный из всей родни был членом партии, Васька первым из всех стал комсомольцем, поэтому именно Платону-коммунисту прежде всего хотел сообщить Васька о таком большом событии в своей жизни, потому что, думал он, только Платон, как никто другой, поймет его настроение.

— Куда же ты на ночь глядя?.. — слабо возразила мать.

— Я у них переночую. А завтра прямо оттуда — в школу. — Васька все уже продумал, и матери оставалось только согласиться.

Вечерним рабочим поездом Васька уехал к дяде.

Платон жил в новом четырехэтажном доме, в удобной городской квартире с паровым отоплением и водопроводом.

Белые, как фарфоровые тарелки, раковины, медные краны, туалет с шумящей водой в бачке — все это на Ваську действовало, как вещи с другой планеты. Всякий раз, когда ему приходилось бывать здесь, он не переставал восхищаться городским бытом и ходил по квартире осторожно, вещами пользовался бережно и удивлялся на многочисленную Платонову ораву, которая и по лестнице, и по комнатам носилась, как по обыкновенной хате, и краны крутила, и туалетом пользовалась, не замечая необычности всех этих приспособлений. Помнится, маленькому Ваське больше всего нравилось приспособление в уборной, которая размещалась рядом с кухней в темном чуланчике. Как придет сюда в гости, так сразу в туалет. Дернет за цепочку, вода с шумом обрушится, а потом долго сипит в бачке, набирается. Сколько раз он порывался встать на выступ в стене, поднять крышку на бачке и посмотреть, что за механизм там, но так и не решился.

Платон с работы пришел поздно, когда все уже спали. Только тетя Маруся — худая, болезненная, добрая и безропотная Платонова жена — сидела с Васькой, с трудом преодолевая дремоту.

Пришел Платон усталый, увидел племянника, кивнул ему через дверь из коридора и пошел сначала в туалет, потом в ванную — долго мылся там.

— Устал, как сукин сын, — пожаловался он, выйдя из ванной.

— Есть будешь? — спросила тетя Маруся.

— Только чайку. — Прошел в комнату, сел за стол. — Ну, как дела, Василь? Учишься?

— Учусь...

— Дома все нормально?

Плотный, солидный, с серебристыми висками, похожий чем-то на Клима Ворошилова, Платон всегда восхищал Ваську.

Тетя Маруся принесла чай, сказала:

— Парень тебя ждет, — кивнула на Ваську.

— Меня? Зачем?

— Его в комсомол приняли, приехал вот к тебе с этой новостью.

— Ну? — удивился Платон, и глаза его потеплели, заискрились радостью, не столько Васькиной, сколько гордостью за себя, что парень приехал именно к нему

с таким большим своим событием. — Молодец! Покажи. — Он отодвинул чашку, вытер тщательно руки полотенцем, взял билет, как берут фотопластинку — пальцами за ребрышки, другой рукой отвернул обложку, стал читать. — Мо-ло-дец!.. — протянул Ваське руку, пожал по-мужски. — Поздравляю! — И, возвращая билет, посерьезнел: — Это хорошо! Береги это звание, носи с честью.

Ваську слова эти тронули, в горле запершило, хотел сказать Платону, что он все понимает, и не смог.

— А что же наши обормоты? — обернулся Платон к жене. — Оболтусами, наверное, растут?

— Ну, чего ж ты так уж на своих? — обиделась тетя Маруся. — Федор же моложе Васи на целых полгода, а тоже уже подал заявление...

— Молодец, — удивленно проговорил Платон.

— Дома не живешь, не видишь их и не знаешь, как они тут, — упрекнула его тетя Маруся.

— Это верно... — согласился Платон. — Чертова работа, дня белого не видишь из-за нее. Все давай и давай! С каждым днем грузопоток увеличивается все больше и больше: уголь — руда, уголь — руда, машины, воинские эшелоны... Прямо трещит станция. Сортировки задыхаются. Западную Горку механизировали — полегче стало... — Помолчал. — Значит, решил десятилетку кончать? — спросил он у Васьки.

— Да... Мама настояла.

— А ты сам?

— Да и сам... Сначала не хотел, думал в ФЗУ пойти: маме-то трудно...

— Трудно, это верно... — согласился Платон.

— А все равно, наверно, придется бросать школу, — сказал вдруг Васька обреченно.

— Почему так?

— Говорят, что скоро введут плату за обучение в старших классах.

— Ну и что?

— Где же мама возьмет деньги? — спросил Васька с вызовом.

Платон помолчал.

— Да, тяжело вам с матерью... — согласился Платон. Но надо понять: если государство идет на такие меры, чтобы плату брать за учебу, значит, трудно ему. Трудно нашему



государству, денег не хватает, а надо спешить создать индустрию, поднять военную промышленность — заседают ведь на нас, войну подкатывают к самому порогу. А помощи нам ждать неоткуда. Вот и вынуждены идти и на займы, и на все такое другое. А если бы нам дали мирно пожить — у нас бы все стало бесплатным. Да так оно и будет — при коммунизме. Так или не так?

— Так.

— Ну, вот то-то же. — Платон pokrutil головой. — Если понял, давай спать. — Уходя в спальню, оглянулся: — И матери растолкуй. Спокойной ночи.

Огорчился немного Васька после такого разговора — опростоволосился он перед дядей. Да и не думал он, что этот спор затеется... А разговоры о плате и впрямь сильно тревожат мать: какая она будет — эта плата? Вдруг большая, вдруг такая, что ей не под силу станет?..

На ночь Васька пиджачок повесил на спинку стула возле своей раскладушки, проверил карман с билетом — застегнута ли пуговица — и только после этого лег в постель.

Лег и долго почему-то не мог уснуть, смотрел в потолок, на котором бегали блики от раскачиваемого ветром уличного фонаря, и думал. Думалось ему о многом: перелопачивался разговор с дядей, вспоминалось радостное лицо матери, когда она держала в ладонях, словно птенчика, комсомольский билет, представил забитую поездом станцию — эшелоны, эшелоны, эшелоны...

Под перебранку маневровых паровозов так незаметно и уснул.

## «ИСПАНЦЫ»

Хорошо, легко играет на баяне Женька Сорокин, Жек — новый Васькин дружок. Дружок он, правда, не такой, как бы хотелось Гурину: многое в их отношениях делится неравно, чувствует Васька в чем-то свою зависимую роль, но мирится с ней, уступает Сорокину первенство. Да и пусть, Жек ведь и старше Гурина — Васька догнал его в восьмом классе, — и поопытнее во многих делах. Но главное, почему Гурин тянется к Сорокину, — это из-за его таланта, Жек — настоящий музыкальный самородок. Любой инструмент ему по-

слушен: гитара, домбра, мандолина, балалайка, — все, но больше всего он любит баян. Тут Жек настоящий виртуоз. Только возьмет в руки свой красный перламутровый баян, и тот сейчас же откликается на Жекино прикосновение какой-нибудь мелодией.

На зональных олимпиадах художественной самодеятельности Жек всегда выступал с большим успехом, там он исполнял классические произведения — Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского.

Можно сказать, именно Жек первый открыл Гурина настоящую красоту музыки, влюбил его в нее, и эту любовь Гурин пронес через всю свою жизнь. Жекина музыкальная школа была единственной в его музыкальном образовании, и, как ни странно, Гуринахватило его с лихвой — он никогда не чувствовал себя профаном. А все, что он познавал потом в этой области, хорошо ложилось на крепкую и добрую основу, заложенную талантливым другом детства.

В школе Сорокин руководил кружком народных инструментов и относился к этому делу в высшей степени серьезно: кружковцев приучал играть только по нотам. Да и сам он разучивал новые вещи исключительно по нотам, какими бы простыми они ни казались. И это при том, что он был способен любую вещь сыграть на слух после первого прослушивания!

К музыкальным звукам Жек был очень чуток, улавливал самую незначительную фальшь, и тут же либо прекращал игру, если это случалось на репетиции, либо кивком головы давал знать музыканту, что тот взял не ту ноту. В перерыве подойдет, возьмет инструмент в руки и покажет, как нужно играть.

Жек высок, худощав, у него тонкий и прямой, как лезвие финки, нос. Большие, хрящеватые уши тоже тонки, настолько тонки, что, кажется, просвечивают насквозь, и стоят они у него торчком, как локаторы, однако лица не портят. Жек красив. Прямые белесые волосы спадают на лоб, на глаза, и он то и дело рывком головы отбрасывает их назад, особенно во время игры.

Нет, Гурин не терзался от того, что в их дружбе верховодил Жек, Гурин обожал своего нового друга и прощал ему многое, к чему сам не питал пристрастия или отвергал в силу своей врожденной стеснительности и не-

решительности. Более того, Гурии много дал бы за то, чтобы хоть немного походить на Сорокина, чтобы хоть немного иметь его таланта, уверенности, смелости...

Хорошо, легко играет Жек на баяне, его длинные тренированные пальцы быстро бегают по кнопкам баяна, выплескивают грустную, душераздирающую мелодию несчастной любви. Жек склоняет голову к баяну, прислушивается, трясет в такт ему спадающей на глаза челкой, поет с надрывом:

Брызги шампанского  
Давно разбрызганы...

Нравится Гурину эта мелодия, краснеет он отчего-то при ее звуках, и сердце тает от истомы.

Девочки танцуют танго, ребята сгрудились у стен, смотрят. Танцевать они не умеют, а учиться стесняются, хотя и очень хочется каждому из них выйти с девочкой на круг.

Жек улыбается, подмигивает девочкам, будто он в каком-то тайном сговоре с ними, а они, смущаясь, отводят глаза в сторону. И эта их стеснительность больше всего и забавляет баяниста.

Переменив позу, Сорокин заиграл другую мелодию — свою любимую:

Живет моя отрада  
В высоком терему,  
А в терем тот высокий  
Да нет хода никому...

Кончил «Отраду» и быстро, незаметно перешел снова на танго:

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось,  
В этот час ты призналась,  
Что нет любви...

Заходится Васькино сердце то ли от музыки, то ли от слов печальных, завидует Сорокину: хорошо играет, девчонки вьются около него, уж ему-то ни одна не скажет, что нет любви, наоборот — есть она, у каждой из них есть к нему любовь, только помани. А на Ваську они и внимания не обращают. Правда, он и сам не очень старается, стыдится чего-то. Прежде всего одежды своей стыдится. У Жека шерстяные, сшитые по моде — тридцать два сантиметра ширины — брюки. Стрелочка на них — можно обрезать. Жек бережет эти брюки: когда играет, под баян

на коленях расстилает красный бархатный лоскуток. И туфли у Жека модные — утиный носок, широкие рубчатые ранты, — все как надо. А у Васьки штаны из «чертовой кожи», сколько ни наглаживает он их, как ни наводит стрелочку — только и хватает ее, пока за ворота выйдет, а потом куда что девается. На коленях пузыри вздуваются, будто кто нарочно их выпирает. Ботинки у него — носы бульдожь: «мальчиковые»...

Подошла к ребятам Катя Сбежнева — комсорг класса, пристыдила:

— Ну что вы стоите? Учитесь танцевать! Скоро Новый год, а вы так и будете стоять — стены подпирать? Пойдем поучу, Гурин.

— У меня ноги не туда глядят, — отшутился Васька.

— Пойдем! Женя, играй вальс, мы будем ребят учить. Девочки, давайте поучим их!

Заиграл Жек вальс, потянули девчонки ребят, с трудом оторвали от стены, начали учить.

Смотрит Гурин на свои ноги, чтобы не споткнуться, а сам спотыкается, на сторону валится, будто впервые на велосипед забрался. Покраснел, вспотел, но учится старательно.

— Это же так просто! — говорит Катя Ваське в самое ухо. — Шаг вперед и потом поворот... — И напевает:

Чайка смело пролетела  
Над седой волной.  
Окунулась и вернулась,  
Вьется надо мной...

От Кати пахнет духами, и это пьянит Ваську. Пьянит от ее близости, от духов, от радости, что ноги наконец-то стали слушаться, и уже перестал он бить носками ботинок Катины лодочки.

Увлечлись танцами — одни учатся, другие учат, не заметили, как дверь открылась и в класс вошел дежурный по школе учитель-физик Куц Александр Федорович. Низенький, вертлявенький, чтобы выглядеть повыше, он носил ботинки на высоких каблуках и постоянно тянул голову вверх, как это делают обычно горбатые люди.

Куц вошел в класс и встал у порога, покачивая укоризненно головой.

— Так, так... — проговорил он. — И комсорг, значит, танго танцует?!

— Александр Федорович, какое же это танго? Вальс! — возразила Катя кокетливо. — А вальс, по-моему, разрешается танцевать всем?

— А перед этим? — спросил Куц.

— Но ребят же надо научить! Вы посмотрите: взрослые парни, а танцевать не умеют!

— Большая перемена, между прочим, дается, чтобы отдохнуть и проветрить класс. А вы пыли сколько нагнали.

— Александр Федорович, а вы танцуете? Имейте в виду, на Новый год мы вас все равно вытащим, — кокетничала Сбежнева. — Давайте попробуем? — И она расставила руки, приглашая его на танец.

— Ладно, ладно... — засмутился Куц. — Как-нибудь в другой раз... Кончайте, пока директор не услышал, — смягчился он и вышел торопливо в коридор.

Засмеялись вдогонку девчонки — взрослые уже, с учителем почти наравне.

Жек закрыл баян, поставил на стул, и все потянулись нехотя из класса. Гурин подошел к газетной витрине — все то же: тревожно в мире, фашисты нагледят. В Испании бои идут уже в самом Мадриде.

Кто-то хлопнул его по плечу, оглянулся — Жек, улыбнулся дружески.

— Что там нового? — спросил Сорокин.

— Да ничего... Уехать бы в Испанию добровольцем! Жаль, не берут.

— Летчиков берут, — сказал Жек тихо, доверительно.

— Врешь!

— Точно знаю. — И он щелкнул ногтем себя по зубу — сделал блатной клятвенный жест.

— Откуда знаешь?

— Ну!.. Потом скажу. — Оглянулся по сторонам и сообщил еще одну новость: — А в городе принимают в аэроклуб с восьмого класса. Понял?

— Врешь?

— Ну вот, опять — «врешь»! Говорят тебе...

У Гурина глаза заблестели, он взял Сорокина за пуговку, притянул к себе, таинственно заговорил:

— Слушай, Жень, давай махнем?

— Куда?

— Ну, сначала в аэроклуб, а потом и... — Он кивнул на газету, где была заметка об Испании. — Смотри, что в мире

делается, а мы тут — синус да косинус, аш два о да разная муть... Надоело!

— Надоело, это верно, — согласился Сорокин. — От одной маханши сбегал бы куда-нибудь, все время долбит одно и то же: учись да учись...

— Да дело даже не в этом... — поморщился Васька. — Ты ж смотри, гады как обнаглели — жмут и жмут, а мы сидим тут. Махнем?

— Давай!

Гурин схватил Жека за руку и крепко пожал.

В тот же день они взяли в школьной канцелярии справки о том, что они действительно учатся в восьмом классе такой-то школы. «Справка дана для представления в аэроклуб» — эта короткая строчка в документе была объяснением и для канцелярии, где ребятам выдали эти справки без всяких проволочек: аэроклуб — обычное ребячье увлечение, все они нынче тянутся к летному делу. О дальних же целях их никто не спросил, чему они были очень рады.

На другой день ни Сорокина, ни Гурина в школе не было — уехали в город.

Аэроклуб размещался в старом двухэтажном здании с темными узкими коридорами, стены которых были увешаны призывными плакатами Осоавиахима — овладевать летным делом, парашютным спортом, авиамоделизмом. На плакатах были нарисованы красивые розовощекие парни и девушки в летчицких шлемах с большими овальными очками.

По коридорам сновали озабоченные подростки, тыкались в разные двери со своими делами; постоянно входили и выходили «настоящие летчики» — в гимнастерках с петлицами, в темно-синих пилотках и с неизменными планшетками на длинных ремешках через плечо. Гурин смотрел на летчиков и сгорал от зависти: «Неужели и я когда-нибудь буду носить такую форму!..»

К инструктору, который принимает заявления, они зашли вдвоем. Стриженный «под бокс», с крепкой шеей, в летчицкой гимнастерке, однако без петлиц, инструктор расспросил их подробно, откуда они и с какими намерениями приехали в аэроклуб, посмотрел комсомольские билеты, справки, кивнул одобрительно. Комсомольские билеты вернул, а справки вложил в папку. Потом из другой

папки вытащил лист бумаги, записал их в длинный список и тут же направил ребят на комиссию, вручив им по листочку, на котором были поименованы кабинеты и врачи, у которых они должны пройти осмотр.

— Когда всех обойдете, эти направления сдадите в канцелярию, — предупредил инструктор. — Желаю успеха.

В коридоре Гурин прочитал на бумажке напечатанный столбиком список врачей: терапевт, хирург, невропатолог, глазной...

— Ого! — Он взглянул на Сорокина. — Ну, двинем? — И пропел, улыбаясь, переиначив арию Ленского на свой манер: — Что врач грядущий нам го-о-то-вит?..

Шутку Сорокин не поддержал, сказал, будто и не слышал Гурина:

— Делать нечего... Пошли...

— Пошли!

Уже после первого врача Гурин ощутил всю серьезность обстановки, и это ему понравилось. Он приободрился, подтянулся внутренне, почувствовал себя взрослым. Он по-деловому обходил кабинеты, беспрекословно выполнял приказания врачей — раздевался, показывал зубы, нос, рот, приседал, нагибался, закрывал один глаз, потом другой, ложился на холодную клеенчатую тахту, разрешал себя мять, выстукивать... Такое обследование он проходил впервые, многое для него было в диковинку, но он ни разу ничему не удивился, не улыбнулся и тем более ни разу ничему не воспротивился. Наоборот, он старался с полуслова понять врача и выполнить все наилучшим образом. Гурин весь был настроен на одну цель — только бы пройти комиссию, только бы выдержать этот экзамен.

После невропатолога пожаловался Сорокину:

— Наверное, забракуют...

— Почему ты так решил?

— Нервный какой-то, — сказал Гурин с обидой на себя. — Когда он иголкой чиркнул по груди, я аж вздрогнул, а ведь совсем же не больно... И когда молоточком по коленке стукнул, нога подпрыгнула. Тогда вторую ногу я постарался удержать — не получилось: заметил. «Расслабься», — говорит и снова стук по коленке, а нога — брык. Ведь никогда такого не замечал, все вроде нормально было. А у тебя как?

— Не помню... Не заметил, — рассеянно ответил Сорокин. Вид у него был какой-то растерянный, он почему-то озирался по сторонам, словно искал кого-то или запоминал обратный выход. То вдруг улыбался кисло и некстати.

— У тебя крепкие, значит, нервы, — заключил Гурин и заглянул в листок — хотел расшифровать пометку, которую сделал ему невропатолог, да так и не смог ничего понять. Вслух прочитал: — «Невропатолог». Вот где таилась гибель моя...

— Что? — обернулся к нему Жек.

— Невропатолог — это ж, похоже, только по нервам?

— Ну да... Наверно...

— А почему ж тут написано «невро», а не «нерво»?

— Охота тебе чепухой заниматься... — раздраженно сказал Жек и уставился на открывшуюся дверь кабинета, которая быстро закрылась, поглотив стриженного паренька — такого же страдальца, как и они.

— Ты че психуешь? — участливо спросил Сорокина Гурин. — Думаешь, не пройдешь? Боишься — забракуют? Не бойсь!.. — подбодрил он друга.

Жек ничего не ответил.

Особенно понравился и запомнился Гурину кабинет, в котором его крутили на вертящемся кресле. Посадили, привязали ремнями и давай мотать. Это было интересно! Это уже было похоже на настоящее испытание к летным делам! И хотя по его предположениям он и здесь сплеховал, как и у невропатолога, но был горд уже тем, что покрутился на таком кресле.

Кресло вращалось в двух плоскостях — вокруг своей оси и по кругу. И кроме того, оно еще одновременно приподнимало и опускалось наподобие качелей. Нагрузки на нем увеличивались постепенно. Сначала Гурина прокатили по кругу, как на карусели. Хорошо! Но когда раскрутили кресло и вокруг своей оси, тут уж было не до шуток: голова закружилась и он почувствовал слабый приступ тошноты. После небольшой передышки ему сказали, чтобы он закрыл глаза, и снова раскрутили кресло.

— Стоп! Откройте глаза!

Гурин открыл и, к ужасу своему, обнаружил, что его голова склонилась к правому плечу. Он с трудом поднял ее и взглянул на экзаменаторов — пытался угадать по их лицам о результатах испытания. Но те уже занялись



своими листками и что-то торопливо записывали. «Вот теперь все,— подумал Гурин обреченно.— Теперь уж провалился совершенно точно...» И не торопился вылезать из кресла, думал, как ему быть. Попросить, чтобы они повторили опыт? Теперь бы он наверняка выдержал его, и голову удержал бы в вертикальном положении. «Попрошу. Пусть покрутят еще. Ведь с первого раза ничего как следует не получается...» — решил он.

— Все, Гурин. Вы свободны.

— Как?..

— Так. Через два дня придете за результатом.

— А может?.. Может, еще раз проверите?..

Члены комиссии улыбнулись, один из них сказал:

— Понравилось? Все, все! Хорошего понемножку. Там ведь очередь.— И громко прокричал в дверь: — Следующий!

Ехали домой рабочим поездом. Гурин сидел мрачный, вздыхал: он был уверен, что провалился. Сорокин, наоборот, в поезде развеселился, шутил, смеялся, будто уже сбылась его мечта, даже Гурина, как мог, утешал:

— Да ладно тебе раньше времени скулить! Еще ж ничего не известно. Может, это так и надо, чтобы голова свалилась набок.

— А у тебя как?

— Я ж тебе уже говорил, что я не успел на «карусель», перенесли на завтра. В глазном провозился: все никак не могла мне давление измерить. Как только приблизится с этой своей печаткой, так у меня глаза машинально закрываются. И хоть ты что! Рассердилась даже врачиха на меня, подумала, что я нарочно.

Гурин слушал его вполуха, думал о своем.

— Нет, понимаешь... Обидно! На чепухе погореть. Если бы я знал, как оно будет, я удержал бы голову прямо. Помнил бы о ней и удержал бы. Но если не пройду, попрошусь на вторую комиссию. Своего добьюсь! А? Вместе будем, да, Жек? Вместе! Всегда! Верно?

В ответ Сорокин неуверенно кивнул и потянулся с папиросой к соседу прикурить.

«Два дня, два долгих дня ждать результат! Неужели не могли сказать сразу?..»

Однако уже на другой день все Васькины планы и надежды были неожиданно нарушены.

Васька собирался в школу, когда на пороге вдруг появилась мать — расстроенная чем-то, запыхавшаяся, видать, спешила застать Ваську дома. Не отходя от двери и не спуская с сына испуганных глаз, в которых застыли слезы, она медленно стаскивала с себя платок.

— Что-нибудь случилось? — насторожился он. — Почему так рано с работы?

Мать присела на ближайшую табуретку, горестно опустила руки на колени.

— Из-за тебя... Все из-за тебя...

— А что?.. — удивился Васька.

— Где ты вчера был и почему не ходил в школу? — спросила мать строго.

Васька досадливо крутанулся на каблуке и опустился на табуретку напротив матери.

— Уже все известно! Ну, откуда?

— А ты втайне хотел все сделать?.. От матери таишься... Я враг тебе? Почему ты не посоветовался со мной?

— Я думал... Ну, думаю, поступлю, тогда и скажу все... Обрадую. Че ж раньше времени шум поднимать...

— «Обрадую»! Уже обрадовал, хватит. — Она умоляюще посмотрела на Ваську и заговорила совсем другим тоном: — Вася, сынок... Пойми меня. Выслушай и постарайся понять, чего я хочу. А я сейчас хочу только одного: кончи десятилетку. Кончишь — тогда куда хочешь. Куда захочешь, куда твоя душа пожелает — туда и иди, я и слова не скажу. Вот тебе моя материнская клятва. Хочешь, на колени встану перед тобой? — И она поползла с табуретки.

Васька подхватил ее, удержал на месте.

— Не надо, мам...

Немного успокоившись, она продолжала:

— Поверь мне, я хочу одного: чтобы у тебя была закончена десятилетка, а потом — куда хочешь: в летчики, в машинисты — куда захочешь. Я знаю, ты давно метишь в летчики. Сначала хотел быть шофером, а потом — летчиком. Ну, что ж... Будешь...

— А зачем ждать, если уже сейчас я могу учиться на летчика? Чего ждать? Только время терять, — возразил Васька.

— И тогда успеешь. В институт пойдешь — еще лучше.

А это что за летчик — в аэроклубе? Это ж так, игра... Одно название — клуб. Как у вас вон клуб — танцульки, самодеятельность, кружок, одним словом. А в институте будешь учить это дело по-настоящему. В Испанию не успеешь? Ну, что ж, в другое место попадешь. Думаешь, на этом кончится? Дай-то бог. Может, это только начинается, может, еще на своей земле дела будут. Вон Хасан — хорошо, быстро замирились... А там дядя твой, Гаврюшка, служил в армии. А сейчас и Ивана туда же послали — на Дальний Восток. Хватит делов и тебе, не беспокойся. Или, ты думаешь, мне испанцев не жалко? Так я тебе открою свой секрет. Вон когда привезли испанских детей-сирот, я первой побежала, чтобы взять себе на воспитание хоть одного. А мне не дали, потому что своих у меня трое, а сама я вдова. Их отдавали только в те семьи, у кого жизнь получше. Ну?

Васька смотрел на мать, готовый уступить ей, но, к сожалению, это уже было невозможно. Первый шаг сделал — и отступать? Стыдно... Прежде всего стыдно.

— Но, мам... Я ведь уже подал заявление и комиссию прошел. А теперь назад?

— Сыночек, я твой стыд возьму на себя. Я мать — мне можно.

— Да ведь мне-то жить потом как? Как я Жеку в глаза буду смотреть? Мы же поклялись...

— О Жеке заботится! Да тот и думать забыл о твоей клятве. Утром на остановке я встретила его мать — она мне все и рассказала. Она сжала как раз в город, чтобы выручить Жека из того клуба. Сам Жека и попросил ее об этом.

— Не может быть!..

— Ты доверчивый очень, сынок. Людям, конечно, верить надо, но и приглядываться к ним тоже необходимо. С первого взгляда влюбишься — и тут же рубаху нараспашку. Не нравится мне твоя дружба с Жекой.

— Почему? То с Ильей не нравилась, теперь с Жеком.

— Слишком он взрослый. И к водке, говорят, уже прикладывается, и женихается уже в открытую. Не нравится мне это.

Васька уронил голову на грудь, думал, как быть. Жек подлец, конечно, подвел. Неужели это правда?

— Ладно, мам, — сказал он. — Я обещаю тебе: буду учиться, буду кончать десятилетку. Только в аэроклуб

я сам съезжу и все сам объясню. Заодно узнаю и результат комиссии — может, меня забраковали, может, я и не гожусь в летчики. А ты куда не ходи, я сам.

В школе Гурин увидел Сорокина, подошел к нему решительно, спросил, негодуя:

— Ну что же ты?.. Испугался?..

Тот заулыбался, будто ничего не случилось:

— Да, знаешь... Дома такой хай подняли — и маханша, и пахан.

— «Маханша, паханша»! — передразнил его Гурин и, бросив презрительно: — Эх ты, «Отрада»... — отошел.

Почему он назвал его «Отрадой», Гурин и сам понять не мог. Наверное, потому, что Жек чаще других играл на своем баяне эту самую «Отраду».

В четверг Гурин поехал в город, выждал, когда инструктор остался один, подошел к нему и несмело спросил:

— Скажите, пожалуйста... можно так, чтобы мое заявление было действительным, пока я кончу десятилетку?

Тот поднял на него глаза, спросил участливо:

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, мать... Настаивает, чтобы я десятилетку кончил, а потом уже...

— Понятно. Можно, конечно. Только зачем тебе тогда аэроклуб? После десятилетки прямая дорога в институт! — Он поискал в списках Васькину фамилию: — Гурин? — Нашел и вычеркнул. — Договорились.

Гурин облегченно вздохнул, но не уходил, топтался возле стола.

— Что еще?

— Можно узнать: прошел я комиссию или нет? Может, я не гожусь...

Инструктор улыбнулся, полистал бумаги, сказал весело:

— Годишься! Все прекрасно! Так что учись, кончай десятилетку. До встречи в воздухе. — И он протянул Ваське руку.

Гурин растерялся, заторопился, схватил инструкторскую руку как-то неуклюже, неловко, пожал и вышел. На воле вздохнул, вытер лоб платком: процедура была легкой... «Но впредь — наука!..» — сказал он себе строго.

В школе откуда-то узнали, что Гурин и Сорокин пытались поступить в аэроклуб, чтобы стать летчиками и улететь в Испанию на помощь республиканцам, узнали и прозвали их «испанцами».

Одни отнеслись к этой их затее с пониманием и уважением, другие, наоборот, с иронией. Однако и те и другие прозвище «испанцы» вскоре забыли, так как Испания тогда была слишком серьезным делом, чтобы произносить ее имя просто так, в шутку...

Долго сердился на Сорокина Гурин, но со временем смягчился, простил ему этот «зигзаг». «Женьке надо в музыкальное училище идти, зачем ему самолеты...» — рассудил Гурин, восторгаясь его игрой на баяне.

### «ICH LIEBE DICH»

*Григорий Иванович Черман уехал из поселка неожиданно — в самом начале первой четверти. Говорили, что его отозвал антифашистский комитет для выполнения секретного задания особой важности.*

*Какая-то доля правды в этом, наверное, была: даже ребячья фантазия на пустом месте зародиться не могла. А кроме того, одно событие, которое случилось несколько лет спустя, говорило в пользу тогдашних слухов.*

*Году в 1944-м, в весеннюю распутицу, когда мы дрались за плацдарм на Днепре выше Никополя, однажды вечером к нам в траншею пришел высокий, стройный майор с двумя солдатами. Солдаты установили на бруствере репродуктор и протянули провода в блиндаж. После чего наш командир взвода приказал всем, кроме наблюдателей, уйти в укрытие. Когда траншеи опустели, из репродуктора раздался громкий голос:*

*— Дойтче зольдатен!..*

*Это майор через громкоговоритель обращался к немецким солдатам, уговаривал их прекратить напрасное сопротивление и сдаваться в плен, так как все равно война для Германии проиграна.*

*Говорил майор четко, уверенно, красиво. Голос его мне показался знакомым, но я не придал этому значения, решив, что в репродукторе, наверное, все голоса становятся похожими друг на друга.*

Немцы сначала слушали его внимательно, даже одиночные выстрелы прекратились, только изредка взлетали осветительные ракеты — смотрели, наверное, не ползали мы к ним под покровом темноты. Пользуясь немецким освещением, мы тоже внимательно следили за ними. Иногда, когда немец делал слишком большой перерыв в пуске ракет, местность освещали мы: кто их знает, как они там хитрят, может, в этот перерыв они как раз и делают перебежку.

Я тот раз стоял в наблюдении, следил за нейтральной полосой и слушал майорову агитацию, хотя и мало что понимал, догадывался лишь по отдельным словам, о чем идет речь.

Майор говорил долго и закончил знакомым мне со школьной скамьи призывом:

— *Nieder mit Faschismus!*

И после этого, как по команде, взвыли по-ишачьи немецкие шестиствольные минометы. Вспыхнуло зарево вдали, потом послышался скрипучий металлический звук, будто рыгало какое-то чудовище, и почти в тот же миг взметнулись кусты пламени над нашими траншеями. Запахло взрывчаткой, сырой землей.

Немцы били беглым, яростно рвались мины, осколки выли и шлепались вокруг густым дождем, не давая поднять головы.

Минометный налет прекратился минут через десять так же внезапно, как и начался.

Из блиндажа вышли майор и наш лейтенант.

— Разозлили вы их чем-то, товарищ майор, — говорил лейтенант. — Что-то вы против фашистов в конце им сказали?

— Долой фашизм, — перевел майор и тут же повторил по-немецки: — *Nieder mit Faschismus!*

Он! У меня теперь не было сомнения, и я окликнул:

— Григорий Иванович!..

Майор остановился, удивленный, подошел ко мне и, осветив фонариком, растопырил руки:

— Ба! Кого я встретил! Гурин! Вася! Как же ты узнал меня?

— А по этому — *Nieder mit Faschismus!*

— Ай-яй-яй... Гурин! Поэт-безбожник! — И он засмеялся. — Пишешь стихи?

— С тех пор бросил... А потом, во время оккупации, снова начал.

— Понимаю... Ребриной, значит, не удалось задушить талант в самом его зачатке.

— Вы помните Ребрину? — удивился я.

— О, милый друг, уж Ребрину-то мне во век не забыть! — сказал он. — А ты? — Майор пощупал мои погоны. — Сержант? Почему? Ты должен быть уже по крайней мере лейтенантом.

— Мало воюю, Григорий Иванович... Всего второй год. Так случилось...

— Понимаю... Ну, что ж! Догоняй своих сверстников. Желаю удачи.

— Спасибо.

— Надеюсь, в следующий раз встречу тебя офицером! — Он обнял меня и быстро зашагал вдоль траншеи.

Но встретиться нам больше не пришлось, и о дальнейшей судьбе своего учителя я до сих пор так ничего и не знаю.

После того как не стало в школе Григория Ивановича, немецкий язык преподавали все, кому только не лень. В нагрузку его поручали то старым, то молодым учителям, и те и другие, помучившись сами и помучив учеников с четверть, не более, отказывались, чувствуя свою беспомощность. Новые «немцы», которых присылали, почему-то не приживались, поработав с полгода, они уходили по разным причинам: одного прислали и тут же отозвали, перевели в соседнюю школу, другая вышла замуж в Макеевку, третья почему-то заскучала и вскоре уехала...

И вот в самый разгар занятий в школе появилась очередная новая «немка». Молоденькая, стройненькая, опрятная, две косы венчиком уложены вокруг головы, розовые щечки горят, будто только с мороза. Вошла в класс, простучала каблучками от двери до стола, журнал ребром на стол поставила и, слегка опершись на него, сказала уверенно:

— Guten Tag! — Сделав небольшую паузу, она быстро обвела всех взглядом, заглянула каждому в глаза, разрешила сесть: — Setzen sie sich, bitte.

Вразнобой отстучали крышки парт, и класс затих, зачарованный красотой новой учительницы. В сереньком,

мышинного цвета, костюмчике, в зауженной юбочке до колен, в хромовых сапожках на полуввысоких каблучках, она выглядела как только что с картинки: чистенькая, выглаженная, изящная. Все на ней подогнано, все сделано со вкусом, ничего лишнего; все выглядит естественно, ничего искусственного или чрезмерного.

Короткая зауженная юбка в то время была модной вольностью, но на ней это выглядело так красиво и так естественно, что ни у кого и мысли не появилось, чтобы укорить ее за эту вольность.

Взглянул Васька на учительницу и уже не мог отвести от нее глаз: сердце встрепенулось, забилося учащенно, дыхание перехватило. Ничего подобного он еще никогда не ощущал.

Вспомнил частушку Федора Баева, который пел под гармошку, проходя вечером по улице со своей ватагой:

Наши девки посдурели,  
Хочут моду показать:  
Носят юбки по колено,  
Еще хотят подрезать.

«Нет, глупости поет Федор Баев — вон красиво-то как!..»

— Meine Name — Роза Александровна Попп, — сообщила она и, взяв нежными пальчиками с заостренными ноготками мелок, написала на доске красивым ровным почерком свою фамилию: «Попп». Последние две буквы подчеркнула и положила мелок на место. Посучила пальчиками, стряхивая прилипшие крошки мела, и вновь подошла к столу. Раскрыла журнал, стала делать пере-  
кличку.

А Гурин все смотрел на нее — изучал до мелочей, до каждой пуговки, до каждой ниточки. И чем больше смотрел он на нее, тем больше нравилась ему учительница. Нежная белая кожа на ее шее была какая-то необыкновенная, будто мраморная, — гладкая, с еле заметным розоватым отливом. Ее мраморность подчеркивалась снежной белизны шелковой кофточкой, которая была завязана на груди маленьким скромным бантиком...

— Гурин Василий?.. — повторила в который раз Попп, но Васька не откликнулся — был занят своими мыслями. И только когда его толкнули соседи, вскочил оторопело, застеснялся:



— Я... Здесь...

Учительница посмотрела на него внимательно, кивнула:

— Danke schön... setzen sie sich.

Этот взгляд будто кипятком обдал Гурина, он покраснел, не знал, куда глаза девать.

Спрятав голову за соседа, Жек позвал шепотом Гурина:

— Вась!.. — И, когда Васька оглянулся, подмигнул ему. Кивнув в сторону учительницы, показал большой палец.

Гурин отмахнулся ревниво: не хотел он, чтобы Жек прикасался к такой красоте даже в мыслях своих, — опошлит ведь. Жек в ответ снова подмигнул ему и погрозил пальцем.

— Так, — сказала Роза Александровна, закончив перекичку. — Начнем занятия. На чем вы остановились — кто мне скажет?

Все молчали.

— Забыли? Не помните? Хорошо. Вспомним вместе.

— У меня вопрос есть, — поднял Жек руку, а сам спрятался за соседа: — Как будет по-немецки: я тебя люблю?

— Не знаете такой простой фразы? — удивилась учительница. — Идите к доске, вспомним.

— Да ладно... Я так... — Жек валял дурака: поглядывал на ребят, улыбался.

— Что значит «так»? А в самом деле, как сказать эту фразу по-немецки? Встаньте!

Жек нехотя, изгибаясь, поднялся, на его лице еще блуждали жалкие остатки озорной улыбки, которая постепенно переходила в гримасу недовольства и растерянности.

— Прошу вас?..

— Ну, ich...

— Так. «Любить»?

— Lieben...

— «Тебя»?

— Dich...

— Ну и как же будет полностью?

— Ich lieben dich, — сказал Жек и хотел сесть.

— Нет, неверно. Элементарной грамматики не знаете. Как будет глагол lieben в первом лице единственного числа?

— Ich liebe...

— Правильно. И как же должна прозвучать фраза?

— Ich liebe dich...— с натугой выдавил из себя Жек: ему было стыдно стоять и показывать свое невежество.

— Вот теперь правильно: люблю.— И маленький ротик ее, розовые губки, будто специально созданные для слова «люблю», вытянулись трубочкой.

Васька смотрел на нее, и ему хотелось, чтобы она без конца повторяла это слово. Будто угадав Васькино желание, учительница продолжала говорить:

— Liebe — люблю, lieben — любить, неопределенная форма глагола. Вам ясно?

— Ясно...— выдавил Жек недовольно.

— Садитесь. Только, когда будете признаваться девушке в любви, назовите ее все-таки на «вы». Скажите ей: «Я вас люблю». Так нежнее и приятнее.

— Ладно,— буркнул Жек, а девочки потупились, заулыбались стеснительно.

На перемене Жек сказал небрежно о новой «немке»:

— Воображала!

— И ничего подобного,— не согласился с ним Гурин.— По-моему, скромная и строгая. Мне понравилась.

Прошло немного времени, и Гурин понял, что он влюбился в «немку». Он с нетерпением ждал ее уроков, готовился к ним самым тщательным образом и был счастлив, когда она вызывала его к доске и поручала какое-нибудь задание. Но вскоре этого ему стало не хватать — хотелось видеть ее постоянно, постоянно быть рядом и любоваться ее красотой.

Однажды после занятий, оторвавшись от друзей-приятелей, Гурин незаметно вернулся к школе и спрятался в тени деревьев. Ежась от холода, он ждал, когда учительница пойдет домой, чтобы проводить ее. Нет, он не приблизится к ней — на это Гурин не решится, он просто будет идти за ней так, чтобы она даже и не заметила его. Как тень. Он будет ее тайным телохранителем: ночь ведь, темно, хулиганья разного хватает. В случае чего, он ее защитит. И Гурин представил, с каким ожесточением он будет бить хулиганов, как он их разбросает, как они трусливо пустятся наутек. И только теперь он предстанет перед ней... И тут-то она догадается, что Гурин ее любит и что это он все время был ее тенью, ее ангелом-хранителем и защитником...

Наконец дверь открылась, и на крылечко вышла

«цемка». В белой заячьей шубке и в такой же беленькой шапочке с длинными, как концы шарфа, наушниками, которые свисали ей на грудь. Попп была хорошо видна под яркой лампочкой. Словно нарочно, чтобы Гурин дольше полюбовался ею, она задержалась на крылечке, оглянулась влево, вправо и спрыгнула легко и изящно на нижнюю ступеньку.

В этот момент снова открылась дверь, и на крылечко, словно воробышек, выпрыгнул Куц.

— Роза Александровна, нам ведь по пути... — сказал он громко, и голова его закачалась самодовольно.

— Да, да. — Она продолжала спускаться по ступенькам. Внизу оглянулась, поджидая его.

Куц поравнялся с ней, и они пошли. Она — стройная, пушистая, изящная, вся какая-то воздушная. И он — кургузенький, подпрыгивающий, вертлявенький. Куц что-то говорил ей, но Гурин не слышал что и поэтому весь кипел от ревности. «Куцик несчастный, уже увязался!» — негодовал Гурин.

Постояв немного, он тронулся вслед за ними. Уже на полпути он догадался, что они идут к остановке рабочего поезда, и сердце у него защемило: ехать на ночь глядя вслед за ними в город, конечно же, было бессмысленно. Досадуя за свое бессилие, он тем не менее упорно шел вслед. На остановке они вошли в «ожидаловку», а Гурин завернул за угол — в затишье. Но затишья нигде не было — ветер какой-то круговертный, колющий пронизывал его до костей сквозь легкое демисезонное пальтишко. Гурин ежился от холода и поглядывал то на дверь «ожидаловки», то в сторону станции, откуда должен был появиться поезд.

Наконец учителя вышли из теплушки и медленно прошли на платформу. Когда подошел поезд, Куц помог Розе Александровне взобраться на высокую ступеньку вагона, а сам остался на платформе. Помахал ей и, как только поезд тронулся, запрыгал, будто мальчишка, захлопал в ладоши, греясь, и побежал домой.

«Ага, Куцый, замерз!» — восторжествовал вдруг Гурин. На душе у него стало легко и весело, досаду как рукой сняло. «Уехала! Одна уехала!» — радовался Гурин, и эта радость так распирала его, что он не мог сдерживать ее. Он подпрыгивал, крутился на каблуках, футболил замерзшие конские котяхи и орал, сочиняя на ходу песню:

Ой, вы Куцему поверьте:  
Провожанье — хуже смерти...  
Проводил он до теплушки,  
Отморозил ножки, ушки!..

Возле клуба остановился, прислушался — там еще шло кино, и он, не долго думая, полез к Николаю в киноподку. Услышав топот, Николай выглянул из-за аппарата и заорал вдруг радостно, увидев Гурина:

— А, Клим!.. Забодай тебя комар! — Николай имел привычку в разговоре вставлять реплики из кинофильмов. Насмотрится каждой картины сеансов по десять, запомнит весь сценарий и давай шпарить. Сейчас он крутил фильм «Трактористы», откуда и были эти «Клим» и «забодай тебя комар». — Да тебя ж мне сам бог прислал! О, алла-а-ах! — И, оглянувшись на окошко в зал, зажал себе рот рукой. Подошел к Васке, обнял, прошептал: — Слушай, выручи! Докрути сеанс до конца, а то мне вот так нужно! — он чиркнул пальцем себя по лбу. Подшмыгнув носом, смотрел на Гурина умоляюще: — Ну? Тут всего-то две части осталось. Я тебя век потом не забуду!

Гурин ушам своим не верил: неужели Николай доверяет ему самостоятельно пускать кино?

— Ну, что выпучил глазищи?

— А вдруг?..

— Никаких «вдруг»! — Николай театральным жестом отмахнулся всякие «вдруг». — У тебя же здорово получается, я наблюдал за тобой. А потом — чья школа? — Николай дурачился. — Чудак! Ты же опытный механик!

— Да?..

— Конечно! Становись к аппарату!

Гурин сбросил пальто, шапку, потер замерзшие руки, встал на место киномеханика и по выработанной уже привычке бросил взгляд на экран, на бегущую вниз пленку, подкрутил угли и только потом выглянул из-за аппарата.

Николай, причесав свои рыжие кудри, аккуратно, чтобы не сбить прическу, осторожно надевал шапку. Кривоногий, рыжий, он весь был какой-то возбужденный, как перед выходом на сцену.

— Что случилось? — спросил Гурин.

— Не говори! — И тут же признался: — Влюбился! Дивчина — во! В зале сидит... Побегу! — У порога остановился: — Ты части не перематывай, сам утром пе-

ремонтаю. Кончишь — положи их в фильмо-  
стат... Выключи потом все тут, закрой, а ключ Саввичу отдай. Ну,  
пошел! — И он покатился с грохотом вниз по лестнице.

«Во дела!» — улыбнулся Васька и вернулся к аппарату. Постоял, подрегулировал свет, вышел на середину аппаратной, раскинул в стороны руки — один! А рядом — работающий аппарат, который теперь подчиняется только ему, Ваське Гурину, и никому больше. Как горел он, как мечтал о той минуте, когда Николай не просто доверит зарядить пленку, запустить аппарат, а вот так — оставит все на его ответственность: ты тут самостоятельный хозяин! Вот бы кто зашел да увидел! Роза Александровна!.. Наверное, удивилась бы?.. А он и при ней, ничуть не теряясь, спокойно отщелкивал бы зажимы, заправлял пленку и рассказывал бы ей, как оно тут происходит, это волшебство, — как оживают мертвые кадрики, как звуковая дорожка с помощью лампы-подсветки превращается в музыку, в слова...

*Ich liebe dich...*

Пленка равномерно шелестела, и Гурин под этот шелест размечтался о своей любви, задумался и прозевал конец части. Спихнулся, когда уже захлестал по роликам кончик пленки и экран осветился белым светом, — мигом закрыл заслонку, выключил аппарат и стал отщелкивать зажимы, освобождая ролики.

Быстро поменял части, зарядил пленку, не торопясь, проверил каждый ролик, каждую петлю... Верхняя показалась великоватой — будет во время сеанса лишний шум создавать, отщелкнул зажим, уменьшил петлю, излишек пленки на бобину намотал. Ну, кажется, все?.. Пуск! Ударил яркий пучок в экран, пошли по стерне могучие трактора, окутанные дымом костров, отваливают широкие лемехи пласты земли, гремит песня:

Броня крепка, и танки наши быстры,  
И наши люди мужеством полны!  
В строю стоят советские танкисты —  
Своей великой Родины сыны!  
Гремя огнем, сверкая блеском стали,  
Пойдут машины в яростный поход,  
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин  
И первый маршал в бой нас поведет!

Сеанс Гурин закончил нормально и на радостях домой не спешил, перемотал части, сделал все, как полагается,

а Николаю оставил записку, чтобы тот знал и напрасно не перематывал бы пленку.

На другой день Гурин заглянул в кинобудку специально, чтобы услышать от Николая оценку своей работы. Но тот и думать об этом забыл, будто и не Гурин докручивал сеанс. Хвастался своей «дивчиной» — какая она неженская, скромненькая, миленькая. И тогда Васька не выдержал, спросил:

— А какие замечания по моей работе?

— Какие замечания! — Николай поднял удивленно плечи. — Все нормально! Ты, правда, когда части менял, свет в зал забыл включить, так это мне было только на руку. — Он подмигнул хитро. — Слушай, а сегодня как, выручишь?

— Конечно! — охотно согласился Гурин. — В любой день! — И, подумав, уточнил: — Может, кроме тех, когда у нас немецкий... — Сказал и покраснел.

Но Николай не заметил его смущения, понял по-своему:

— А что, трудно? Много задают?

Гурин замаялся, ничего не ответил. Дело-то не в том, много или мало задают, — ему вечера были дороги: у него теперь забота — провожать учительницу.

А подготовка к немецкому у него с недавних пор заключалась не только в зубрежке урока — в этот день он и себя готовил к школе самым тщательнейшим образом: наглаживал брюки, начищал ботинки, обрезал и чистил ногти, и еще тысячу разных мелочей проделывал он над собой, прежде чем выйти из дома. Особенно много хлопот доставляла ему прическа. Жесткие, непокорные волосы не прилежали, как ему хотелось, и поэтому он еще с вечера смачивал их теплой водой и завязывал на ночь материнной косынкой. Утром оказывалось, что косынка еще больше изуродовала голову: в одном месте волосы были примяты, а в другом торчали как ни в чем не бывало.

Васька сердился, нервничал, смазывал их подсолнечным маслом, но и это не помогало: волосы становились жирные, сальные и блестели, как на дьячке. Тогда он мыл голову и снова расчесывал их вниз, на лоб — делал челочку.

Видя мучение брата, Танька ехидно замечала:

— Во, жених-то наш бесится со своим чубом!

Васька сердито поглядывал на сестру, грозил ей кулаком.

Мать старалась успокоить сына:

— Ну хорошо же так! Что тебе еще надо?

— Где же хорошо? — не выдерживал, нервно кричал Васька, будто это мать была во всем виновата. — Где же хорошо? Торчат, как иголки на ежике...

— А то лучше, когда лежат, как солома, прилизанные? Маленькие еще, отрастут, тогда они будут слушаться.

— Отрастут!.. Когда ж они отрастут?..

— А у тебя что за спешка случилась? Для кого это ты так начищаешься?

— Обязательно для кого?..

— Ну да. Раньше ж ходил — и ничего, а тут вдруг... Комиссия, что ли, какая приезжает?

— Будто только для комиссии надо быть аккуратным? — усмехнулся Васька, удивляясь материной наивности.

— Перед «немкой» выпендривается, — выпалила Танька. — Там они все от нее с ума сходят...

Васька запустил в сестру книгой, прокричал:

— Трепись больше! — И, устыдившись своей горячностью, сказал небрежно: — Очень она мне нужна...

Однако все-таки зачем-то была нужна. На ее уроке сидел он весь сам не свой: из себя вылезал, тянулся, чтобы она его вызвала, обратила на него внимание, хотелось блеснуть своими знаниями, понравиться ей, и чтобы все это было незаметно для других... Бывало, она вызывала его к доске, он отвечал, выполнял ее задания, она ставила ему хорошую оценку в журнал, но его самого, его влечения к ней не замечала, и ему было обидно. Вечером он снова и снова стоял в тени деревьев, ждал ее появления, и она появлялась, но тут же вслед за ней, как обычно, выскакивал Куц и, крутясь вокруг нее собачонкой, шел провожать. Это стало раздражать Гурина, и он лихорадочно придумывал, как бы отшить от нее провожатого. На уроках физики Васька стал грубить Куцу, бросал двусмысленные реплики, и Куц, иногда потеряв терпение, либо выставлял его из класса, либо записывал на последнюю страницу журнала как нарушителя. Дошло до того, что поведение Гурина стало предметом разбирательства на классном собрании. Активисты требовали, чтобы Васька рассказал, почему он именно с физиком всегда препирается, ведет себя с ним грубо, неуважительно? В чем тут дело?

— Не могу объяснить...—выдавил из себя Васька, стоя понуро за партой. — Не могу... Но обещаю... Постараюсь на уроках физики вести себя...— И тут же подумал: «А Куцего от Розы Александровны все равно отошью!»

Но как? Хулиганы на них не нападали, и поэтому устыдить его в трусости, а самому предстать героем-спасителем перед ней — такого случая не представлялось. И тогда он решил сам припугнуть Куца.

В следующий раз он уже не прятался под деревьями у школы, а ушел далеко вперед — за больницу и там, за углом больничного забора, стал поджидать Розу Александровну и Куца. И когда они показались, он, наклонив на глаза шапку и отвернув воротник, вышел, покачиваясь, им навстречу. Поравнявшись, Гурин толкнул Куца плечом и, проворчав: «Чтобы я тебя возле нее больше не видел!» — пошел дальше. Это по замыслу Гурина должно было испугать и унижить Куца, после чего он перестанет провожать Розу Александровну, которая в свою очередь должна почему-то презирать его.

Но на другой день, встретив Гурина в коридоре, Куц отозвал его в сторонку, сказал:

— Ну и приемчики у тебя!

— Какие приемчики? — Гурин, сощурив глаза и скривив презрительно рот, в упор посмотрел на Куца. Но не выдержал, отвел глаза в сторону.

— Стыдно? — спросил Куц. — А приемчики у тебя хулиганские и по-деревенски примитивные. Ты думаешь, я тебя не узнал вчера? И знаешь, что за это полагается? Ты же пулей вылетишь из школы и из комсомола, если я сообщу об этом директору и комсору. Но я понял, в чем дело, и поэтому прощаю тебе. Только запомни: так любовь женщины не завоевывают, оставь эти штучки блатнякам. — И пошел прочь от Гурина, не дав ему ни возразить, ни оправдаться. Да Гурину и сказать-то было, собственно, нечего.

А вскоре разнесся слух, что Куц женится на Розе Александровне, и Гурин совсем сник. У него появилась ко всему апатия — к школе, к занятиям, к друзьям; он стал раздражителен, ни с кем не разговаривал нормально, отвечал резко, иногда грубо, уроки запустил. Он похудел, под глазами появились синие круги.

Мать несколько раз подступалась к нему с вопросами,



что с ним, не болен ли, но он только отмахивался и тут же уходил с глаз долой, забивался куда-либо в укромное местечко и плакал. Хотел умереть, но так, чтобы учительница узнала, что он погиб из-за нее...

Путаясь в догадках, мать не на шутку забеспокоилась и, выбрав время, пошла в школу узнать: может, там у него какие неполадки? Но в школе она тоже ничего не узнала, наслушалась лишь жалоб на него...

И только когда она уходила, ее в коридоре догнал Куц и сказал:

— Вы не беспокойтесь, это пройдет.

— А вы знаете, что с ним?

— Он влюбился... Влюбился в учительницу. Это бывает — первая мальчишеская любовь.

— Влюбился?! Еще чего не хватало! В учительшу? О господи!..

— Это бывает,— внушал ей Куц.— Вы только не ругайте его. Это пройдет.

Мать шла домой и все думала об этой новости, не знала, как к ней относиться: то ли радоваться, гордиться, то ли возмущаться и собраться с силами да выпороть его напоследок, выбить эту дурь из него? «Это же надо! Додумался — в учительницу влюбился!..»

Однако дома решила подступить к нему осторожно:

— Ну и дурак ты, сынок, что так убиваешься. Не стоит она этого...

Гурин поднял голову, посмотрел на мать.

— Я все знаю, сынок. Не стоит она...

— Как не стоит, почему? Ты что-нибудь знаешь о ней? Видела хоть ее? — возмутился Васька.

— Видела... После уже догадалась, что это она. Единственная, кто не жалился на тебя. Красивая!

— Ты была в школе?! — Васька хлопнул себя по бедрам, взвыл от досады. — Зачем?

— Да ведь родной ты мне или чужой? Должна я знать, что с тобой делается? Ты не говоришь...

— Опозорила!..

— Ничего не опозорила. Думаешь, дурней тебя, не знаю, как с людьми разговаривать? Ты пойми вот что. Красивая она, но она ж старше тебя, ей замуж пора выходить, а тебе еще школу надо кончать. Ты же не можешь на ней жениться?

— Обязательно жениться! Какие-то пошлые мысли сразу: жениться!

— Ну а как же? Она ж не будет из-за тебя оставаться старой девой? «Ходи одна, никого к себе не подпускай — пусть только Вася Гурин любит тебя тобой». Так ты себе представляешь свою любовь? Но так же не бывает, она ж живой человек, а не кукла. Или, может, ты жениться задумал?

— Да при чем тут это? — окончательно рассердился Васька. — Жениться, жениться!.. Пошлость какая-то!..

Пришла бабушка, взглянула на внука и ахнула:

— Внучек, да што ж с тобой делается? Больной? — И к матери: — Эй, девка, ты што ж это не глядишь за детьми? У него ж, наверно, чухотка. Заучила парня...

— Того и глядите — учеба его заела, — откликнулась мать.

— Он жениться задумал, — съязвила Танька.

— Жениться? — удивилась бабушка притворно. — На ком же? Хоть на красивой ли?

— Красивая! — сказала мать. — Уж што красивая — то красивая, ничего не скажешь.

— Да чи правда? — посерьезнела бабушка. — Внучек, што это они?

— Слушайте их больше...

— Влюбился, а не той... Она учительница и замуж выходит... Вот он и мучается.

— Правда? — бабушка погрустнела, подошла к Ваське. — Правда, внучек? Ну, што ж, бывает и такое горе... Бывает... Только себя-то казнить не надо. Рази ты виноват? А потом — твое еще все впереди, такой молодой, красивый — да за тебя любая пойдет! Вот вырастешь — дак от них отбою не будет. Посмотришь, а их стоит перед тобой пять, десять — выбирай любую. А эта уже старая будет, еще пожалеет.

Васька усмехнулся, размягчился.

— Да уж так и набросятся... Действительно, красавчик нашелся, — сказал он презрительно о самом себе.

— А што ж у тебя за дехвект такой? Конечно, красавец!

— Конечно... Что рост, что нос... Да?

— Ну, милый! Рост! Росту еще наберешь, это он затормозился — харчи были плохие. Наберешь еще! — уверенно сказала бабушка. — А нос? Нос так даже

хорошенький — курносенький. У нас на посы еще никто не жалился. А то рази лучше, как у Грунькиного Ивана? Как топориче, прости господи.

Васька засмеялся. На сердце у него отлегло: умеет бабушка как-то и поговорить всерьез, и пошутить, и боль снять...

— Вы видите, какой он глупый еще, — подошла мать к бабушке. — Ему хочется красивым быть, как девочке. Он думает, что они на красоту бросаются.

— А на что же, на уродство? — спросил Васька.

— Мужичу совсем не красота нужна, а ум, да сила, да душа. А красота... С лица воды не пить, говорят.

— Смешно... — закрутил Васька головой.

— Да, то правда твоя, — согласилась бабушка. — Любовь зла, полюбишь и козла. А только, когда к уму, к душе, к силе да еще и красота — оно приятнее. Сама небось за Сантуя не пошла замуж, а выбрала Кузьму?

— Сравнили! — качнула мать головой укоризненно.

— Бабушка и то больше разбирается в этом деле, — упрекнул Васька мать.

Но та не обиделась, ответила:

— Она и должна больше разбираться: она прожила больше и знает больше.

Бабушка заглянула в комнату вербованных, спросила:

— Редеют койки?

— Да, двое осталось. Аркадий — тот комсомолец, стахановец, ему дали место в общежитии при заводе. Вроде жениться собирается, обещал на свадьбу пригласить. А Грицко на шахту перешел работать. Ничего стал, выдурился парень. Где-то там, на шахте, и живет. Остались Валентин да Разумовский. Ну, Валентин убогий, калека, — трудно ему выбиться. А Разумовский, видать, сам не хочет. Здоровый, умный мужик, а блажит.

А Васька долго еще ходил будто сам не свой. Окончательно забылась эта история, лишь когда Куц и Роза Александровна перешли работать на первый поселок — в новую, только что построенную трехэтажную железнодорожную школу, а сюда прислали седенького старичка — доброго, улыбчивого, влюбленного в латынь, от которой, по его мнению, произошли многие европейские языки. Славянские тоже во многом обязаны латыни. В том числе и русский, у нас немало слов, корни которых уходят

в этот древний язык: трактор — тракт — трактир — трактум: кондуктор — кондо, квартал — кварта — квартет и т. д. и т. д. Тетрадь — слово тоже латинского происхождения.

— Так что,— сказал он, улыбаясь, в конце первого урока: — Латынь из моды вышла ныне, но, если правду вам сказать, она довольно-таки еще в моде, особенно в медицине, в музыке. Да и так еще живет старушка! Живет во многих языках!

А Гурин в конце предыдущих упражнений в тетради написал крупно:

Aufwiedersehen, meine Liebe...

И, перевернув страницу, начал с нового листа:  
«Латынь — праматерь языков».

## НОВЫЙ КОСТЮМ

За неделю до Октябрьских праздников матери в профкоме дали талон в «закрытый» магазин на покупку пары мальчиговых ботинок. От сведущих людей она узнала, что на эти талоны там продают хорошие вещи, и очень обрадовалась: купит старшему к празднику приличную обнóву, а то ему ходить почти совсем не в чем: старые ботинки чинены-перечинены. А мальчишка вырос уже, женихаться начал, от ребят ему не хочется отстать. На танцы ходит, а не танцует, стесняется своей обуви.

Танька увидела талон, заворчала недовольно:

— Все Васе-колбасе справляют...

— Ну уж тебе-то обижаться! — отбрила ее мать. — Хуже людей ходишь? Это вон Алешка пусть ворчит — тому все обноски от старшего достаются. А ты, слава богу, не обижена, на тебе всегда свеженькое. Дойдешь до девятого, и тебе справим. Тогда легче будет, Вася уже кончит школу.

— Ага... Жди того девятого класса...

На другой же день, еще и рассветать не думало, мать разбудила Ваську, и они огородами, через кучугуры, через буерачек, полем подались пешком на Ясиноватую, чтобы опередить рабочий поезд и занять очередь первыми.

В темных, неосвещенных улицах вечно строящейся станции они с трудом отыскивали промтоварный магазин № 17 ОРСа Южно-Донецкой железной дороги. Магазин этот

стоял на отшибе от других домов, над его дверью с большим амбарным замком висела тусклая лампочка, под ее желтым светом они с трудом прочитали вывеску. У крылечка приютилась деревянная сторожевая будка.

— Вот он! — вздохнула мать облегченно. — И народу, кажись, никого нету, первыми будем. — Потом все-таки, не веря глазам своим, обошла магазин и забеспокоилась: — Странно, никого нет... Может, нынче выходной у него? — Стала искать какую-нибудь записку на двери, ничего не нашла, сказала: — И спросить не у кого... И сторожа не видно...

В этот момент из будки послышался кашель.

— Сторожа не видно, зато сторож вас видит, — скрипнула дверь деревянной сторожки, и оттуда медленно вылез старик с малокалиберной винтовкой. — Шо тут за ранние такие за посетители?

— Да вот приехали пораньше, купить кой-чего... А штось никого не видно? — спросила мать.

— А кого видеть? Добрые люди спят еще. Это ведь особый магазин — по талонам, — значительно сказал сторож.

— С талоном мы и приехали.

— А!.. Ну, то дело другое. — Сторож сразу смягчился, зауважал. — А чего ж тогда ни свет ни заря примчались?

— Да думали — пораньше очередь занять... — И добавила: — Чтобы на работу успеть, я тут, на Западном работаю...

— Ну, то дело другое... А очередей у нас не бывает.

— Не вертаться же? Будем ждать...

Мать разговорилась со сторожем, спросила, есть ли там ботинки тридцать девятый размер. Сторож сказал, что и размер, и фасон есть любой, и мать совсем расковалась, подобрела, успокоилась и была со стариком так ласкова, будто встретила отца родного. И тот разговорился, и, когда пришли продавцы, сторож передал им магазин вместе с ранними покупателями. Те заулыбались, впустили их в помещение — погрейтесь до открытия, а то утро прохладное. Вошли они в подсобку, сели на краешек ящика, подобрали ноги, чтобы никому не мешать. А потом мать стала помогать продавцам — подносила коробки с товаром, разговорилась, шутила с ними и к началу работы уже была тут как своя.

— Значит, ботинки молодому человеку? — спросил продавец и посмотрел на Ваську. — Ему надо уже не мальчишковые. Тридцать девятый?.. — Он отыскал нужную коробку и раскрыл ее так торжественно, будто там лежала драгоценность.

Мать заглянула в коробку и тут же назад отступила, подумала: «В насмешку, что ли?» Посмотрела на Ваську, а у того глаза загорелись, от коробки оторваться не может, а губы шевелятся, дергаются обидчиво — знает: не для него такие. В коробке лежали черные туфли на кожаной подошве, с рантом и с утиными носками. О таких Васька мог только мечтать.

— Ну что? — спросил продавец. — Не нравятся?

— Дужа блестят! — сказала мать не своим голосом. — Они ж дорогие, наверно?.. — Услышав цену, заинтересовалась, кивнула сыну. — Померь, Вася.

Васька осторожно вытащил туфли, повертел — от них пахло лаком и новой спиртовой кожей.

— Все равно ж не возьмем?..

— Померь. — Мать уже совладала с собой, она уже что-то решила про себя, и голос у нее окреп. — Подойдут — купим.

Присел Васька на табуреточку, надел на одну ногу, потом на другую, встал на газету, переступил, пошевелил пальцами — все хорошо, все ладно, нигде не жмет, не давит.

— Ну, што? — нетерпеливо спросила мать.

— Хорошо...

— Не жмут? Не велики? — Она присела, надела на носки, попробовала сунуть палец в задник. — Просторные — тоже плохо. Гляди! Как следует гляди, в шею никто не гонит. — Взглянула на продавца. Тот кивнул, одобрил ее слова. — А как же? Отдать такие деньги, а потом плакать — это не дело. Ну, как?

— Хорошо, — сказал Васька и принялся разуваться.

— Ну и ладненько... Берем, значит. — Она отвернулась, полезла за пазуху за деньгами.

Покупка совершилась быстро, уходить из магазина мать не торопилась. Подошла к костюмам, потрогала:

— Хороший материал. Тебе б такой, а? — И вдруг обратилась к продавцу. — А костюмчик можно померить?

— Можно, — сказал тот.

— Зачем, мам? — поморщился Васька. — Все равно ж не будем покупать: ни денег, ни талона на костюм...

— А ты надень, будем знать хоть, какие они есть.

Нехотя Васька вошел в кабинку, переоделся и вышел оттуда неузнаваем — мать даже заулыбалась:

— Ой! Совсем другой человек! Как на тебя шили! — Погладила по плечам, повернула туда-сюда — довольна. — И сзади все гладко!

— Да, — подтвердил продавец. — Это редко так бывает. Возьмете?

— А можно?

— А почему ж нельзя?

И мать снова отвернулась, достала из-за пазухи узелок, расплатилась и уже не стала пустой платочек прятать. Даже встряхнула им:

— Все!.. Думала и тем что-нибудь купить, да ладно, обойдутся, а тебе теперь надолго хватит. Пока и школу кончишь — душа моя о тебе не будет болеть, — говорила она Ваське, пока им заворачивали костюм.

Взяли они покупки: мать — коробку, Васька — костюм, пошли домой, и было им обоим легко и радостно.

— Ма, а как же он костюм продал нам без талона? — спросил Васька, все еще не веря в такую удачу.

— А может, у них костюмы без талонов... Я хотела спросить, а потом думаю: «Да ладно, я ж не даром беру, за деньги. А талон-то, видно, так, как пропуск в магазин», — успокоила она Ваську, хотя сама в этом не очень была уверена.

Дома, когда Васька нарядился во все новое, радости было еще больше. Костюм приятно облегал тело, брюки были длинны и достаточно широки, хотя и не такие, как делали на заказ, но все-таки близки к моде. Пиджак двубортный, лацканы большие, острые, слева на груди врезной кармашек. Подкладка на пиджаке из блестящей, будто шелк, материи, внутри с обеих сторон тоже карманы. Все как у взрослого, никогда еще Васька не имел такого и не мечтал даже, что он у него будет когда-нибудь.

Танька взглянула на брата и заревела от досады — так все на нем было красиво. А Алешка уже договаривался с матерью, чтобы она старый Васькин пиджачок перешила ему.

— Погоди ты, — сказала ему мать. — Што ж он, такой

костюм будет каждый день таскать? Это выходной, только по праздникам.

А Васька ходил по комнате и сам себя не чувствовал, будто приподнимал его кто-то: и под мышками, и в поясе — везде так ладно все облегалось, будто и в самом деле шито на него. Особенно приятно обхватывало плечи, подложенная вата делала их выше и шире, при этих плечах куда девалась Васькина сутулость — ходил по комнате, как вышколенный офицер, слегка поскрипывая новенькими туфлями.

Ваське захотелось посмотреть костюм со стороны, на ком-то другом. Попросил Валентина примерить. Тот надел только пиджак, застегнулся — и тоже сразу преобразился, красавцем стал.

Доволен Васька, счастлив и на мать смотрит удивленно и благодарно: как она расщедрилась, все деньги на него ухнула... Это ж сколько она их копила!..

— Вот пойдешь теперь на торжественное в клуб во всем новом, — говорила мать, сворачивая костюм и пряча его в сундук. — Ну а у меня гора с плеч: один одет и обут.

Васька любовался туфлями. Держал их в руках, вертел перед лампочкой, рассматривал рубчики на рантах, желтую гладкую подошву, квадратные утиные носы, вдыхал с наслаждением терпкий запах кожи и улыбался. Хукнул на носок — он затуманился, теранул рукавом — опять засверкал. Вложил снова в коробку... Коробка — одна эта штука чего стоит, никогда еще в доме не было обуви в коробках. Надо же, как повезло человеку!..

— Мам, это модельные?

— Конечно! — отозвалась та. — Какие ж еще, рази не видишь?

«Модельные!» — вздохнул Васька сладко.

Теперь он мечтал только об одном — чтобы на седьмое была хорошая погода, чтобы можно было идти на демонстрацию в одном костюме, без пальто.

И уж как повезет человеку, так везет во всем. Как хотел Васька, так и случилось: погода выдалась теплая, солнечная. Нарядился он во все новенькое, начесал «политику» как следует, выбросил поверх костюма белый воротничок рубашки, пошел на демонстрацию. Идет — ноги будто сами несут его, не чувствует земли под собой, и кажется ему, что все встречные только на него и глядят.



На самом же деле лишь в школе обратили на него внимание — какой Гурин нарядный, и как он сразу повзрослел, и как он красив. Это удивление он видел во взглядах девочек других классов, а его одноклассницы говорили ему об этом прямо, не стесняясь, восхищались им.

Жек пощупал костюм, одобрил материал:

— Шерсть! Тонкая какая! А шкеры! Ну, брат!.. — И он снова мял полу костюма, будто не верил, что он действительно из шерсти.

— Да ладно... — смущался Гурин. — Ну, брось... Ну что ты, как девочка, шупаешь...

И надо же случиться — почему-то именно в этот же день заметил Гурин в стайке учениц из девятого «Б» беленькую, в косичках, в редких конопатинках, застенчивую девочку. Она все время «висела» на руке у Натки Косоруковой — боевой, отчаянной девчонки из того же класса. «Кто такая? — подумал Гурин. — Откуда взялась?..» И вдруг она заметила, что Васька смотрит на нее, смутилась, захлопала белесыми ресничками, спряталась за Натку.

И потом, вечером, в клубе на танцах опять он увидел ее танцующей с той же Наткой. Спросил у Сорокина — кто такая, откуда? Жек кивнул в сторону девушек, переспросил:

— С Наткой которая?

— Да.

— Да ты что! Вальку Мальцеву из восьмого «Б» не знаешь?

Девушки услышали свои имена, оглянулись на Сорокина, тот подмигнул им, Натка улыбнулась в ответ, а Мальцева застеснялась почему-то, сбилась с ритма, и они сошли с круга.

Гурин хотел подойти к ним и пригласить Вальку на танец, но после того как Жек все так грубо испортил, не решился.

А вскоре девочки незаметно ушли с танцев, и Гурин корил себя за нерешительность.

— Не жалею! — сказал ему Жек, заметив, что Васька шарит по залу глазами. Наклонился, прошептал: — У нас сегодня есть чем заняться. Вот доиграю, и мы пойдем с тобой в одно местечко...

— Куда?

— Я договорился. Компашка одна. Да там, кроме нас с тобой, никого не будет: мы да девахи. Пластиночки послушаем. Девахи — во! — Жек, не прерывая игры, показал большой палец. — Пойдем? Я о тебе им говорил.

У Гурина было такое настроение, что он готов был идти куда угодно.

— Пойдем! А эти там будут? — кивнул Гурин на угол, где недавно стояли Натка и Мальцева.

— Да ну, малявки! — Жек поморщился. — Не!..

— Ну, ладно, — согласился Васька. — Пойдем, послушаем пластинки.

— Ага!

Идти, оказывается, пришлось на первый поселок, но Гурин не раскаивался: еще и лучше, познакомится с поселковыми.

В доме, куда они явились, было чистенько, все обставлено по-городскому — кушетка с белыми салфетками на валиках, комод, уставленный открытками с целующимися парочками в рамках из морских ракушек.

Большой оранжевый абажур глушил свет, и только накрытый стол да кое-какие близстоящие предметы были выхвачены из полумрака ярким светлым кругом. На столе тарелочки, бокалы — «на четыре персоны». Тонкие кружочки колбасы на длинной селедочнице, краснобокие яблоки в вазе, нарезанная булка в плетеной соломенной хлебнице — все было расставлено будто небрежно, но на самом деле красиво, со вкусом. В центре стола, словно с картинки сошла беловерхая гора Арарат, высилась большая черная бутылка с горлом, обернутым серебряной фольгой, — шампанское.

Еще в коридоре их встретила хозяйка — худенькая, большеглазая, с ярко накрашенными губами женщина. Она открыла им дверь, быстро чмокнула Сорокина в щеку, потом сунула Ваське тонкую костлявую ручку, назвала себя:

— Вика. — И убежала, бросив на ходу: — У меня там на кухне...

Жек последовал за ней, а Гурин остановился на пороге комнаты и стал рассматривать обстановку.

На тумбочке в дальнем углу тупой иглой шипел патефон, и пластинки то Лещенко — «У самовара я и моя Маша...», то Утесова — «Любовь нечаянно нагрянет...»

сменяли друг друга. То вдруг совсем незнакомое Гурину и трогательное до спазм: «Дымок от папиросы...»

У тумбочки стояла девушка. Васька видел только ее освещенные белые руки, которые постоянно накручивали пружины патефона и меняли пластинки. Голова ее была в тени абажура, и поэтому разглядеть лицо девушки Васька не мог.

Жек шепнул ему:

— Твоя... Будь смелее, подойди...

— Да ладно, — огрызнулся Гурин, сгорая от неловкости, но набрался смелости, подошел, спросил: — Помочь? — и не узнал своего голоса.

— Пожалуйста, — улыбнулась девушка.

Только теперь Гурин рассмотрел, что она блондинка, что у нее чуть подкрашены губы, что она красива и что она старше его. Гурин стоял возле нее и был как в угаре: все, что говорил и делал, — все это делал будто не он, а кто-то другой, который сидел в нем и подавлял его самого.

— Вам нравятся пластинки? — спросила девушка.

— Очень! — искренне признался Гурин. — Особенно танго люблю.

— И я тоже.

Пластинка за пластинкой, одна другой краше, захватили Гурина. И девушка такая красивая рядом, и эта музыка, и этот свет, приглушенный абажуром, — все, все было ново, интересно, как из другого мира, и желанно. Все поражало Гурина, и все ему нравилось.

А потом, когда сели за стол и эта девушка, которую звали Машей, оказалась с ним рядом, — и это он принял как случайность и как добрый знак.

Жек взял бутылку, привычно содрал с нее фольгу, раскрутил проволочку и, сдерживая пробку, встал.

— Прошу приготовить бокалы!.. Чтобы драгоценную влагу не разлить...

— Подожди, подожди! — закричала Вика и быстро поставила на диск «Брызги шампанского». Это танго всегда разрывало Васькино сердце, а теперь почему-то рвануло с особенной силой.

«Брызги шампанского давно разбрызганы...»

Хлопнула пробка, взвизгнули женщины, запенилось шампанское. Жек разливал его по бокалам, оно шипело, пенилось, переливалось через край, и все заговорили разом

и говорили, наверное, что-то веселое, остроумное, потому что все смеялись. Чокнулись, выпили, и почувствовал Гурин сначала острое покалывание в груди, как от сельтерской, а потом легкое приятное опьянение. И теперь уже все, что было до этого полно какого-то тайного смысла только для троих, стало понятным и ему, Гурину. Он осмелел, шутил, острил очень удачно и от этого вдруг как-то зауважал сам себя. И только когда пошли танцевать, он вдруг засмутился, даже скис немного, шепнул Маше доверчиво:

— Я плохо танцую...

Сказал он это так, на всякий случай, на самом же деле он танцевал довольно сносно. Но это у себя в клубе, а здесь...

Маша не удивилась Васькиному признанию, она тут же, будто давно знала об этом, сказала:

— Ничего. Будем учиться. Я поведу.— И она обняла Гурина правой рукой за талию, прижалась к нему плотно, будто приподняла его, прошептала: — Вы следите за мной.

Маша сделала шаг, второй и повела его, повела легко и плавно, и Гурин вслед за ней делал широкие и плавные шаги и был счастлив, что ни разу не споткнулся, не наступил Маше на туфли. А Маша вела его и подхваливала:

— Хорошо! Вы очень способный ученик... Хорошо! — Над самым Васькиным ухом она стала напевать танго: — Ра-ра-ра-а... Ри-ри-ра-ра...

У Гурина дыхание сперло, сердце от счастья подскочило к самому горлу и мешало ему не только говорить, но даже дышать. Натанцевавшись, снова сели за стол, снова выпили. Потом откуда-то в руках у Вики появилась книжечка, она хотела что-то прочитать из нее, но Жек помешал, выхватил у нее книжечку, полистал и стал читать сам, обняв Вику левой рукой:

Ты меня не любишь, не жалеешь,  
Разве я немного не красив?  
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,  
Мне на плечи руки опустишь.

Молодая, с чувственным оскалом,  
Я с тобой не нежен и не груб.  
Расскажи мне, скольких ты ласкала?  
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?  
Знаю я — они прошли как тени,  
Не коснувшись твоего огня,

Многим ты садилась на колени,  
А теперь сидишь вот у меня.

— Это тебя очень волнует? Дурашка! — сощурилась Вика и поцеловала Жека в губы.

Стихи Гурина понравились, он протянул руку, закричал нетерпеливо:

— Жек, Жек, дай!.. Жек, дай посмотреть!..

Жек отдал ему книжечку, и Васька с жадностью стал читать стихи: «Письмо к матери», «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу...».

— Боже мой! — воскликнул он. — Какие стихи! Чьи это?

— Есенина, — сказала Маша. — Вы разве не знаете Есенина?

— Да нет... Откуда же? Слышал о нем, конечно, но стихов ни разу не читал. Вот это стихотворение знал, но думал, что это песня народная. Какие стихи хорошие! Переписать бы!..

— «Только нецелованных не трогай, только негоревших не мани...» — декламировал, дурачась, Жек.

— Уж ты нецелованный? Дурашка! — возражала Вика и лезла его целовать.

— А я, пожалуй, трону нецелованного! — воскликнула Маша. — Вася, давайте выпьем на брудершафт! До каких пор мы будем «выкать» друг другу?

— Как это? — не понял Гурина.

— На брудершафт! Не знаете? О, вы совсем еще мальчик! — И она объяснила ему, как это делается. Сама наполнила бокалы, переплела свою руку с его, выпила первой, ждала Ваську. — А теперь надо поцеловаться. — И она крепко зажала его рот губами, у Гурина снова подскочило сердце к самому горлу, он хотел высвободиться, чтобы передохнуть, но Маша не отпускала, выпилась, словно хотела выпить его до дна. А Жек и Вика хлопали в ладоши и смеялись. Наконец Маша отпустила Ваську и, передохнув, сказала: — Теперь мы только на «ты»... — И добавила тихо, одному Ваське: — О, какой ты!.. У меня даже голова закружилась...

И Гурина была приятна эта ее милая ложь, ему и впрямь захотелось, чтобы от его поцелуя у нее закружилась голова.

Вика и Жек незаметно исчезли из-за стола и закрылись в другой комнате, а Гурин остался с Машей вдвоем. Они пересели на тахту, читали стихи. Маша слушала заинтересованно, прижавшись к Ваське, целовала время от времени его в щеку, в губы. Гурин отвечал ей — они будто играли в запретную, но такую сладкую игру...

И долго Гурину было после этого и хорошо, и стыдно, и не жалел он, что попал в этот мир — другой, запретный и такой сладкий и желанный. Вспоминал потом, и задышался от счастья, и краснел, и мучился, раздираясь между желанием повторить все это и внутренним голосом, который удерживал его. Непонятно как, но в конце концов у него все-таки хватило какой-то подсознательной мудрости, чтобы больше не пойти туда. И когда Жек после напомнил ему об этом вечере, Гурин покраснел весь до ушей, до корней волос, возмутился: разве о таких вещах говорят вот так, просто, вслух?! Замахал руками, закричал:

— Перестань!..

— Маша привет передавала, приглашала. Очень ты ей понравился.

— Перестань, Жек!

— Ну, ладно, ладно... — согласился Жек и не стерпел, добавил: — Чистенький...

Это Машино слово, Гурин сразу его услышал. «Рассказала... Как же так можно?!»

Екнуло сердце, вспомнились ее горячие поцелуи, рванулась было мысль — пойти! Но осекся, удержал себя, не пошел... И как на грех, после этого Валя Мальцева все чаще и чаще стала попадаться ему на глаза, а он избегал ее, боялся с ней встречаться, краснел — чувствовал себя перед ней крепко виноватым...

А через неделю у Гурина не стало его прекрасного костюма, в котором он так подскочил и в глазах других, и в своих собственных: его украл колченогий Валентин и смылся, как говорят, в неизвестном направлении.

Васька бесился, бегал в милицию, но вора и след простыл. Больше всех убивалась мать: она так тянулась, так экономила на всем и так удачно все получилось у нее, — и вдруг все лопнуло, будто было это во сне.

— Это меня бог наказал, — доискивалась она до причины своих неудач. — Наверное, все-таки и на костюм нужен был талон, а я умолчала, не спросила — очень мне

понравился костюм, очень мне хотелось его купить. И не попользовались... Нет, на обмане далеко не уедешь...

Разумовский пожил еще с неделю после этого, получил зарплату и вдруг, ни копейки не истратив, всю отдал матери:

— Восстановите парню костюм. А я пошел дальше по свету. Не поминайте лихом. Спасибо вам всем за вашу доброту. До свидания.

Мать отказывалась от денег, но он положил их на стол, натянул на себя гуринский зипун и ушел.

Костюм Гурину «восстановили», но он был далеко не таким, как тот, первый, и радости большой он уже никому не доставил...

## ДОПРИЗЫВНИКИ

Взъерошила Васькин покой, взвихрила его фантазию, мысли, всю жизнь его на дыбки подняла эта белобрысая девочка — Валя Мальцева из девятого «Б». Год прошел уже, как он обратил на нее внимание и выделил из всех школьниц одну-единственную, а подойти, признаться в своих чувствах до сих пор не посмел. Всякий раз при встрече с ней у него перехватывает дыхание, уши вспыхивают огнем, сердце начинает биться, как у пойманного воробья, и он отводит глаза в сторону, торопится пройти мимо.

Нет, не заговорить ему с Валей — это он теперь уже совершенно точно знает. А сердце рвется к ней, при одной мысли о Вале в нем закипает кровь, мускулы напрягаются и в глазах темнеет. «Валя!.. Милая, стыдливая девочка из девятого «Б», как же сказать тебе, что я очень, очень, очень тебя люблю? Вот если бы оказались на необитаемом острове... Тьфу, дуралей... Опять необитаемый остров! Нет, вот если бы мы вдвоем случайно оказались... на...» И одна другой нелепей приходят на ум ситуации, при которых он обязательно высказал бы ей все, что у него на душе. То если бы на Валю напали бандиты, а он отбил бы ее и потом долго оставался с ней наедине, и только его нежный поцелуй вернул бы ее к жизни... То Гурин спасал ее (уж в который раз!), тонущую в ставке... Но самый лучший вариант — это, конечно, необитаемый остров — тут уж ей некуда деваться, увидела бы и поняла, как он ее любит...

И вдруг Ваську осенило: написать Вале записку, письмо! Как же он раньше до этого не додумался? Ведь это так просто: напишет и отдаст ей незаметно. Одна минута страха, а какое дело сделано!

Весь вечер сидел Васька над письмом и потом еще все утро корпел над ним. Сочинял так и эдак, начинал издали — получалось длинно, рвал, принимался заново, раз, другой, — письмо все не давалось. Домашние думали, что он сидит над уроками, мучается, бедняга, над теоремами, — обходили стороной его, не мешали. А он все время был настороже: не заглянул бы кто-нибудь случайно через плечо да не разоблачил его занятие, — стыда потом не оберешься.

Наконец письмо было готово, и было в нем всего пять слов и две буквы: «Валя, я Вас очень люблю. В. Г.» Написал, скрутил в трубочку, вложил в кожу металлической ручки, как в патрон, закрыл перьевым наконечником и спрятал в карман. В школу подался пораньше — не терпелось поскорее вручить свое послание. И хотя до занятий оставалось еще не менее получаса, Гурин уже дефилировал по коридору поблизости от дверей девятого «Б», ожидая появления Вали. Правая рука его крепко сжимала в кармане ручку с заветным посланием. От волнения рука так нагрелась, что, казалось, в кожухе ручки не записка лежала, а горели в ней раскаленные угли.

И вот в конце длинного коридора показались они — Натка и Валя. По их смущенной походочке, по неопределенным блуждающим улыбочкам Васька догадался, что они заметили его, и ринулся им навстречу, будто заспешил куда-то по срочным делам. Поравнявшись с девочками, он вдруг стушевался, замешкался, забегал глазами по сторонам, прошел мимо, и письмо осталось в кармане.

Выбежав на крылечко, Гурин вытер со лба испарину, достал ручку, снял перьевой наконечник и принялся пером нервно выковыривать из нее записку. Но записка не давалась, и тогда он вытащил и другой наконечник — карандашный, дунул в трубку, записка выскочила и запрыгала по ступенькам. Васька догнал ее, изорвал на мелкие кусочки и бросил в урну.

Мимо бежали, бежали ученики, спешили на урок — уже отзвенел первый звонок, а Васька все стоял на крылечке



и не мог прийти в себя, не мог отдышаться, будто на финишной черте после отчаянной стометровки.

А ведь она была так близко! Он чуть не столкнулся с ней, он успел даже разглядеть беленькие колечки на ее лбу — такие милые, симпатичные, которых раньше почему-то не замечал. Он видел, как Валя подняла на него растерянно-удивленные глаза — голубые, большие, блестящие, чуть приотстала от Натки, но тут же смутилась, захлопала ресничками и заспешила, заторопилась, побежала вслед за Наткой.

«Колечки... — думал он, поглядывая на урну. — Может зря порвал? На переменке, может, улучил бы момент? Эх, пентюх ненормальный», — обругал себя Васька и поплелся в класс.

Между рядами парт медленно ходит и рассказывает о Пушкине преподаватель русского языка и литературы Анна Дмитриевна Лукьянова.

Крупная, полногрудая, с массивными бедрами, она размеренно вышагивает взад-вперед, крепкие половицы тихо постанывают под ее тяжестью.

Четыре года назад Анна Дмитриевна впервые вошла в Васькин класс как классный воспитатель, в руках у нее был томик Пушкина, и первыми ее словами были стихи поэта:

Здравствуй, племя младое, знакомое!

С тех пор она открыла своим воспитанникам немало поэтов и прозаиков, научила их грамотно писать и читать, приучила говорить правильно по-русски, но Гурин не помнит ни одного дня, ни одного урока, когда бы она не упомянула имени Пушкина. А две даты — день рождения и день гибели поэта — отмечались ею неизменно. Она так любила Пушкина и так много о нем знала, что, казалось, была его современницей и ко всему в его жизни была сопричастной.

— В седьмом классе мы с вами отмечали столетие со дня трагической гибели великого русского поэта. Завтра исполняется уже сто третья годовщина этой печальной для русской культуры даты... Сто три года минуло с тех пор, как перестало биться сердце гения — этого неистового вольнолюбца, создателя современного русского языка, остроумнейшего человека, искрометного поэта, мудрейшего философа, жизнелюбца, певца любви, певца свободы...

Гурин смотрит на учительницу, но мысли его витают где-то в стороне от ее рассказа: его мозг взбудоражен неудачей с письмом и встречей с Валею. Но постепенно учительница овладевает его вниманием, и ее рассказ начинает смешиваться в его голове с реальной действительностью: герои Пушкина оживают, и он видит их в образе своих сверстников. Онегин — это, конечно, Женька Сорокин. Он высок, моден, смел, его любят девочки. Женька (у него даже имя как у Онегина — Евгений!) талантливый музыкант. Жек напропалую ухаживает за девочками, хотя все знают, что с Клавой Бочаровой у них любовь. И Клава часто страдает от Женькиной ветрености: вдруг ни с того ни с сего он возьмет и уйдет с танцев с другой, а она потом плачет. Клава Бочарова — это Татьяна Ларина.

Ольга рисовалась Гурину в образе Вали Мальцевой, себе же он отводил роль Ленского: застенчивый, скромный, по уши влюбленный. Одна беда — не водится за ним никаких талантов: ни играть, ни петь, ни рисовать он не умел, стихи сочинял плохие. От этой своей бесталанности Гурин сильно страдал, в компании ребят и девочек испытывал постоянную неловкость, стесненность, сам себе казался лишним, ненужным. Чувство неполноценности порой вгоняло его в такую тоску, что ему хотелось плакать, и он с досады убегал от друзей домой.

Зная себя, зная Жеку, Гурин заранее представлял такую сцену: на балу, то есть в клубе на танцах, Сорокин-Онегин приглашает Валею-Ольгу танцевать танго, а потом уводит ее и провожает до самого дома...

Гурин вдруг заерзал на парте, сменил позу, силой отогнал от себя эту мысль, незаметно бросил косой взгляд на Жеку и быстро успокоился: все это, к счастью, лишь его воображение.

Тем не менее где-то в глубине души у Гурина не затухает чувство ревности к Сорокину — тот способен на всякие штуки. Поэтому Гурин свою любовь к Вале хранит в тайне от Сорокина, не хочет обращать его внимание на эту девочку: Жек бесцеремонен, ради хохмы возьмет да и начнет хороводить... Вообще Жек удивляет Гурина своей взрослостью и смущает своей развязностью и пошловатостью. Сорокин постоянно играл на своем баяне в клубе и запросто вел себя с «большими» парнями, курил открыто,

отпускал по адресу женщин такие шуточки, что Гурин при них обычно краснел, как девушка. Правда, Жек и был года на полтора старше Васьки, он в каком-то классе сидел два года, но разница между ними чувствовалась колоссальная, и Гурину временами очень хотелось преодолеть эту разницу, чтобы не чувствовать себя рядом с Сорокиным каким-то недоразвитым, неполноценным. А иногда почему-то хотелось рассориться с ним навсегда, но всякий раз он подавлял в себе это желание: Жек будто магнит притягивал его к себе...

Анна Дмитриевна идет к доске, Гурин смотрит ей в спину и машинально изучает ее платье. Шелковое, в широких желтых и оранжевых полосах с узкой зеленой прослойкой между ними, платье это Гурину нравится давно. Нравится тем, что Анна Дмитриевна в нем становится гораздо красивее — оно ей идет, и тем, что сделано оно необычно: полосы на нем не продольные и не поперечные — и то и другое было бы безвкусицей, — они спадают вниз с одного и другого плеча наискосок и под острым углом сходятся на середине спины. И Гурин всякий раз удивляется искусству мастера, который делал это платье, удивляется, как он точно состыковал полосы по шву. Ни одна, начиная от шеи и кончая низом, ни одна полоска ни на волос не сбита, не сдвинута — все они точно подогнаны друг к дружке: желтая к желтой, оранжевая к оранжевой, зеленая к зеленой.

Платье это Лукьянова носит не первый год, но Гурин до сих пор не может к нему привыкнуть настолько, чтобы не обращать на него внимания. Считает треугольники на спине учительницы, а сам думает о Вале...

У доски Анна Дмитриевна поворачивается и идет в обратную сторону. Теперь Гурин видит ее анфас и рассматривает платье спереди — и еще больше удивляется точности подгонки полос на животе и особенно на груди: здесь, по его мнению, сделать это почти невозможно, и все же сделано все точно и аккуратно.

Гурин поднимает глаза и какое-то время разглядывает лицо учительницы — оно у нее красиво: прямой, словно на мраморной античной скульптуре, нос, чуть припухлые живые губы, легкий румянец на щеках — все в ней Гурину нравится. Особенно глаза — умные, пронизательные, добрые... И вдруг он замечает, что Анна Дмитриевна смотрит

на него и, по всему видно, давно за ним наблюдает. Гурин растерянно заметался глазами, отвел их в сторону и в тот же миг почувствовал, как кровь предательски хлынула к лицу.

Анна Дмитриевна поравнялась с ним и, будто невзначай, мягко коснулась рукой его плеча: «Не отвлекайся...»

Гурин крутнул головой, продолжая слушать ее, и вскоре пушкинское время снова перемешалось с нынешним, и он уже видит Анну Дмитриевну среди тех красивых и величественных графинь, которые чинно и важно выхаживали на царских приемах и великосветских балах. И конечно же, Анна Дмитриевна красивее и величественнее всех их, к тому же она умная и любит Пушкина.

Ах, Пушкин!.. Что за чудо этот Пушкин! Он не боялся царских жандармов, клеймил, высмеивал в эпиграммах самых главных из них:

Полу-милорд, полу-купец,  
Полу-мудрец, полу-невежда,  
Полу-подлец, но есть надежда,  
Что будет полным наконец.

Гурин смотрит в рот учительнице и уже не отводит глаза в сторону, он очарован простотой пушкинских слов, их слаженностью, их хлесткой выразительностью.

Да что там жандармские чиновники, что там Аракчеев, Воронцов! Он самого царя не щадил:

Ура! в Россию скачет  
Кочующий деспот.

«Деспот», — поправляет про себя Гурин учительницу, но тут же гонит от себя эту мысль, повторяет слово по-пушкински и находит, что так звучит оно лучше: необычно и потому — крепче.

А как писал Пушкин о любви! Прошло уже более ста лет, как перестало биться сердце поэта, но до сих пор никто не сказал о своих чувствах к любимой женщине лучше, проще, яснее, искреннее:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

Анна Дмитриевна читает стихи чуть-чуть нараспев, негромко, скорее — шепотом, будто по секрету говорит кому-то одному о самом сокровенном, и от этого стихи проникают глубоко в душу. И перед Васькой встает это «мимолетное виденье» в образе Вали Мальцевой: она — «гений чистой красоты».

В эту минуту Гурина хочется быть таким, как Пушкин — смелым, остроумным, искрометно талантливым, любимцем женщин и друзей. Какие стихи он посвятил бы Вале! А чтобы никто не догадался, кому они посвящаются, сверху написал бы: «В альбом В. М.».

Я помню чудное мгновенье:  
На перемену вышла ты...

Или:

Помнишь, на новогоднем карнавале  
Все кружились, танцевали,  
Потом кричали: «Валя! Валя!»  
И станцевала ты гопак...  
А я в стороночке стоял,  
Прости за грубость, как дурак...

Он оглянулся на Сорокина, тот подмигнул ему, и у Гурина тут же стало сочиняться «Послание к другу Е. С.»:

Жека, Жека!  
Я не знал другого человека...  
Мой друг Евгений,  
Ты настоящий гений:  
Играешь и поешь...

«Чепуха какая-то!..» Гурин неожиданно рассердился на себя — стихи плелись глупыми, подражательными, лживыми: «Какой он, Жек, гений? И не поет он вовсе... И вообще я сам глуп и бездарен, а еще пыжусь сочинять стихи! Мало мне было «Бабушки Марфутки»? Позорище!..» Гурин заерзал нервно на скамейке, неосторожно стукнул крышкой парты.

— Гурин, что с вами? Вы сегодня какой-то не в своей тарелке...

Посмотрел Гурин виновато на учительницу — простите... «Если бы мог, если бы умел, если бы стал... то, когда уже далеко позади осталась бы школа, в годовщину окончания ее, я написал бы «Воспоминания о седьмой средней школе», и там обязательно были бы проникновенные строки, посвященные любимой учительнице:

Дорогая Дмитриевна Анна!  
Как ни странно,  
Но я люблю Вас неустанно...

Но таких строк не будет, потому что я бесталанный...  
Простите...»

Последний урок — «военная подготовка», предмет, по всеобщему мнению, необязательный, и Гурин, раздосадованный своими неудачами, решил с него сбежать. Он уже сложил книги, спрятал их под рубаху, но тут же раздумал: куда бежать? Домой? Не хочется. В клуб к Николаю? Успеется... И он сунул книги обратно в парту, вышел на перемену в коридор. Только ступил через порог, а тут — Натка с Валея. У Вали глазки сразу вниз опустились, белесые реснички заметались беспокойно, а Натка посмотрела на Гурина, улыбнулась как-то многозначительно, иронично и даже вздохнула деланно. Васька вдавился в стенку, пропуская их, будто коридор сузился. Наткина улыбочка обожгла его так, словно заглянула она в самые сокровенные тайники его сердца: «Знает что-нибудь?.. Заметила?.. Догадывается?.. Значит, и Валя заметила?.. И наверное, смеются надо мной, издеваются... Иначе что значит Наткина ухмылочка и этот нарочитый вздох?.. Ну и пусть! Сейчас догоню и скажу все Вале!.. Раз знает, так пусть знает все!.. — И тут же остановил себя: — Но не при Натке же? Если бы Валя была одна...»

Незаметно подкатилась Катя Сбежнева, сказала ему на ухо вкрастью:

— Наш Вася влю-б-и-лся!.. — и заглянула озорно ему в глаза. — Точно? Конечно! И не отпирайся!

— Да ну тебя!.. — зарделся Васька.

— Угадала! Угадала! — захлопала в ладоши Катя.

— Да перестань ты! — Васька пытался безразличием отвлечь Катю от этого разговора, но только больше задорил ее.

— Ой, покраснел! Не буду, не буду... Но в кого? Вот вопрос! — И она нарисовала в воздухе пальцем большущий вопросительный знак.

— В тебя, — сказал Гурин.

— Нет! Таких, как я, не любят, — сказала Катя, и лицо ее обволокло грустью.

— Почему же? — Васька хотел польстить Кате, но она оставила его вопрос без ответа.

— Я знаю, какие вам нравятся, — продолжала она. — Козочки. Ножки, глазки, реснички...

— При чем тут реснички? — насторожился Васька: неужели и эта догадалась о его чувствах к Вале?

— Все при том же. А я? Колобок. Толстушка. Катя-каток. На меня даже Иван Костин не обращает внимания.

— А что Иван?

— Да не такой привередливый, как вы с Жекой. Простяк, мог бы и обратить свой гордый мужской взор на меня.

— Он боится... С тобой опасно... Ты — комсорг.

— Ду-у-рак... — обиделась Катя. Ее глаза наполнились слезами, и она резко отвернулась.

— Кать... Ну, Кать... — растерялся Гурин. — Я ведь пошутил, я не хотел.

Катя дернула плечом, пошла в класс. Ошарашенный, вслед за ней поплелся и Васька, но к Кате не подошел, сел за парту, загрустил: ни за что ни про что обидел девушку...

Вскоре, нагруженный двумя противогазами, плакатами, свернутыми в толстую трубу, фанерной коробкой и санитарной сумкой на плече, вошел в класс военрук. Он осторожно сложил на стол свою ношу, снял с плеча зеленую сумку с красным крестом, сунул за ремень большие пальцы обеих рук, разогнал с живота складки гимнастерки, одернул ее, встал по стойке «смирно» и поздоровался по-военному. Ему ответили вразнобой, но он не стал придирааться и только покачал головой: гражданка, мол, необученная!..

— Садитесь.

Коренастый, плотный, с наголо остриженной головой, он чем-то напоминал Котовского. Диагональные темно-синие галифе делали военрука кряжистым, крепко стоящим на земле. В петлицах у него посверкивали по три кубика.

— Пал Сергеевич, а это надолго? — спросил Жек.

— Как всегда... И куда ты, Сорокин, все торопишься? Боюсь, что к самому-то главному ты все-таки опоздаешь.

— Успе-ею... — беспечно протянул Жек.

— Ну, ну, — сказал военрук и вызвал самого длинного

как жердь парня в классе — Сашу Глазкова, попросил его развесить плакаты.

Тот вылез из-за парты и нарочно, чтобы подчеркнуть разницу в росте, подошел вплотную к военруку, стал смотреть на него сверху вниз. Военрук уже привык к этой его шутке, улыбнулся, однако сказал:

— Но в войну я буду в более выгодном положении, чем ты: тебе придется глу-убокий окоп рыть, чтобы спрятаться.

— А я буду наблюдателем, — сказал Саша.

— Ну-ну... — Военрук попросил девочек сесть на один ряд и передал им санитарную сумку. — Здесь имеется все необходимое, — хлопнул он ладонью по пузатой сумке, — учитесь оказывать помощь пострадавшему бойцу от ОВ. На этот раз ему на руку попал иприт. Нужно оказать помощь. Оказывайте. А вы, хлопцы, разделитесь на две группы. Этот ряд займется тренировкой. Вот вам противогазы и секундомер. Учитесь правильно и быстро пользоваться противогазом. А вы, средний ряд, пожалуйста, к плакатам. Изучайте пока теоретически его устройство. Потом поменяетесь местами. Занимайтесь.

— Товарищ старший лейтенант, а кто уложится во время, может уйти? — не унимался Жек.

— Можешь уходить, — сказал военрук недовольно.

Павел Сергеевич к военному делу в школе относился самым серьезным образом, искренне старался передать свой опыт ученикам. Он считал, что военные знания необходимы всем: этого требует обстановка. Его коробило, когда одни считали это просто забавой, а другие — вообще ненужным делом. Оглянулся на Сорокина:

— Да, да, можешь уходить. Хотя тебе, Сорокин, это в первую очередь знать необходимо: ты ведь старше всех, допризывник уже.

— Пока еще нет, не вызывали, — сказал Жек. — Но мне правда очень нужно.

— Ладно, — смягчился военрук и подошел к девочкам. Посмотрел с минуту, укорил их мягко: — Вы вот все шутите... А ведь так вытирать иприт нельзя: вы же его размазываете по руке, и площадь поражения увеличивается. Я же вам показывал прошлый раз. Забыли? Кто помнит?

Катя Сбежнева все еще была в обиде на Гурина, сердилась, стояла отчужденно в сторонке, смотрела на



подруг, как они путаются в бинтах: ей было все это неинтересно.

— Вы не помните? — спросил у нее военрук.

Катя молча взяла ватку, сняла ею с руки «иприт», обработала «рану» и забинтовала. Сделала все это она аккуратно, быстро, серьезно. Удивился военрук такой ловкости, похвалил:

— Очень хорошо! Даже профессионально.

— У меня мама врач, научила, — сказала Катя и отошла в сторонку, сунув руки в кармашки вязаной кофточки.

Васька издали смотрел на нее виновато и хотел, чтобы она оглянулась на него. И она, словно угадав его желание, оглянулась и показала ему язык, но тут же улыбнулась — простила. Гурин подмигнул ей — помирились.

— Очень хорошо! — восторгался меж тем военрук. — Учитесь, — сказал он девушкам. — Пригодится. Не только на войне, это и в повседневной жизни надо уметь делать — перевязывать рану и прочее. Мало ли какие несчастные случаи бывают.

В конце занятий военрук усадил всех по местам и с какой-то таинственной торжественностью открыл фанерную коробку. Он выдвинул, как в пенале, крышку и тут же прикрыл коробку руками:

— Об игре... Она, как вы знаете, начнется двадцать третьего февраля — в День Красной Армии. Времени осталось совсем немного. Вы — старшие — будете командирами, поэтому прошу соответствовать своему званию: игра — она только по названию игра... Быть готовым к обороне — это не просто призыв, слова, это наша вынужденная необходимость. — Он снял руки с коробки: — Сейчас я раздам вам знаки различия.

Сверху в коробке лежали белые нарукавные повязки и косынки сестер милосердия.

— Это вам, девушки. — Военрук передал Кате Сбежневой сразу все тряпичные изделия. — Раздайте. А это строевым командирам. — И он извлек из коробки пару алых петлиц с двумя эмалевыми кубиками на каждой. — Лейтенанты, прошу, Глазков, Гурин, Костин... Получите. — Военрук вложил каждому в руку петлички, как награду, — бережно, торжественно, со значением.

Взял Гурин петлицы, будто синичку поймал, — мягонькие, щекочут ворсинками ладонь; сердце сладко забилося:

«Настоящие!» Приложил к воротничку и, засмущавшись, тут же снял, повернулся идти на место.

— Стоп, стоп!.. Еще не все, — остановил его военрук. — Нарукавные нашивки. Лейтенанты по два золотых угольничка, младшие лейтенанты — по одному. На правый рукав. Вот так, — он поднял свою руку, показал.

— Ой, какие красивые! А нам? — заныли девочки.

Они отобрали у ребят петлицы, стали прилаживать их к своим воротничкам. Откуда-то появились зеркала, смотрят в них наперебой, восторгаются:

— А ничего, нам тоже идут!

— Военная форма всем идет, — согласился военрук, довольный произведенным впечатлением. — Знаки различия сегодня же нашейте и с завтрашнего дня носите их повседневно, чтобы к началу игры привыкли к ним и чувствовали себя свободно. Все. До свидания.

— Вася!.. Вася!.. — зовет взволнованно мать. — Ну, где ты схоронился?.. Иди сюда скорее!..

Васька слышит материн радостно-взволнованный голос, торопится закончить свое дело, ради которого спрятался в дальнюю комнату, отозвался:

— Сейчас!.. — Откусил торопливо нитку, сплюнул кончик, прилипший к языку, надел пиджачок, застегнулся, расправил петлицы, нашивку на рукаве — все, как следует быть, — доволен! Выступил чеканным шагом навстречу матери, остановился перед ней по стойке «смирно»:

— Я вас слушаю, товарищ командир!

Увидев сына в регалиях, мать удивленно отступила:

— Ой, боже мой! Напужал!.. — И тут же подошла, потрогала осторожно пальцем петлички, сказала: — Красиво! Не терпится тебе, не дожدهшься? Скоро, сыночек, скоро наденешь настоящие. Вот уже вызывают. — Она протянула ему желтую стандартную открытку.

— Что это?

— Читай на обороте.

Гурин перевернул открытку, стал читать: «...явиться в военкомат для прохождения комиссии и постановки на военный учет. При себе иметь паспорт и справку с места работы (учебы)». Прочитал, повертел открытку, спросил радостно:

— Мне?..

— Тебе, тебе!.. Кому ж еще?..— Мать смотрела на Ваську, и глаза ее постепенно наполнялись слезами, как роднички ключевой водой.

— Ну чего ты, ма? — поморщился недовольно Васька.

— Не верится мне... Не верится, что ты в самом деле уже вырос. Думала, не дождусь того дня, когда ты будешь призываться. А оно, бог дал, дождалась! Повестку вот уже прислали... Значит, правда вырос... Оттого и плачу — от радости... Ну, благославляю тебя, сынок, пусть у тебя все будет хорошо: штоб и желания твои исполнились, и армия штоб тебе была в радость, а не в тягость...

— Да ну, мам... Запричитала!..

— Тебе все одно не понять меня, не понять моей радости. У тебя — своя... Ладно... Иди, исполняй свой долг. — Она вытерла кулаком глаза, кивнула: — Иди. Когда там? На завтра вызывают?

Первым в военкомате Гурин встретил Павла Сергеевича. Еще издали увидел тот своего ученика, заулыбался:

— Молодцы, хлопцы, дисциплинированные: петлички нашили! — Оглядел Ваську со всех сторон, похлопал по плечу. — На комиссию? Правильно! Там уже из вашей школы пришли Глазков, Костян, Клесов, Сорокин...

— Пал Сергеевич, — остановил его Гурин. — А тут что, все вместе проходят?

— Да, да! Все вместе, иди.

— Да нет... Я, например, в летчики хочу попасть... Так к кому мне обратиться? Это ж разные комиссии?

— А-а!.. — остановился военрук и пристально посмотрел на Гурина. — В летчики хочешь? Ну, что ж, хорошо... В летчики тоже берут. А комиссия одна. Одна определяет, кого куда, от нее все и зависит.

Гурин досадливо скривил рот, качнул головой безнадежно.

— Только раньше времени не падать духом и никакой паники! Здоровье как?

— Проходил комиссию в аэроклубе — сказали, что подхожу. Так это ж когда было!

— Ну, так в чем же дело? Думаю, и эта комиссия разберется в тебе не хуже аэроклубовской.

— Правда? — обрадовался Гурин и побежал дальше.

В длинном коридоре гудела толпа разношерстной

молодежи. Они толпились кучками — знакомые липли к знакомым, курили, о чем-то горячо спорили, выспрашивали тех, кто уже прошел комиссию, волновались, как перед государственными экзаменами. Лишь приехавшие из далеких деревень и хуторов ребята с огромными сидорами робко в одиночку бродили по коридору, прислушивались то к одной, то к другой группе. Васька увидел своих ребят, подошел: «Ну, как?..» — «Вызывают... Очередь». И стоят, ждут нетерпеливо пятеро одноклассников: худой, высоченный Сашка Глазков — Дон-Кихот; чернобровый крепыш с угольными глазами Иван Костин; маленький, большеголовый, на коротких кривых ногах, будто всю жизнь верхом на бочке ездил, Сенька Клесов; выхолненный, красивый, немного надменный Жек Сорокин и Гурин.

Васька волнуется — пройдет ли на летчика? Вот Иван куда хочешь пройдет: он здоровый, крепкий парень и рост у него хороший. А Васька худощав, ростом не вышел. Посмотрел Гурин на Сеньку — тот ему по плечо, успокоился немного: есть меньше...

Их вызвали как-то внезапно, они и не ожидали еще, вокруг много было ребят, которые раньше их пришли, и вдруг:

— Глазков, Гурин, Клесов, Костин, Сорокин!..

Всех сразу — хорошо: со своими не так боязно.

— О, да эти уже со званиями! — удивился военный, дежуривший в дверях. — Наверное, в войну играете? Хорошо! Как раз вовремя. Проходите, раздевайтесь вот в этом углу. Одежду кладите на стулья и по одному, начиная с крайнего стола... — Он указал рукой вдоль длинного зала. — Побыстрррее! — скомандовал он вдруг громко, но тут же улыбнулся, подмигнув ребятам, подбодрил, обласкал их взглядом. — Кто готов?

Васька поглядывал на товарищей, раздевался неторопливо — выскакивать вперед других не хотел. Но тем не менее разделся первым и теперь стоял в трусах и в ботинках, ждал остальных.

— Все, все снимайте! — заметил дежурный Васькину нерешительность. — Наголо. Не стесняйтесь.

Гурин снял ботинки, сбросил трусы и, прикрывшись ладощами, подошел к первому столу.

— Фамилия, имя, отчество?..

И пошло!..

— Встань сюда! Прямо, руки по швам. Так! — Опустилась планка, хлопнула Гурина по макушке. — Та-а-к... Рост сто шестьдесят шесть.

«Только-то?.. — удивился Гурин. — Это ж, наверное, мало?»

На весы. Та-ак... Вес сорок восемь. Много это или мало — не знал Васька, да и думать некогда: пошел дальше, уже подхватил его врач, крутит, влево-вправо, ползает стетоскопом по груди, по лопаткам...

— Сделай приседания.

Сделал, и снова стетоскоп забегал по груди, задержался на сердце, а оно, как нарочно, стучит ненормально. Напрягся Васька, задержал дыхание — хотел попридержать сердце, но врач взглянул на него вопросительно — зачем, мол, это?

— Дышите свободно... Так, хорошо!.. Все!

Пошел дальше, к другому врачу.

— Садись на стул. Положи ногу на ногу, — и стук молоточком по коленке, стук по другой, дрыгнула нога, чуть доктору не поддал. А тот уже бросил блестящий молоточек, иглой чиркает по груди, вздрогнула кожа, заходила зыбью. — Вытяни руку, закрой глаза, указательным пальцем коснись кончика носа.

Эти процедуры Ваське знакомы — проходил в аэроклубе, рад: похоже, на летчика проверяют.

— Следующий!

А Гурина уже новый врач вертит.

— Нагнись, распрямись. Какими болезнями болел?

— Никакими, — соврал Васька: он болел когда-то брюшным тифом.

— Хорошо! Худоват почему-то... Но ничего, ничего! Поправишься на армейской каше! Иди. Следующий!

Самый последний стол, за ним сидят большие чины — по две, по три шпалы в петлицах, — смотрят Васькину карточку, переговариваются о чем-то вполголоса, кивают согласно друг дружке головами. Понял Васька: вот тут-то и решается сейчас его судьба, — осмелился, обратился к самому старшему:

— Товарищ полковник, я хочу в летчики. Запишите меня, пожалуйста, в летчики...

Поднял полковник голову, посмотрел сурово на Гу-

рина, кивнул своим соседям: «Ишь, мол, какой нашелся, в летчики захотел!..» И улыбнулся по-доброму:

— Игнатов, твой кадр, обрадуй!

Поднялся с дальнего края стола военный в мышиного цвета гимнастерке, с крылатыми эмблемами в петлицах, подошел к Ваське.

— Читай,— и он чиркнул ногтем по нижней строчке.

Гурин прочитал: «Заключение: школа ВВС».

— Доволен?

— Очень! Спасибо! — крикнул по-мальчишески громко, всем сразу, и побежал одеваться.

Получил красненькую книжечку — приписное свидетельство, хочется домой скорее — мать обрадовать, но ждет товарищей. Дождался:

— Ну, что, кого куда?..

Сашка — в морфлот. Доволен, улыбка во весь рот. Иван — в артиллерию. Всегда суровый, хмурый, этого не поймешь, рад ли? По крайней мере, не огорчен, глаза поблескивают весело.

— А я — пехота! Сто верст прошел и еще охота, — захохотал беспечно Сенька, пряча свидетельство в карман.

— А ты, Жек?.. Тебя куда? — не терпится узнать Гурину.

— По-моему, в ВВС,— сказал тот безразлично.

— Вот здорово! — обрадовался Васька. — Вместе, значит. Я тоже в ВВС!

И стоят, не знают, что делать. У всех на лицах улыбки блуждают, а на сердце кошки скребут, будто были, были вместе — и вдруг их взяли да и разлучили, разбросали по разным местам. Грустно...

— Скоро запоем «Последний нонешний денечек», — сказал Глазков.

— Ничего, братва, не унывай! — Иван Костин неожиданно первым стряхнул с себя тоску, сгреб их всех в охапку, сдавил крепко.

— Ребра поломаешь, медведь! — взмолился Сашка. — Правильно, что тебя в артиллерию определили — будешь там пудовые снаряды подносить.

— Пудовые — это что! — Иван хотел схватить Сашку, но тот увернулся, и все рассмеялись чему-то и пошли веселой компанией домой.

Допризывники!...

## ИГРА

Война между «зелеными» и «синими», как и обещал военрук, началась 23 февраля. Но первые месяца полтора она шла главным образом в стенах школы и была совершенно бескровной, по существу это было время интенсивной подготовки к активным действиям: формировались подразделения, назначались командиры, разрабатывались планы, ставились задачи, знакомились с рельефом местности; войска учились спасаться от пулеметного огня, от бомбежки, от газов. В это время больше всех доставалось военруку, который с одинаковой страстью воевал и за «синих», и за «зеленых».

Только в середине апреля, когда просохли буераки и кучугуры, Павел Сергеевич вывел свое войско для генерального сражения на оперативный простор.

В игре участвовали одни старшекласники — два восьмых и два девятых. Каждый класс именовался теперь взводом, два класса составляли роту. Десятый, как самостоятельная боевая единица не существовал: класс этот малочислен, и все его ребячье население было назначено командирами рот и взводов в других классах.

Силы «зеленых» и «синих» были абсолютно равны — у тех и других по два взвода. «Зелеными» командовал Костин, «синими» — Гурин. Сорокина и Глазкова Павел Сергеевич взял к себе в группу наблюдателей-посредников.

Гурина достался восьмой «А» и девятый «А», оба «Б» попали Костину. Васька не знал, хорошо это или плохо: в девятом «Б» училась Валя Мальцева, и, конечно, ему очень хотелось, чтобы она была рядом. Но с другой стороны, ее присутствие сковало бы его по рукам и ногам, при ней он стыдился бы своей роли командира, и это сделало бы его совершенно недееспособным.

А как часто просил он судьбу, чтобы она свела их где-нибудь вместе! На войне, например... Он ранен, лежит в госпитальной палате, долго был без сознания и в бреду все звал ее. Очнулся, открыл глаза, а она сидит перед ним и счастливо улыбается. И говорит тихо: «Тебе вредно волноваться... Я все знаю... Я тоже тебя очень люблю... » Но это может быть только на настоящей войне, а не на этой, игрушечной...

— Гурин! Гурин! — с трудом вывел Ваську из раз-

думья военрук. — Ты о чем?.. Перед боем только о победе надо думать. У тебя все в порядке?

— Все, — сказал Гурин, оглянувшись на свое войско.

Кроме знаков различия, командиры рот выделялись из общей массы еще и большими полевыми биноклями, точно такими, какой болтался на груди у военрука. Сам же военрук, кроме того, был экипирован полевой сумкой и большой кобурой с ракетницей. Из средств передвижения Павел Сергеевич имел массивный черный велосипед, который стоял пока прислоненным к стенке школьного крылечка.

— Смотри!.. Если окажетесь в кучугурах, ни в коем случае не залезайте в норы — опасно.

— Я знаю, — сказал Гурин.

Кучугуры — это старый заброшенный кварцевый карьер. Когда-то, поработав на совесть, экскаваторы оставили здесь после себя такие горы, что лучшего места для игры в войну трудно и придумать. Однако там еще и до сих пор сохранились норы — штольни. Рудничная крепь в них сильно подгнила, и поэтому прятаться в штольнях стало небезопасно.

Военрук посмотрел на часы, предупредил Гурина:

— Значит, так... Тронетесь ровно через полчаса после нас. — Поманил к себе Клесова. — Возьмите велосипед, будете связным между мной и обеими группами.

— Давайте лучше я буду, — не выдержал Глазков, с завистью поглядывая на велосипед. — Он же ногами до педалей не достанет.

— Ничего! Ты и без велосипеда быстро бегаешь, — сказал Клесов и заспешил к машине, схватил ее за круглые «рога».

Наконец «зеленые» двинулись в путь — на свои исходные позиции. Вместе с ними ушел и Павел Сергеевич, прихватив с собой и группу посредников. С «синими» из наблюдателей остался только физрук.

По улицам поселка войска проходили шумно — с песнями, с горном. Они были увешаны оружием — деревянными винтовками, трещотками, противогазами, биноклями. В белых косынках, в нарукавных повязках, с сумками в красных крестах сестры милосердия — все это имело внушительный вид и возбуждало любопытство старого и малого поселкового люда.



Старухи смотрели вслед, кивали головами, крестились:  
— Доиграетесь, анчихристы!..

А мальчишки пристраивались к участникам игры, просили взять их с собой, и, пока вышли за поселок, гуринский отряд так оброс ими, что он вынужден был назначить им старшего и пристроить их в хвосте колонны.

— Будете считаться добровольцами, и прошу соблюдать дисциплину, иначе всех завернем обратно, — предупредил он мальчишек.

Завернуть их, конечно, не было никакой силы, но угроза подействовала — волонтеры шли колонной, по пути вооружались палками.

Стоял теплый весенний день. Пахло землей и свежей травой, в небе непрерывно пели невидимые жаворонки. От пашни поднимался белый ленивый пар — земля курилась, будто на горячей сковородке.

Когда прошли песчаный карьер, за ним — глинище, где местные жители брали на свои нужды песок и глину, Гурин свернул с большой дороги на проселочную, чтобы обогнуть кучугуры и быстрее выйти к месту назначения. Через луг шли по узкой тропке длинной цепочкой по одному, растянувшись на добрый километр, зато солончаковый бугор брали штурмом. Многочисленные малопуганные суслики становились на задние лапки, смотрели удивленно на это нашествие и с беспокойным свистом прятались в норки. Запоздавших зверьков мальчишки гоняли по бугру, сясь поймать. Но суслики уже успели окрепнуть после зимы, бегали шустро и в руки не давались. Месяц назад, когда еще и норки не совсем оттаяли, когда и воды-снежицы в лужах было полно, тогда ребяташки их ловили легко: полведра воды выльют в норку, он и выползает. Сколько их уничтожили, а будто и не трогали — бегают как ни в чем не бывало. Ребята совхозу помогали избавиться от этих грызунов, да разве от них избавишься! Вон на зеленях какие плешины, холмы белые — это все работа сусликов, там их целые колонии. Совхозные рабочие ездят с бочкой по полю, в бочке отравы, они заливают ее в норы и плотно забивают дыры. Но и это мало помогает: говорят, у сусликов такие хитроумные норки, что они могут отсидеться в потайном месте невредимыми, а когда опасность минует, откопать им себя — раз плюнуть.

...Лет через тридцать Гурина придется побывать в этих местах — тут будет уже шуметь густой лес, широкое шоссе проляжет от Донецка на Краматорск, над полями повиснут многочисленные дождевальные установки, и множество радуг от них встанет красивыми арками над знойной землей. И редкий суслик пробежит через дорогу, прячась где-то в нераспаханной обочине. Удивится Гурин, что нынешние ребяташки не получают заданий и не берут повышенных обязательств по борьбе с главным вредителем здешних полей — сусликом. Удивится и напишет очерк, в котором расскажет, как они когда-то в детстве боролись с грызунами. А потом еще больше удивится, когда его начнут «бить» за этот очерк — «за проповедь бессмысленного и жестокого уничтожения невинных зверьков». Потому что к тому времени химия уже очень многое умертвит и все кому не лень станут говорить о защите природы, и даже всех хищников, и волка в том числе, будут называть не иначе как только «санитарами». И тогда станет модным рядиться в тогу радетеля первозданности природы. Браконьеров же — и речных, и морских, и лесных, и степных — несмотря ни на что разведется небывалое количество, и будет их так много — и действующих на свой страх и риск, и облеченных большой властью, — что и бороться с ними станет так же трудно, как тем ребяташкам было трудно бороться с сусликами.

На бугре Васька приказал своему отряду остановиться и построиться походным порядком. Впереди уже виднелся пруд, влево от него в низине зеленели многочисленные кусты вербы, а справа вдоль по ложбине до самой железнодорожной насыпи тянулся лес. Чем дальше от пруда, тем шире лес разрастался по ложбине, и по здешним понятиям он был настолько велик, что его звали Большим, в отличие от другого, который рос гораздо ниже пруда и звался просто Буерачком. Вот на этом берегу пруда, на этой стороне Большого леса, Гурин и должен был со своим войском занять оборону.

Гурин посмотрел в бинокль и увидел за прудом на бугре несколько человек. Он скорее догадался, чем узнал, что это была группа наблюдателей во главе с военруком.

Возле пруда Васька спрятал всех в большой овраг, из которого когда-то брали землю на плотину, предупредил:

— Не маячить! С этого момента начинается война. За нами наблюдают. Прошу без приказа не стрелять, не шуметь, и никаких перебежек. — Он подозвал к себе двух ребят посильнее, дал им задание: — Вы пойдете в разведку. Вон там, ниже новой плотины, когда-то был старый пруд. Теперь он зарос кустами. Пойдите и узнайте, можно ли пройти через него, высох он уже или, может, там еще болото. Вообще узнайте, можно ли там пройти на ту сторону. Только осторожно смотрите, чтобы вас не схватили «зеленые».

Разведчики ушли. Васька собрал командиров, спросил:

— Ну, что будем делать?.. Как обороняться?..

Те переглянулись, заулыбались, задвигали плечами.

— Лес надо тоже обследовать, — сказал один из них.

— Лес я знаю... — сказал Васька. — Там только в одном месте можно перейти через болото, где бревно проложено. Но по одному бревнышку вряд ли всю армию переведешь для наступления. Там могут пройти только разведчики или небольшая группа.

Местность Гурин знал хорошо. Это тот самый пруд, у которого он когда-то собирал кизяки и в котором он чуть не утонул. Посмотрел на воду, на тырло, вспомнил давнюю историю, взгрустнул.

С бугра на велосипеде спустился военрук, подъехал, послушал «военный совет», спросил у Гурина:

— Какое решение командира? Как будешь оборону строить?

— Сейчас, — сказал Васька. — Разведчиков ждем.

Военрук обвел глазами весь лагерь, увидел ребятишек, удивился:

— А эти откуда?

— Волонтеры, — сказал Гурин. — Пусть.

Покрутил военрук головой — непорядок.

— Но почему? — стал защищаться Васька. — Пополнили армию за счет местного населения, которое добровольно вступило в наши ряды, так как приветствует нашу справедливую борьбу, нашу освободительную миссию.

— Уговору не было. Не по условиям, — сказал военрук.

— В войне разве все предусмотреть? — возразил Гурин, улыбаясь. — Сами говорили: действовать по обстановке. А куда я их дену? Не прогонишь ведь...

— Ладно... Может, ты и прав.

Вернулись разведчики. Они были все с головы до ног унизаны вербной лозой с чуть распустившимися почками и длинными, похожими на жирных желтых гусениц, сережками. Желтая пыльца обильным слоем лежала на их одежде, на лицах — на бровях и даже на ресницах. Девчонки тут же бросились к красивым веточкам, и вся маскировка разведчиков вмиг была содрана с них и быстро разошлась по рукам, вызвав небывалый восторг у «медицинского персонала».

Разведчики доложили, что дно старого пруда вполне проходимо, а единственное препятствие на нем — ручей — можно перепрыгнуть в любом месте.

— «Зеленых» там не видели?

— Видели — троих. Кажись, тоже дно проверяли.

Услышав о «зеленых», Гурин заулыбался, будто разгадал их замысел.

— Ну, вот... Я думаю так. Сюда, на плотину, по дороге наступать они не будут — в лоб не полезут. Там, через лес, очень долгая переправа. По скользкому бревнышку до вечера не переберутся. А потом — не каждый там и пройдет. Скорее всего, они пойдут кустами слева — тут можно незаметно пробраться на наш берег и всеми силами ударить сбоку.

— С фланга, — поправил военрук.

— С фланга, — поправился Гурин и продолжал: — Но мы должны их перехитрить и заставить наступать там, где им невыгодно: вот здесь — на плотину. А тут, как только они покажутся, мы их всех уложим из пулеметов. Они ж будут как на ладони. Правильно? — спросил он у военрука.

— Не знаю, — сказал тот. — Сейчас я ничего не знаю, я сторона только наблюдающая. Ну, ну?..

— Ну, вот... Надо от кустов их отпугнуть. Туда пойдет одно отделение и все «волонтеры», пойдут и будут не таиться, а шуметь, ходить, делать вид, что там нас очень много, будто все мы на том фланге и ждем их только там. А мы, основные силы, затаимся здесь, сделаем вид, будто тут никого нет и отсюда мы никого не ждем. Разведчики, на всякий случай сбегайте все-таки в лес, к тому бревну через болото, и понаблюдайте.

— Ну, ну, — сказал военрук, немного удивленный чем-то. — Действуйте. — И поехал снова на свой наблюдательный пункт.

Разогнал Гурин всех по местам, сам с основными силами затаился в овраге. Медиков отослал к родничку:

— У кринички разбейте свой лагерь. Там и водичка рядом, а это главное: жажду будете утолять.

Игра — игра, а волнуется Гурин всерьез, и бойцы нетерпеливо ждут наступления: как оно будет, откуда пойдут «зеленые», — всем хочется победить.

Выглянул Гурин, осмотрел окрестности в бинокль — тихо. Только на левом фланге шум — это свои, «волонтеры». Видать, понравилось им задание: гораздо хуже и томительнее соблюдать тишину, чем ходить в рост и создавать шум.

Время шло, а «зеленые» не показывались, будто их там и не было. Это начинало беспокоить Гурина: что-то придумал Иван, не пошел ли он в дальний обход, аж через Буерачек, не зайдет ли он с глубокого тыла? Скатится как снег на голову с белого глинища? «Послать, что ли, на бугор кого, посмотреть?..» Но в этот момент прибежал запыхавшийся и не на шутку взволнованный разведчик из леса и сообщил, что «зеленые» в том месте, где лежит бревно, наводят переправу: таскают сухие деревья, кладут их поперек болота, носят ветки, бросают на бревна.

— Много их там? — спросил Васька.

— Много! И Иван тоже работает, как медведь.

— Иван с ними? — уточнил Гурин. — Тогда, пожалуй, ясна их затея. — Он схватил командира первого взвода за воротник, притянул к себе: — Бери своих ребят и дуй к болоту. А я с другим взводом перейду по плотине на тот берег, и той стороной зайдем к ним в тыл. Как только услышите шухер в тылу у «зеленых», сразу бросайтесь на их переправу и атакуйте. Поняли? Там мы их в болоте и зажмем. А если они раньше станут переходить на нашу сторону, не пускайте, открывайте огонь. Знайте, что мы все равно ударим им с тыла.

Заспешил первый взвод вслед за разведчиком, а Васька взял с собой остальных ребят, пригнулся — и бегом на ту сторону пруда. Под прикрытием крутого берега добежали до леса, остановились, передохнули — и дальше, вперед. Осторожно, от дерева к дереву, от куста к кусту, перебегают они один за другим. Сердце бьется, будто и впрямь на смерть идут. И вдруг увидел Васька — вот они, «зеленые», как муравьи, таскают ветки, палки, бревна и все кидают,

кидают в болото. В суматохе не видят подобравшихся с тыла «синих».

Гурин подал знак — вперед! «Ура-а!» — закричали «синие» и бросились на противника.

Иван оглянулся, увидел нападавших с тыла «синих», обозлился и начал их расшвыривать в разные стороны.

— Иван, Иван, ты уже убит! — кричит ему Васька.

Но Иван ничего не слышит, знай отбивается. Тут Ваську схватили сзади, руки стали заламывать, Васька крутанулся, вырвался, но на скользком бревне поскользнулся и ударился головой о дерево — рассек лоб повыше левой брови.

— Командиры оба вышли из строя! — раздался голос военрука. — Оба!

Опустил руки Иван, повесил голову, поплелся с поля боя. Взглянул сердито на Ваську:

— Если бы это взаправду — вот бы вы победили. — И он показал ему огромный кукиш. — Я один всех вас поутопил бы в этом болоте.

Гурин сначала улыбался Ивану, но, увидев, как тот переживает свое поражение, помрачнел и только теперь почувствовал, как больно жжет ссадина на лбу. Потрогал рукой — липко, на пальцах кровь. Приложил к ране носовой платок, пошел медленно вслед за Иваном, чувствуя себя в чем-то виноватым перед ним. «Дурак, перестарался...» Радости от победы не было.

В этот момент горн затрубил отбой, вслед ему протрубил другой, третий... Эхо отбоя разнеслось далеко по полю, по лесу и затихло — одно в овраге, где-то внизу, а другие два в лесу.

В одиночку, группами скатывались участники игры с бугра вниз к пруду, к назначенному месту сбора. Шли, бежали, разгоряченные, возбужденные, «зеленые» и «синие» — все перемешались. Собираясь возле военрука, спорили, доказывали друг другу свою правоту, каждый превозносил действия своей стороны:

— Вот если бы!..

— А если бы!..

Утихомирить их было трудно.

— Командиры, проверьте людей — все ли на месте, — приказал военрук.

Проверили — все налицо, никто не потерялся.

— Хорошо, — вздохнул облегченно военрук. — Ну, садитесь — сделаем разбор.

— Кто победил? — нетерпеливо спрашивали его.

— Кто победил? — переспросил он раздумчиво. — Да как вам сказать?.. По-моему, все победили.

— Ну-у, нет!.. — завyli «синие». — Наша взяла!

— Все победили! — твердо повторил военрук. — Все участники игры победили. Интересная ситуация создавалась — обе стороны действовали очень умно, по-военному разумно. Смотрите: «синие» предположили два варианта наступления «зеленых» и ждали их в одном месте, а от другого отпугивали. Разумно! Но и «зеленые» не дураки: они отвергли и первый, и второй варианты, а выбрали третий, именно тот, о котором их противник сначала даже и не подозревал! А? Здорово? Мне лично очень понравились действия и тех и других. А остальное — это детали боя, от них, конечно, многое зависит... Но ситуация создалась исключительно интересная. Согласны?

— Согласны! Но если бы не разведчики...

— Если бы!.. — Военрук встал. — А теперь — по домам. Противогазы, бинокли завтра принесете в школу. — Он обратился к Гурину: — А лоб надо перевязать. Что ж это, санитары?.. — Он оглянулся, тронул за рукав Натку. — Девушка, обработайте, пожалуйста, рану йодом и завяжите.

Натка взглянула на Ваську и, хитро сощулив глаза, пропела:

— А-а-а... Попался, голубчик! Садись, — указала она ему на большой круглый голыш и распорядилась: — Валя, твой раненый. Приказано обработать рану йодом, завязать и отпустить на все четыре стороны. А впрочем, там смотри сама, все будет зависеть от его здоровья и состояния. — Натка показала Ваське язык и побежала догонять свой «санбат».

Увидев Ваську, Валя растерянно улыбнулась, взглянула на ссадину, увидела запекшуюся струйку крови над бровью, поморщилась виновато: думала, Натка шутит, а тут...

— Ой, кровь... — Она опустила на колени, раскрыла сумку, достала вату, флакон со спиртом, отерла края ссадины. — Больно?

— Ничего, терпеть можно, — сказал Васька как можно бодрее.

Валя накрутила ватку на белую лучинку, макнула ее в йод, поднесла к ране и остановилась.

— Сейчас будет очень больно, потерпите...

Васька кивнул и закусил нижнюю губу. Боль была действительно нестерпимой, но он героически перенес ее.

Сделав тампон, Валя приложила его к ране, попросила:

— Подержите...

Поднял руку Васька и коснулся Валиных пальцев на тампоне, неожиданно для себя прижал их ласково. Она не отнимала, ждала, когда он отпустит. Он не отпускал, и тогда она сказала:

— Больной, ведите себя как следует...

— Я не больной, а раненый...

— Все равно. — Она высвободила пальцы, взяла бинт и стала накручивать ему «чалму». Накрутила, завязала, спросила: — Не туго?

— Нет...

Мягкое, теплое, ласковое прикосновение бинтов было так приятно, будто это Валя обняла его голову своими нежными руками.

Сложив в сумку медикаменты, Валя поднялась и, посмотрев вдаль, воскликнула:

— Ой, наших уже и не видно... Пойдемте быстрее.

— Дорога знакома, не заблудимся, — успокоил он ее.

— Неудобно... — проговорила Валя покорно и сняла с головы медицинскую повязку. — Все, игра кончилась, имею право. — Она тряхнула головой, распушила примятые волосы. Беленькие колечки вновь заняли свои места, украсив ее лоб милыми, привлекательными завитушками. Две длинные тугие косы стекали по спине до самого пояса.

— Очень идут вам эти... — Гурин покрутил пальцем надо лбом.

Валя зарумянилась, застеснялась, нагнулась над сумкой, пряча в нее косынку.

— Давайте я понесу сумку, — попросил Гурин. — Она ведь тяжелая?..

— Нет... — сказала Валя, однако сумку отдала. — А я что ж, с пустыми руками буду идти? Дайте мне хоть бинокль.

Васька охотно снял с шеи бинокль, передал его Вале. Та



закинула ремешок через голову и подняла бинокль к глазам. Васька показал, как настроить бинокль по своему зрению, она настроила и, остановившись, стала смотреть вокруг себя.

— Как интересно!..

Наглядевшись, Валя снова заторопилась:

— Пойдемте быстрее... А то скоро темно будет...

— Тут не опасно.

— Не в этом дело...

— А в чем же?

Валя не ответила, и дальше какое-то время они шли молча. А говорить надо, это Васька знал точно, чувствовал, что он должен говорить и говорить, говорить интересно, содержательно. Но о чем?.. И он снова спросил:

— А в чем же дело?..

— Поздно уже... И Натка убежала. А я знаете как далеко живу? На самой «Камчатке».

— Я вас провожу... Можно? — Голос у Гурина дрогнул, будто вот сейчас от ее ответа будет зависеть вся его судьба. Затаив дыхание, он ждал, что она скажет.

А она молчала. И тогда он, набравшись смелости, переспросил:

— Можно?.. — В горле предательски запершило, он кашлянул.

— Зачем?.. Это очень далеко...

Гурин хотел сказать, что он готов идти хоть на край света, что ему хорошо быть рядом с ней, что он давно об этом мечтал, так как любит ее еще с той первой встречи, когда увидел на празднике возле школы, а потом в клубе на танцах... Но ничего этого он ей не сказал, а выпалил небрежно:

— Ну, подумаешь!.. Разве это далеко? — И тут же обругал себя: «Дурак, упустил момент...»

Он лихорадочно стал соображать, о чем бы еще таком спросить ее, чтобы возобновить хотя бы приблизительный разговор, когда можно будет сказать ей о своей любви. И он спросил:

— Где вы научились так хорошо бинтовать?

— Как где? В школе.

Нет, это не тот разговор, после него опять наступила пауза, тягучая, нудная, неприятная для него пауза. «А вот возьму сейчас прямо и скажу обо всем ей, без всяких там

церемоний!..» — решил он, остановился и произнес торжественно:

— Валя!..

— Нет, нет, не останавливайтесь. — Она взяла его за рукав и потянула вперед. — Я прошу вас — пойдите быстрее: солнце вон уже село...

Когда они дошли до школы на выгоне, наступила ночь, над черным школьным садом уже висела огромная желтая луна.

— Вот моя школа, — сказал Васька. — Сюда я оттопал четыре года!

— Правда? — удивилась Валя.

— Да. Зайдемте?

— Нет. В другой раз...

— А вы все время в седьмой учились? — спросил он.

— Нет, мы только три года как переехали в этот поселок. Мы на руднике до этого жили.

«Ах, вот почему я ее раньше не встречал!..» — подумал Васька.

— Давайте пройдем через школьный сад? — предложил Васька. — Воды попьем... Там во дворе такой глубокий колодец, что даже днем воды не видно. Нагнешься над срубом, крикнешь и долго ждешь, пока эхо возвратится обратно.

— Вы очень пить хотите? — спросила Валя, и Гурин не осмелился сказать ей неправду.

— Да нет, не очень... Я думал, вам пить хочется...

— Я не хочу.

В это время в саду вдруг щелкнул соловей. Щелкнул робко, осторожно, словно дал знать кому-то: «Я здесь...»

Придержав Валю рукой, Васька шепнул:

— Соловей!

Они остановились, прислушались. Соловей молчал.

— Послышалось, наверно, — сказала Валя.

— Нет...

И вдруг опять: щелк, щелк...

— Вот! Слышите? Прилетели!.. Еще ж рано...

— Почему рано? У нас уже абрикоска расцветает.

Они стояли и разговаривали шепотом, словно заговорщики. Валино лицо было совсем рядом, он слышал ее дыхание... И губы ее так близко шевелились — только чуть нагнись, и вот они, такие желанные!..

— Это он спросонья, наверное,— улыбнулась Валя и отступила от Васьки.— Пойдемте.

«Опять опоздал!..— досадовал он.— А может, и лучше? Еще неизвестно, как бы она отнеслась к такому нахальству с моей стороны: возьмет да и обидится...»

Гурин догнал Валю.

— Говорят, луна и соловьи — покровители влюбленных... Это правда?

— Говорят...— сказала она неуверенно.

— А вам не приходилось?..

— Что?

— Быть под луной?..

— А мы и сейчас под луной...

— Нет, не так... Любить приходилось?..— выпалил он и снова взволновался: разговор, кажется, пошел тот, что надо, не упустить бы момент.

— Нет,— сказала она.— А вам?

— Тоже нет...

— У вас не было девушки? — спросила она, взглянув на него искоса, и ехидненько улыбнулась.

— Не было...

Милая улыбочка ее только забавляла его.

— И сейчас нет? — допытывалась она.

— Нет.

Ему хотелось сказать ей, что у него ничего не было подобного тому, что он чувствует к ней, к Вале. Не было, нет и не будет никогда — в этом он уверен. Но неужели она не понимает, что именно это он хочет ей сказать? Именно это — о своей любви к ней!.. Неужели об этом надо говорить прямо, в лоб?..

— Я не верю вам,— сказала Валя, и легкая улыбка, которая все время играла на ее губах, неожиданно исчезла, лицо посерьезнело, и она даже замедлила шаг.

— Почему? — удивился Гурин. Он не знал, как к этому относиться: то ли это комплимент каким-то его мужским достоинствам, то ли укор.

— Так... На вас не похоже...

— Но почему?

— Вы дружите с Сорокиным. А какой он — всем известно...

Кровь хлынула Гурину к лицу, щеки загорелись, словно ему надавали пощечин. Он хотел крикнуть: «Но я-то тут

при чем?» — и не посмел: вспомнил Машу... Хотел оправдаться и опять не посмел. «Не было, не было!.. — кричал какой-то возмущенный голос изнутри его. — Ничего не было!.. Неужели это теперь всю жизнь будет меня преследовать, давить на совесть и я так никогда и не смогу никому посмотреть прямо в глаза и сказать: «Не было!» Чистенький! Был чистенький, да весь вышел. Целовался с взрослой девушкой. Рассказать ей все? Нет, это невозможно: стыдно. Да и рассказать — значит потерять ее навсегда, она ведь никогда не простит ему такое... А если она и простит, я не прошу ей этого прощения, я не смогу потом смотреть ей в глаза... А что же делать? Врать? Изворачиваться?.. Вот так начало! Со лжи?!»

— У меня нет девушки, — сказал он твердо, даже резко, с каким-то раздражением. — Даю вам честное слово — нет.

И замолчал надолго. В груди клокотала обида неизвестно на кого и почему; вспомнилась и прицепилась навязчиво, как оса, песенка, и он без конца прокручивал ее внутри себя:

Мне бесконечно жаль  
Своих несбывшихся мечтаний...  
И только боль воспоминаний  
Гнетет меня...

Хотелось счастья мне  
С тобой найти...  
Но, очевидно, нам не по пути...

— Ну, вот мы и пришли, — нарушила молчание Валя. — Спасибо вам.

— Уже? — удивился Гурин и взглянул на маленький, невзрачный беленький домик, стоявший как-то не по людски — он был повернут боком вдоль дороги и смотрел на улицу глухой стеной. — Это ваш дом?

— Да... До свидания. — Она протянула ему руку. Тонкие, длинные, холодные пальцы ее были какими-то безжизненными, вялыми.

— Вы так озябли?.. Рука какая холодная... — И он накрыл ладонью ее руку, стал отогревать, словно птенца.

— До свидания, — повторила она. — И не сердитесь на меня. Я не хотела вас обидеть...

— Валя...

— Я вам верю...

— Валя...

— Ой, дверь скрипнула, наверное, мама... Побегу... —

Валя выдернула руку, схватила санитарную сумку и побежала. Возле угла оглянулась, помахала рукой.

— Приходите в воскресенье на танцы... — вытянув губы трубочкой, сказал он тихо, чтобы никто, кроме нее, его не услышал.

Она кивнула и скрылась за углом дома.

«Кивнула! Придет!» — восторжествовал Гурин, но тут же засомневался: а может, она и не услышала его, ведь он так тихо произнес свое приглашение?.. Может, она просто кивнула ему на прощанье, и все?.. Загрустил, обругал себя: «Мямля, не мог уж сказать погромче». Стал прокручивать весь разговор с ней. «Я вам верю...» Как это ласково и трогательно было сказано! Верит! Это же что-то значит!..

«Боже мой, как трудно произнести простых три слова: «Я вас люблю...» Вон сколько шли вместе, и вечер, и луна, и даже соловей — все было, обо всем говорили, а главного так и не сказал. Будет ли еще такой случай? Может, ей записку написать? А может, через Натку надо действовать?..» И он замурлыкал песенку, обращенную целиком и полностью к Натке:

Скажите, девушки, подружке вашей,  
Что я не сплю ночей, о ней мечтая,  
Что всех красавиц она милей и краше...  
Я сам хотел признаться ей,  
Но слов я не нашел...

Когда б я только смелости набрался,  
Я б ей сказал...

«Ничего, обойдемся пока без Натки, подождем до воскресенья! — подбодрил Васька себя. — Наберусь смелости! Наберусь!»

Ему сделалось легко и радостно. Потрогал повязку на голове, вспомнил, как Валя нежно ухаживала за ним, улыбнулся довольный.

И хотя он не успел за весь долгий путь сказать ей о главном, все равно он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, потому что последними ее словами были: «Я вам верю...»

## ВОЙНА

Школа издали — не школа, а будто плывет по черной воде среди темной ночи красивый пароход, зажженный

яркими огнями. Даже в самые большие торжества здесь не бывало столько света, сколько его разлито в этот вечер. Коридоры, классы, лаборатории — все освещено, все открыто, и всюду слоняются выпускники. Группами, в одиночку бродят они по школе, прощаются с нею навсегда.

Вот в этой комнате и на этой парте сидел кто-то из них, когда был в седьмом классе, а кому-то запомнилась комната возле директорского кабинета, когда учился в девятом...

Нарядный, праздничный, как молоденький петушок, только что пробующий свой голос, пришел Васька на это торжество. Да, видать, поторопился, рано прибежал — всюду еще шли приготовления к празднику. В наутюженном до блеска костюме, в беленькой рубашке с отложным воротничком, аккуратно постриженный «под польку», Гурин продефилировал по коридору взад-вперед и, не встретив никого из ребят, завернул в боковой коридорчик, прозванный аппендиксом, открыл одну из трех в этом коридорчике дверей, заглянул в класс. Здесь, в этой маленькой комнатке, он начал свой восьмой год учебы. Именно здесь, когда он сидел вон за той партой — третьей от доски, у них появилась новая «немка» — Роза Александровна Попп...

Гурин прошел между рядами к своей парте, поднял крышку — хотел было втиснуться на сиденье, но раздумал, пожалел стрелочки на брюках. Он прислонился лишь к парте и посмотрел на доску. И (странное дело!) на учительском месте вспомнилась ему не Роза Александровна, а физик Куц Александр Федорович — низенький, верткий, вечно подпрыгивающий у доски из желания достать мелом как можно выше. Записывая формулы, он стучал мелом о доску и в такт мелу, будто пританцовывал, постукивал каблуками о пол. Куц любил свой предмет и с редкой старательностью стремился передать свои еще свежие и не остывшие после института знания ученикам. А Гурин смотрел на учителя и кипел ненавистью к нему. Он бросал обидные реплики, сбивал его с толку, унижал, дерзил, сводил на нет все его старания. Молодой учитель сначала терялся, тушевался, краснел, иногда не выдерживал — принимал административные меры, к которым ему очень не хотелось прибегать, потому что он всегда представлял себя любимцем учеников. И вдруг такое начало.

Так длилось, пока Куц не догадался, в чем дело.

Вспомнил все это Гурин и поежился, покраснел от неприятного воспоминания. «Дурак, глупо себя вел... Мальчишка... Как бы я сейчас смотрел ему в глаза? Хорошо, что их не будет на вечере...»

Разлился, раскатился по школе веселой трелью звонок, сзывая всех на торжество. Застучали в классах крышки парт, захлопали двери, затопали по коридорам многочисленные каблуки: учителя, приглашенные почетные родители-активисты, выпускники — все потянулись в физкультурный зал.

Гурин не торопился. Этот бесконечно длинный звонок действовал на него почему-то угнетающе, выдыхаясь, звонок захлебывался металлическим дребезжанием и окатывал Гурина какой-то непонятной грустью. Последний звонок... Последний урок... Последний раз в школе... Когда-то об этом так сладко мечталось, так стонали от уроков, так не хотелось идти в школу, так взывали к судьбе: «Когда же это наконец кончится!..» А оно вдруг взяло да и кончилось. Завтра все это уже останется позади и никогда не вернется... Странно...

В зале, видать, народу битком — так, по крайней мере, кажется из коридора. Ребята несмело толпятся у дверей — то ли стесняются входить, то ли действительно некуда.

Васька оглядывает друзей — какие-то все не похожие на себя: нарядные, взрослые. Даже Иван в своем неизменном стареньком пиджачке выглядит обновленным: наглажен, начищен. Но главное — прическа! Черные, блестящие, как вороново крыло, волосы Иван зачесал по-казацки набок — согнал пышный курчавый чуб свой на правую сторону, вспенил над ухом кудлатую шевелюру. Эх, одеть бы Ивана в кожанку да в галифе с лампасами — бравый казак бы вышел из него! Пиджачишко же этот... Иван давно уже вырос из него, из коротких рукавов свисают оголенные почти до локтей его сильные руки с большущими кулаками. Иван сожалеет своих рук и, не зная куда их деть, поминутно ищет им место — то засовывает в карманы, то кладет кому-то на плечо... И рубашка на нем старенькая, только выстирана и выглажена более тщательно, чем обычно. Васька знал, что Иван стирал и гладил ее сам. У них большая семья, детей и до него, и после — не счесть сколько, мать больная, поэтому Ивану приходится самому заботиться о себе.

Глазков, наоборот, одет во все новенькое. Новый костюм, новая рубашка с запонками на рукавах и воротничке, длинный в косую полоску галстук, прикрепленный к рубашке золотистым зажимом, гладкий зачес делали его изысканно-нарядным. Высокий, стройный, негнувшийся из боязни память свой наряд, он был похож на манекена в витрине магазина.

Поздоровавшись с Васькой, Глазков кивнул на Ивана:

— Видал казака! У него был дед казак, отец — сын казачий, а Иван уже так... огрызок собачий.

— Цыц! — Иван шутливо насупил брови. — Ишь ты, удавку нацепил и воображает!

— А ты как думал? — Глазков тронул галстук, поправил его демонстративно «изячно» — двумя пальцами и оттопырив мизинец. — Я ведь уже взрослый! Не то что вы — мелюзга.

— Ты не так взрослый, как большой, — сказал Иван.

— Ага, — согласился Сашка. — А ты не большой и не взрослый.

Шла обычная беззлобная пикировка между ребятами, но Ваську почему-то она коробила, ему казалось, что сейчас эта игра совсем не к месту. Да и не прав Глазков: у Ивана рост что надо и сложен он крепко. То он, Гурин, обижен ростом; если бы он был с Ивана — считал бы себя счастливым.

Взглянул Гурин на Сашкин костюм, позавидовал: дорогой, видать. Тонкая в косой рубчик шерсть отливала благородным блеском. Сравнил со своим — не то, конечно, но Гурин чувствует себя в нем хорошо. Целый день сегодня он чистил его и отпаривал горячим утюгом через мокрую тряпку, навел рубчики на брюках, наострил лацканы, выглядит не хуже нового. Особенно доволен Гурин своей прической: хорошо постригли его в парикмахерской и волосы уложили аккуратно — в глаза никому не бросается. Оказывается, они у него слегка волнисты и послушны, не нужно им ни косынки на ночь, ни репейного масла. Права мать была: вырастут — улягутся. Девушка, которая стригла его, сказала с завистью:

— Мне бы такие волосы!

...В зале директор, завуч и Анна Дмитриевна вручали выпускникам аттестаты. Вызывали по алфавиту:

— Глазков Александр, — послышалось из зала, и



Сашка быстро исчез в глубине просторного помещения.

Вслед за ним вызвали Гурина. С трудом протиснулся он сквозь толпу зрителей у двери и неожиданно оказался перед пустым пространством: народ толпился вдоль стен, а весь зал, будто поле стадиона, был свободен. Слева, в дальней стороне, виднелись накрытые столы, и там же у красного стола маячили три фигуры — директора, завуча и Лукьяновой. Справа от двери на подмостках расположился струнный оркестр, которым дирижировал Жек Сорокин.

Жек кивнул Ваське, подбодрил улыбкой, а Васька не видит никого, идет, как по гладкому льду, — вот-вот поскользнется, вот-вот упадет. Пока прошел по чистому скользкому полу через весь зал, сквозь пристальные взгляды десятков людей, под аплодисменты, под непрерывный туш, исполняемый оркестром, Гурин, наверное, семь раз вспотел и, когда подошел к столу, уже ничего не воспринимал. Запомнилось только, что, вручая аттестат, директор говорил ему что-то, улыбаясь, и это удивило Гурина, так как директор был обычно суров и не улыбочив. Что-то говорил завуч, напутствовала какими-то добрыми словами Анна Дмитриевна, а он в ответ им лишь кивал смущенно головой да повторял одно и то же слово:

— Спасибо... Спасибо... Спасибо...

Будто в тумане отплыл он от стола. Ничего не видя, никого не слыша, повинувшись лишь какому-то чутью, Гурин точно направился в угол, где сгрудились ребята. Здесь он машинально скрутил аттестат в трубку, стал понемногу отходить. Огляделся — кругом все свои; как на фотографической пластинке, стали проявляться лица. Посмотрел в сторону оркестра, увидел там Валю и Натку — сидят, бомкают на гитарах, переглядываются, улыбаются чему-то; увидел их Гурин, и опять его бросило в жар: они ведь наблюдали, как он тушевался, получая аттестат!..

После раздачи аттестатов директор поздравил всех с окончанием средней школы, пожелал выпускникам счастливого пути, удачи в самостоятельной жизни и пригласил за стол.

На столе, кроме закуски, бутылок с ситро, было очень много цветов — разных: желтых и красных роз, больших, похожих на подсолнухи, огромных ромашек и еще много других, которым Гурин и названия не знал.

Директор подал команду наполнить бокалы и первое слово предоставил классному воспитателю. Немного смущенная, Анна Дмитриевна встала, подняла свой бокал и, подержав немного, опустила, ожидая тишины. Жек привычно взял бутылку, прочитал этикетку, поморщился:

— Квасок...— И тут же подмигнул ребятам.

Он налил близсидящим девочкам, ребятам слева и справа, потом себе — в последнюю очередь. За остальными выпускниками ухаживали завуч и учителя. Наконец все успокоились. Анна Дмитриевна говорила хорошие, проникновенные слова о своих питомцах, говорила так трогательно, что многие из сидящих за столом потянулись за платками.

Потом говорили другие учителя — речей было много, и все одна другой трогательнее. Когда немного подустали, директор объявил перерыв и, достав коробку «Казбека», сказал:

— Выпускникам, кто курит, разрешаю курить.

Ребята переглянулись, не веря ушам своим, девочки удивленно расширили глаза, заулыбались так, словно директор хитро пошутил.

Жек тут же достал свой «Беломор», лихо бросил папиросу в рот, протянул пачку Ивану:

— Бери!

Иван был заядлым курильщиком, на каждой перемене они с Жеком так дымили в уборной, что, когда однажды туда нагрянул директор, его в дыму не сразу и увидели, но тут отказался, не решился закурить при учителях. Сашка — тот, наоборот, раньше никогда не курил и не выносил табачного дыма, а тут потянулся за папиросой. Взял ее неумело, прикурил, поднял лицо кверху, зачмокал, засосал дым и тут же выпустил его тонкой струйкой в потолок. Все засмеялись, а директор сказал:

— Ну зачем же насиловать себя? Если не куришь, не надо и привыкать: это увлечение все-таки очень вредное.

Сашка закашлялся, прослезился, нашел ошупью на столе пепельницу, затушил в ней свою папиросу.

Некурящим был и Гурин и сейчас даже «за компанию» не стал закуривать. Когда-то, еще в седьмом классе, он увлекся было этим зельем, пристрастился к нему так, что не только окурки собирал, но иногда уже даже и покупал себе папиросы — очень хотелось быть взрослым. Но потом

бросил это дело. Не сам, правда, бросил, дядя Иван, материн брат, помог.

Пришел как-то Васька к бабушке, только взошел на крыльцо, а тут Иван навстречу и сразу заметил: топырится у Васьки карман, выпирает квадратная пачка. Иван постучал по карману палочкой, которую вертел в руках, спросил:

— Куришь?

— Да нет... — зарделся тот виновато и заметался — стал быстро соображать, как бы «отбрезаться». Сказал первое, что на ум пришло: — Это меня попросили купить...

А Иван уже извлек пачку из кармана, крутил ее, рассматривал, словно никогда не видел, удивлялся, будто дикуинку какую поймал.

— Купил другу? А че ж она распечатана? А в этом кармане спички — тоже для друга? — Он постучал палочкой по другому карману, и спички предательски загремели. — Однако ты, брат, дорогие куришь — «Нашу марку»! Откуда ж ты деньги берешь?

Васька молчал.

Иван вложил пачку снова ему в карман, сказал строго:

— Сам бросишь или мать поможет?

— Сам...

— Честно?

Васька кивнул и тут же вытащил из карманов папиросы и спички, положил на перила. После Иван убрал их и не скурил, а хранил зачем-то, и, когда Васька приходил к ним, он будто случайно доставал эту пачку и перекладывал с места на место.

С тех пор Васька не курил. Да, собственно, его сильно никогда и не тянуло к куреву, просто тогда хотелось быть как все...

Вечер постепенно разгорался, участники его понемногу «расковались», осмелели. Начались танцы — сначала под оркестр, потом включили радиолу, и Жек, освободившись от дирижерства, подал сигнал Гурину, Глазкову и Костину, повел их в свой класс, прикрыл за собой дверь.

— Ну что, братва, конец?.. — Он сел за свою парту, и все тоже разбрелись по своим местам.

Сашка стал зачем-то гладить черную поверхность парты, Васька открывал и закрывал крышки, словно проверял их прочность, а Иван ударил дважды кулаком по своей, сказав:

— Все! Прощай, родная!..

— ...Пошли танцевать? — Жек подошел к Глазкову, не выдержал, потрогал его костюм: — Костюмчик у тебя, Саш, мировой — бостоновый.

— Да брось ты, не завидуй! — вдруг рассердился Сашка. — Батю раздел. Это ж батин... Будто ты сам в рядно одет?..

Жек был в новом шевиотовом костюме шоколадного цвета; брюки — по моде: длинные, широкие — «чарли»; на длинной тонкой шее под острым кадыком у него красовался галстук-бабочка. Артист! Настоящий маэстро!

— Да ты не сердись, Саш...

— А я не сержусь!

— Ребята, не надо... — встал между ними Гурин. — Так все хорошо!.. И потом — может, мы последний раз вместе...

Было уже далеко за полночь. Музыканты устали играть, одни сбежали домой, а другие рады случаю — танцевали с выпускниками под радиолу. Инструменты — гитары, мандолины, балалайки — сиротливо валялись на стульях, лежали на полу у пюпитров.

Когда выключили радиолу, Жек взял баян, пробежал по кнопкам сильными, с длинными острыми ногтями, хищными пальцами и с первого аккорда ударил танго «Люблю»:

...Моя любовь не струйка дыма,  
Что тает вдруг в сиянье дня...  
А вы прошли с улыбкой мимо  
И не заметили меня...

Ребята, как обычно, толпились гурьбой, не сразу решаясь пригласить девочек на танец, а те, не дождавшись кавалеров, разбились на девчачьи пары. Натка танцевала с Валей. Увидев их, Гурин толкнул Глазкова:

— Саш, поможешь?

— Ага.

— Разобьем?

— Разобьем!

— Моя в косичках...

— Идет!

И они разом выступили на круг.

— Разрешите?

Девушки тут же расцепились. Гурин взял Валью и осторожно повел. Первое время он молчал — от волнения

дыхание сперло, раза два наступил ей на ногу, сказал растерянно:

— Извините...

— Ничего... А я думала, вы так и не подойдете...

— Почему?

— Обиделись тогда?..

— Нет... А вы почему ни разу на танцы не пришли?

— Мама не разрешала. Экзамены ведь были.

— А я вас ждал...

Она промолчала. Гурин машинально перебирал ее пальцы в своей руке, будто пересчитывал, потом многозначительно сжал их нежно. Валя опустила глаза.

— С вами очень легко танцевать, — сказал он.

— И с вами...

Сделав незаметный переход, Жек заиграл быстрее танец «Рио-Риту» — любимый Васькин фокстрот. Не выпуская из рук партнерши, Гурин схватил ее покрепче и понесся в быстром темпе по залу. С Валею ему действительно танцевалось легко: она была послушна, заранее чувствовала его намерение, и он вращал ее в танце, как пушинку. Разгорячился, раззадорился, куда и робость девалась — кружит Валью, носится вихрем по гладкому полу.

Лихо играет на баяне Жек, с задором, чувствует настроение ребят. Видит, подустали, — и тут же с аккорда на аккорд, и уже льется новая мелодия — танго «Брызги шампанского». Ах, что за танго! Рвет оно Васькино сердце на части, смотрит он на Валью, губы его дрожат — хочет что-то сказать ей, не решается...

И вдруг медленно, как в кинозале перед сеансом, стали меркнуть лампочки. Померкли, посветили тускло немного и погасли... Будто по заказу влюбленных...

— Валя, я люблю вас... — воспользовавшись темнотой, прошептал Гурин.

— Не надо... — сказала она.

— Люблю... — И он потянулся к ней, чтобы поцеловать.

Она поняла его намерение, отвернула голову и он ткнулся неловко горячими губами ей в щеку у самого уха.

— Не надо... — Валя сердито вывернулась из его объятий и убежала.

Немного качаясь от долгого танца, Гурин поплелся вслед за ней. Но в темноте он быстро потерял ее и остановился в растерянности среди зала.

То в одном, то в другом углу курящие стали зажигать спички. При свете этих жиденьких огоньков Гурин пошарил глазами вокруг и, не найдя Вали, прислонился к стене.

Отключение света в поселке было явлением не таким уж редким, поэтому на него никто особо и внимания не обратил. Вскоре появились свечи и даже керосиновые лампы, хранившиеся про запас именно для таких случаев, и вечер продолжался.

Постояв немного, Гурин вышел в коридор, пошел бродить по классам — искал Валу. Но ее нигде не было, и тогда он понял: она ушла домой.

«Обидел... — упрекал себя Гурин. — Все испортил, дурак... Теперь все пропало...»

Он стоял одиноко у стены, на душе сделалось тоскливо, грустно. Он досадовал, грустил, раздумывал, не смыться ли и ему домой; настроение было безнадежно испорчено...

Но в этот момент объявили «дамский» вальс, и Катя Сбежнева потащила Гурина на круг. Тяжелая толстуха, она подхватила его легко и весело, порываясь в то же время что-то сказать ему. Гурин догадывался, что она будет говорить о Вале, и, чтобы помешать ей, поменялся с ней ролями — повел сам, завихрил, как только мог, закружил ее в вальсе, пока она не взмолилась:

— Ой, не могу!... Ой, упаду!..

Это развеселило Гурина, он перестал думать о доме и до утра перетанцевал почти со всеми своими одноклассницами.

На рассвете все вышли в школьный сад — встречать восход солнца. Учителя и ученики выстроились длинной шеренгой вдоль забора, устремив свои взоры на восток, ожидая появления «дневного светила». В своем напряженном ожидании они были похожи на паломников, пришедших издалека приобщиться к дорогой святыне, которая показывалась редко и далеко не всем.

Уже стало совсем светло, а солнце все не всходило. Ребята не выдержали, начали шутить:

— Может, его сегодня и не будет?

— Выходной же!

— Саш, тебе сверху виднее — где там оно?

Но вот зарумянилась, зарделась плавающая на горизонте тучка, заалело небо, и над самым краем земли показалась багровая скобочка солнца.

— Ура! Да здравствует солнце! — закричали, захлопали в ладоши «паломники».

А солнце меж тем медленно, туго, будто его кто с трудом выдавливал из-под земли, всплывало над горизонтом, увеличиваясь в размерах все больше и больше. Багровое, густое, оно было каким-то нерадостным, зловещим. Неровные края его дрожали желеобразно и изгибались, как в многожды гнутом зеркале. Выплыв больше чем наполовину, солнце уже само стало вытягивать свое тело, потому что нижняя часть его удлинилась, будто зацепилась за что-то. Наконец, оторвав хвост от земли, оно быстро втянуло его в себя, постепенно принимая форму правильного диска и успокаиваясь от желеобразного дрожания. Врезавшись верхним острием в тучку, солнце пробило ее и уже из нее вышло гладким, ровным, оранжево-желтым, то есть таким, каким оно и бывает всегда...

Наблюдавшие восход долго стояли молча, расходились почему-то медленно, задумчиво.

В шесть часов заговорило радио, и полились из репродукторов военные марши. Бодрые, духоподъемные, они сначала так и воспринимались, но постепенно повеяло от них какой-то тревогой, и эта тревога вскоре отпечаталась на лицах директора, учителей, а потом и выпускников. Все недоуменно поглядывали друг на друга, спрашивали, что бы это значило; директор то и дело входил к себе в кабинет, звонил куда-то по телефону и всякий раз выходил, пожимая плечами: «Ничего не знаю».

И только около двенадцати часов марши прекратились и начались позывные. Долго, тревожно сзывали они к репродуктору слушателей, а их и сзывать не надо — все и без того давно уже ждали какого-то важного сообщения.

«Говорит Москва!» — раздался густой, взволнованно-твердый голос диктора.

Война!..

По радио выступил Молотов, свою речь он заключил словами:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Война!..

Гурин бежал домой. Солнечный воскресный день, а улицы почему-то пусты. На небе ни облачка, а солнце

будто померкло, светит, как сквозь закопченное стекло. Только уже на своей улице, напротив двора Царевых, увидел он кучу мужиков — сидят прямо на траве, дуются в карты. Все вошли в азарт, смеются, хохочут, наказывают проигравших, на Гурина никто и внимания не обратил. «Они еще ничего не знают... — подумал он. — Сказать? Или погодить?.. А сказать надо... Но как?..»

В игре наступил передых — начинался новый кон. Тимка Царев принялся тасовать карты для раздачи. Только теперь, доставая из кармана папиросы, взглянул на Гурина Дмитрий Гридин, Митря по-уличному. Взглянул, кивнул ему приветственно:

— Ну как, Василь, кончил учење?

Митря — красавец парень: высокий, спортивный, он только весной вернулся из армии, с месяц как женился; живет он на соседней улице, а сюда ходит к Тимке переброситься в картишки.

— Кончил... — сказал Гурин.

— А че ж такой грустный?

— Война началась...

— Как война? — вскочил Митря.

— Германия напала... Гитлер... Утром бомбили Киев, Минск. Идут ожесточенные бои.

— Што ж ты молчал столько времени! Мне ж надо уже в части быть. — И Митря побежал прямо через Царев двор, через огороды, не разбирая ни тропок, ни дорожек.

Не прошло и пяти минут, мужики еще обсуждали тревожную весть, а Митря уже бежал обратно. Через Куликов проулок — бегом, и на заводскую гору — бегом, и сколько видно было — все бегом и бегом, — зашпешил в военкомат. А еще через несколько минут вслед за ним, прижав к груди беленький узелок, подалась жена его Ольга.

Дома Гурин застал посреди двора Алешку — он держал в руке голубку и напряженно шарил глазами по небу. Увидев Ваську, стал оправдываться:

— Чужак там... Дак я плекатого турнул...

В другое время Васька отвесил бы ему хороший подзатыльник за самовольство, крепко «турнул» бы его самого, но тут будто и не слышал, о чем говорил братишка, к словам его отнесся безразлично, смотрел на него грустно.

Алешка не на шутку встревожился:



- Што?.. Не перевели?!
- Куда? — не понял Васька.
- Из десятого?..
- Перевели. Война началась.
- Какая война?
- Настоящая, какая... Гитлер напал.

У Алешки расширились глаза, он выпустил на землю голубку, отер руки.

- Што ж теперь будет?

— Раздолбим фашистов — вот што будет! — сказал Васька уверенно и вошел в дом.

Прошел по комнатам — пусто, мать на работе, делать нечего — не с кем посоветоваться, поговорить. Вышел, огородной тропкой направился в Карпов двор — может, Никита дома.

Заглянул к ним в сени, увидел через открытые двери: сидят в чулане тетка Ульяна, Клавка и Петро — перебирают сухари, сортируют: хорошие бросают в плетеную корзину, плесневелые — в ведро. Увидев Ваську, Ульяна приподнялась, почему-то застеснялась своего занятия, улыбнулась, заговорила небрежно:

— Вот перебрать решили... Цвесьть начали, дак мы цвелье поросенку откидываем. — И засмеялась, вспомнив что-то. — Вот грехи! Помнишь, как вы с Микитой перекувырнули вон тот чувал? Не было счастья, так несчастье помогло, теперь с тех пор наука: оказывается, их время от времени надо перебирать, просушивать. Какие дужа подпортились — выбрасывать, штоб здоровых не заражали...

- Никита дома? — спросил Васька.

— Нема. Его ж уже две недели нема — на практике в Красноармейском. На шахте. А ты разве не знал? На што тебе Микита?

- Война началась, — сказал Васька.

- Война?

- Да...

— Вот она... Значит, все-таки... А думали, ишо поживем... — Она оглянулась на ребят. — Ой, ой!.. Это дужа поганое известие... Война, а моих мужиков нема дома. Старого давно угнали в командировку — кудась под Ростов новую линию прокладывать, а Микита в Красноармейском... Ой, ой... Клав, Петро, кончайте это дело, ссыпайте

все в чувал, теперь, похоже, они все подберутся — и цвелые, и всякие.

Заохала Ульяна, заметалась — как быть, как «по-вестить» мужикам.

— Да они-то узнают, — успокоил ее Васька. — По радио ж объявили.

— Узнают, верно... — согласилась она. — Ой, ой... Война...

Вечером Гурина принесли записку от Ивана Егоровича — просили прийти в клуб, «прокрутить» кино, так как Николай ушел на фронт.

«Ушел? — удивился он. — И Николай уже ушел...»

Однако записке обрадовался: в клубе он узнает последние новости о войне. Собрался, подался в клуб. Там, в примерной, он застал Ивана Егоровича, Саввича и еще двух завсегдатаев клуба: Толика Мезенцева — старосту драмкружка и его жену Галю — худую, чернявую, обычно веселую молодницу. Во всех пьесах, какие ставились на клубной сцене, она всегда с неизменным успехом играла старух. Когда Гурин вошел, в комнате царило тягостное молчание, Иван Егорович сидел за своим столом, качал слегка головой.

— Да, наверное, придется еще раз повоевать, — сказал он раздумчиво.

— Ну, что вы!.. Война быстро закончится: с современными средствами!.. А потом, говорят же, что наши уже поперли немцев и перешли границу, — сказал Толик.

Услышав такое, Гурин даже заулыбался: именно этого сообщения он все время ждал. Иным оно и быть не должно! Молодец Толик, откуда он узнал это?

— Кто говорит? — угрюмо спросил Иван Егорович. — Вон пока оно не скажет, — указал он на черную тарелку репродуктора, — никому не верь. Теперь этого «говорят» будет много... Нет, хлопцы, по всему видно, война началась большая, кровушки прольется немало... Но конечно, победу праздновать будем мы, иначе нельзя. — Он взглянул на Гурина. — Ну что, Вася?.. Выручай, брат. Ушел Николай... Вот тебе ключи от киновудки, иди готовь там...

Гурин пошел готовить аппаратную к сеансу, но «крутить» кино ему не пришлось: народ не собрался. Пришло с десятков подростков, ради которых Иван Егорович не стал и зал открывать.

На другой день Гурин с самого утра занервничал от того, что ничего не знает о войне: радио в доме не было, районная газета выходит по средам. И вообще он не знал, как ему быть, куда себя деть, чем заняться в такое время.

— Я пойду в военкомат, — сказал он матери.

— Зачем? — насторожилась та. — Думаешь, там не знают, что делать? Понадобись — повестку пришлют.

— Ждать повестки? Вон Митька Гридин вчера как услышал о войне — тут же побежал.

— Он в армии уже служил, его там чему-то научили, вот он и побежал.

— И Николай Шляхов уже ушел, — не унимался Васька.

— Успеешь еще...

— А чего ждать? — возмутился он. — Война уже идет, чего еще ждать?

— Ну, рви, рви матери сердце...

— Я пойду — хоть узнаю, как там, когда будут нас призывать. Ну что же я сижу дома? — И, не дожидаясь материнского разрешения, он взял паспорт и приписное свидетельство, побежал.

По пути заскочил к Сорокину. Тот сидел перед нотным листом — разучивал на баяне «Турецкий марш» Моцарта. Увидел Гурина, кивнул, но игры не прекратил, доиграл до конца.

— Здрóрово?

— Здрóрово, — сказал Гурин. — Пойдем в военкомат.

— Зачем? — удивился тот. — Я повестки еще не получал.

— Какие там повестки? — досадно поморщился Гурин. — Люди идут, не ожидая никаких повесток. Пойдем, Жень?.. Пойдем, узнаем, когда нас возьмут... Хотя будем знать, что нам делать.

Жек неохотно спрятал баян в футляр, накинул на плечи пиджачок, сказал:

— Ладно, пойдем...

— Возьми паспорт и приписное свидетельство, — напомнил Гурин.

— Зачем?

— Ну, на всякий случай.

В военкомате на посторонний взгляд творилось что-то невообразимое — народу как на толкучке. Рассыльные

с пачками повесток один за другим уходили на разноску, военные на улице делали перекличку мобилизованным, строили их в колонны и куда-то уводили. В самом военкомате в каждой комнате все были заняты делом и никто на Гурина не обращал внимания.

— Вызывали? Нет? Ждите... Не мешайте...

Увидел Гурин военрука — у того в петлице по кубуку прибавилось, кинулся к нему, как к родному:

— Павел Сергеевич, а как же нам?..

— Что вам? Ждите, ребятки... Вы же, кажется, зачислены в школу ВВС? Это до особого распоряжения. Ждите.

— Да какое там особое, Павел Сергеевич?.. Все вон идут...

— Как какое особое? Обыкновенное. И идут все, да не все. У военкомата есть план мобилизации — кого в какой срок призывать. Придет приказ...

— А может, о нем забыли... Это ж когда было, а сейчас война... Павел Сергеевич, помогите... — не унимался Гурин.

— Ну что с вами делать?.. Давайте документы, — махнул рукой Павел Сергеевич.

Мигом достал Гурин свои документы, отдал капитану. Жек замешкался, Гурин помог ему — выдрал почти силой из его рук паспорт и приписное свидетельство и тоже протянул военруку.

— Ждите, — сказал тот и удалился куда-то.

Гурин, довольный, заулыбался — молодец он, не растерялся, уломал Павла Сергеевича.

Капитан вернулся быстро, в руках держал две повестки:

— Вот вам... В четыре часа быть здесь. С собой захватите ложку, кружку, пару белья и харчей на три дня. Все. До встречи. Не опаздывайте.

— Ну вот, а ты говорил!.. — упрекнул Гурин Сорокина. — Дело сделано! Пойдем собираться, а то времени не так уж и много осталось. А ты — ждать. Тут дождешься!

Увидев повестку, Васькина мать захохала, запричитала, за живот схватилась:

— Боже мой! Уже?! Хоть бы ж денечек на сборы дали... — Засуетилась, собирая белье, харчи. Таньку и Алешку разогнала по родственникам — сообщить, позвать, кто дома, на Васькины проводы.

Из дядей пришел только Иван — материн брат, ему

было в ночную смену, остальные все на работе. Прибежала и тетка Груня, принесла кусочек сала. Ульяна пришла, сунула Ваське мешочек сухарей:

— Возьми, сына, возьми, крестничек мой дорогой. Што там, как там — неизвестно. Всяко может быть. То разбомбили, то разорили, то не успели, то поспешили, а ты возьмешь сухарик, размочишь да и съешь. Не сыт, а и не голоден. Возьми, не гребуй...

Время пролетело быстро, уже и идти пора. По старинке присели перед дорогой, помолчали, а когда встали, мать неожиданно заголосила, как по покойнику.

— Дядь Вань, да скажите хоть вы ей... Что же это она?.. — попросил Гурин.

— Ну как ты скажешь? — взглянул тот на племянника.

— В армию ж провожает, а она голосит.

— Если бы просто в армию, а то на войну, — сказал Иван. Он отобрал у него сидор, поторопил: — Пойдемте...

У своих ворот стала прощаться с Гуриным Ульяна.

— Прощевай, сына... Нехай бог тебя хранит. — Она поцеловала его в губы и, заплакав, стала вытирать фартуком глаза.

Мать снова запричитала, но тут Васька уже не выдержал, сказал сердито:

— Ма, ну хоть на улице потерпи...

Мать отмахнулась, но голосить перестала.

Иван, тетка Груня, мать, Танька и Алешка провожали Ваську до самого военкомата. Чем ближе к центру, тем больше таких процессий. Некоторые были выпивши, пели пьяно под гармошку, плакали...

У военкомата Гурин, оставив сидор у Ивана, пошел искать свою команду. Но прежде всего он искал Сорокина — вдвоем потом легче будет найти кого угодно. Он толкался, ходил от одной группы к другой, но Сорокина нигде не было. «Опаздывает... Вот копун, не мог уж вовремя прийти. Наверное, брюки наглаживает. Или к своим девам зашел прощаться. Ведь опоздает — попадет же...» — волновался он за своего друга. Увидел капитана, подбежал к нему, спросил:

— Где наша группа, товарищ капитан?

— А, Гурин... Здесь ваша команда, здесь... Не расходитесь. Сейчас построение будет.

— Вот Сорокина еще нет, опаздывает, — подсадовал

Васька, но капитан его не слышал, он держал в руках какие-то списки и сверял их с теми, что были у стоящего рядом молоденького лейтенанта. — Пойду поищу... — Гуринов снова пошел бродить по толпе, подошел к своим.

— Ну, что? — спросила мать.

— Сейчас будет построение. Вот Женьки Сорокина до сих пор нет... Опаздывает. Сбегать, что ли, поторопить? Не успею. Алеш, может, ты смотаешься? Ведь опоздает — попадет ему, с этим же не шутят.

— Куда он побежит? — воспротивилась мать. — Ближний свет! Придет твой Жек, никуда не денется.

— Ну, ладно, пойду... Мне пора... — Гуринов стал прощаться с родными.

Мать снова заплакала, вцепилась в него, уткнулась лицом ему в грудь, запричитала:

— Сыночек мой дорогой, да увижу ли я тебя снова?... Да я ж на тебя и не нагляделась... Только-только вырос, еще и костюмчика ни одного не сносил, и чубчик только первенький отрастил... Да неужели ж?..

— Ма, хватит... Пойду, меня уже ждут там... — Глаза у него влажно заблестели.

Наконец мать отцепилась, он взял сидор, закинул за плечо и заспешил, не оглядываясь, чтобы самому не выдать своей слабости, не расплакаться.

Пришел — и точно, чуть не опоздал: капитан уже делал перекличку:

— Гордеев!

— Есть.

— Становись.

— Гуринов!

— Есть.

— Становись.

Встал он в строй, а сам по сторонам глазами кидает, ищет Жека. «Эх, попадет ему...»

— Сидоров!

— Есть!

— Становись.

«Уж на «с» вызывает... Сейчас Жека назовет, а его нет... Крикну за него «есть», а он потом прибежит и станет в строй», — решает Гуринов и ждет, когда назовут Жекину фамилию. А ее не называли, вслед за Сидоровым пошел Толмачев. «Пропустил...» — подумал Гуринов.

— Яковлев!

— Есть.

— Становись. Все? Кого пропустил?

Гурин вышел из строя, подошел к капитану, сказал ему тихо:

— Товарищ капитан, Сорокин опаздывает... И вы его пропустили.

— Ты о Сорокине печешься? Эх, Гурин, Гурин... Сорокин уже давно на печке сидит. Тут приходила его мать, принесла кучу справок... Больной твой Сорокин, и никуда он, оказывается, не годится. Понял?

Повесил Гурин голову и поплелся на свое место. Капитан передал список лейтенанту, тот свернул его вдвое, вложил в полевую сумку, скомандовал:

— Р-равняйся!.. Смирно! Напра-во! Шагом марш!

Затопала нестройно колонна, тронулась не в ногу, Гурин ткнулся носом в спину впереди идущему, затоптался на месте.

— Запевай!

Кто-то хрипло затынул:

Если завтра война —  
Так мы пели вчера,  
А сегодня война наступила...

Колонна вывернула из военкоматовского переулочка, свернула на шоссе центральной улицы. Гурин шел, опустив голову, думал о Сорокине. Как же он подвел его!.. Оставил одного... Друг называется... Гурина охватило удручающее чувство одиночества.

— Вася, Вася!.. — услышал он материн голос.

Оглянулся и не сразу увидел в толпе провожающих своих родичей: все идет плотной массой по обочине — провожают новобранцев, — машут руками, плачут, кричат что-то напоследок. Гурин поднял руку:

— До свидания!.. — И дал им отмашку: мол, возвращайтесь домой. На душе у него было тоскливо, одиноко, и он снова невольно опустил голову.

Уже у самого переезда кто-то дернул Гурина за рукав, от неожиданности он даже вздрогнул. Посмотрел — Алешка.

— Что?.. Ты куда? Возвращайся, Алеш, домой...

Но Алешка ничего не говорил, а только заговорщицки





крутил глазами и кивал в сторону провожавших. Гурин посмотрел туда. По самому краешку обочины с поднятой рукой, пытаясь привлечь Васькино внимание, шла Валя.

— Валя?! — закричал Гурин и кинулся к ней. — Валя!.. — Он схватил ее руку, прижал к груди. — Валя...

Она прильнула к нему, горячие слезы ее потекли по Васькиной щеке.

— Вася, — прошептала она, — я люблю тебя... Люблю...

— И я тебя, Валя...

А колонна не ждет, уходит все дальше и дальше, и уже забеспокоился лейтенант, крикнул Гурину, чтобы тот вернулся в строй.

— До свидания, Валя... Я напишу тебе, ладно?..

— Да!.. Да!..

Гурин догнал колонну, встал на свое место, оглянулся: Валя все еще держала поднятой руку и, словно обессилив, слабо махала ему.

Колонна перешла через переезд, свернула на Бахмутский шлях и, колыхаясь, запылила старой столбовой дорогой на восток.

Колонна за колонной, колонна за колонной проплывали по шляху новобранцы и одна за другой исчезали за бугром...

## ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Отца Гурин вспомнил неожиданно, даже вздрогнул, как от толчка. Оглянулся — никого. Подвигал плечами, словно пиджак стал тесен, уставился на витую, будто веревка, воду ручейка, задумался.

Весело поблескивая, ручеек катился с огорода, где дотаивал грязный ноздреватый снег, и по канавке, проделанной Гуриным, убегал на улицу.

Гурин понял, почему вдруг вспомнился отец. Давно, много лет тому назад, он, тогда еще пятилетний пацаненок — Васька, возился вот так же у внешнего половодья: расчищал вымоину от ледяного крошева и прилаживал бумажную крыльчатку, хотел заставить воду крутить ее. Но бумага быстро намокла, и крыльчатка превратилась в бесформенную массу. Вышел из хаты отец, увидел его затею, сказал:

— Эх, Васька, Васька... Бумага — материал не проч-

ный. Из дерева лопастное колесо сделай — вот тогда дело будет.

И не выдержал, поставил на завалинку железный сундучок, в котором носил себе в депо еду, метнулся в сарай и долго гремел там деревянными чурками и разными железками — искал что-то. Наконец нашел большую жестяную банку из-под халвы, кивнул Ваське:

— Железную мельницу сделаем...

Складным ножом вырезал из банки круглое дно, выровнял его молотком и принялся ножницами надрезать края. Надрезы делал небольшие, сантиметра на два от края. Работал он быстро — железо в его руках было послушным, только чуть похрумкивало под острыми лезвиями ножниц. Кончил надрезывать, принялся плоскогубцами отгибать лопасти. Схватит «губами» лопасть и отвернет ее на четверть оборота — поставит перпендикулярно кружкú, тут же другую хватает, крутит. И так до самой последней: ошетилил донышко — на тракторное колесо с шипами стало похоже. Потом пробил гвоздем дырочку в центре и насадил на железный прут.

Пяти минут не прошло, а он уже пристроил лопастное колесико над бурлящим ручейком и заулыбался довольный, когда оно завертелось и замельтешило против солнышка белыми искрами лопастей.

— Втулочку надо сделать, а то дырочка разработается, колесо будет валиться набок. Но это я завтра сделаю. — И стоял, не уходил, любовался «мельницей», медленно вытирая руки паклей.

На голос вышла мать, закрутила головой, пристыдила отца:

— Играется! Ребенок! На работу опоздаешь.

— Ничо, успею, — сказал отец, беря сундучок.

И Васька видел, с какой неохотой отец уходил из дома, как ему хотелось остаться и сделать для колеса втулочку.

Но он ушел. Ушел и не вернулся... С работы отца послали уполномоченным в колхоз — перед посевной. А там кулаки ночью подкараулили его и избили.

Последний раз Гурин видел отца в больнице, где он, корчась от боли в животе, умирал в муках...

Первое лето без отца прошло как-то незаметно, в суете. То хату перестраивали — это еще отца была затея; дядя — материны братья и отцов брат Карпо — помогли,

сделали хату. То огород убирали — картошку копали, свеклу. Особенно в тот год уродилась почему-то тыква. Такие тыквыны вымахали — как валуны лежали на огородах, сизые, гладкие. Васька не мог даже с места сдвинуть такую тыквину. Подпер плечом, уперся ножонками в землю, пыжился, тужился, а тыква ни с места. Пришлось Карпа на помощь звать. Тот пришел, долго курил возле «валунов», качал удивленно головой:

— Вот это гарбузы так гарбузы! Это ж надо — как оно в природе бывает: какой год на што горазд. Один — на дождь, другой — на сушь; один — на яблоки, другой — на пшеницу. А этот — на гарбузы. Вот и угадай, когда што сеять... — Он похлопал широкими ладонями прохладные гладкие бока тыквы и покантовал ее с огорода в сарай.

Их и было-то на огороде всего десятка полтора таких великанов, но Карпу пришлось попытеть изрядно, пока все уложил в угол. Вышел из сарая, отряхнул ладони.

— Ну а с этими вы и сами управитесь, — кивнул он на разбросанные по огороду желтые, зеленые, полосатые, круглые, продолговатые, величиной с Васькину голову, тыквыны. — Шо ж будешь с ими делать? — спросил он у матери. — Поросятка надо покупать — корм есть. Или продавать...

Но мать ни поросятка не купила, ни тыкву не продала. Сами справились с нею, то кашу варили, то так кусками парили или в духовке пекли — ели с удовольствием. После, когда пришла весна тридцать второго, вспоминали эти «гарбузы» и слюнки глотали.

А весна в тридцать втором была трудная, голодная. Наверное, пришлось бы и им сусликов попробовать, как Солопихиным, если бы мать не устроилась в больницу сиделкой.

Отца своего Гурины вспоминали часто и, вспоминая, плакали. Мать станет, бывало, рассказывать о нем — какой он был хороший: и не пьяница, и не картежник, как другие; душевный был, добрый, чуткий и мастеровой; руки у него были золотые: табуретку ли сделать, дно в ведро вставить или часы починить — все мог, все умел, — станет мать обо всем рассказывать, сама плачет и детей разжалобит до слез.

Поначалу, помнится, Васька больше всего жалел, что не удалось пойти с отцом на первомайскую демонстрацию. Отец обещал ему, и он уже представлял, как вместе

с деповскими рабочими будет идти по нарядным улицам и петь песни под духовой оркестр. Готовились к празднику заранее: отец купил себе новую кепку-шестиклинка с матерчатой пуговкой на макушке, а Ваське припасли бескозырку с золотыми якорями на лентах и золотым словом на лбу — «Моряк». Но праздника не получилось...

Задумался Гурин, прошептал машинально: «Детство...»

А ручеек все бежал и бежал, прозрачная вода в нем закручивалась в хрустальную веревочку, тихо журчала на маленьком порошке-перекате, искрилась против солнца разноцветным битым стеклом.

Докуривая сигарету, Гурин сделал глубокую затяжку и бросил окурочек в ручеек. Клубочек пара с шипением взлохматился над водой и тут же растаял, а окурочек, толкаясь о льдистые берега, понесся вниз по течению. Гурин проследил за ним какое-то время и направился в дом. Но в сенях он не пошел в комнату, а открыл скрипучую дверь чулана и остановился, поводя вокруг глазами. В чулане было сыро и прохладно, стоял тяжелый, затхлый дух старой бумаги. Большие пачки ее — школьные учебники, тетради, письма, альбомы, какие-то свертки, газеты, связанные и рассыпью, — покоились на широких полках. Гурин увидел связку знакомых писем, потянул с полки. Письма эти были его, он писал их матери с фронта. Развязал, развернул один, другой треугольничек, прочитал и почувствовал какую-то неловкость: веяло от них юношеской бодростью и неумело, по-детски плохо скрытым страхом перед той обстановкой, в которой он тогда оказался. И почерк какой-то еще детский, и слог неестественный, будто чужой. Однако, прочитав одно, другое, увлекся, нахлынули воспоминания...

Из раздумья вывела мать. Она толкнула его в плечо: — Сидишь?

Гурин вздрогнул, смутился, привстал. Посмотрел на мать — совсем седая, с большими черными впадинами под глазами, она глядела на него и улыбалась, как маленькому ребенку.

— Я так и знала, что ты сидишь в чулане. Где же еще? Как приедут, так в чулан, тут у вас интерес...

Гурин кивнул на полки:

— Почему вы не выбросите весь этот хлам? Учебники старые, тетради?..

— А зачем? Мне оно не мешает, а вам все это дорого. Я ж говорю, приедете — что один, что другой, в чулане у вас главный интерес. Алеша тоже, как и ты. Приедет, походит по комнате, по двору, посмотрит, а потом исчезает. Значит, думаю, в чулане застрял. Погляжу — так и есть: сидит, книжки, тетрадки перебирает, письма читает, рисунки разглядывает, карточки. Что-то откладывает в сторонку — ненужное. Выбросит, а я соберу да опять в чулан. Другой раз снова перебирает. Гляжу — уже что-то другое откладывает. А то, что прошлый раз выбрасывал, теперь в карман кладет — с собой увезти хочет.

Улыбнулся Гурин:

— То-то я вижу: кое-какие письма я как будто выбрасывал, а они снова здесь...

— Здесь, здесь, все тут, — торопливо заверила его мать. — Не могу я это выбрасывать — это все ваше. Ваше детство, ваша жизнь — все тут. Я другой раз думаю, может, этот хлам вас лишний раз домой притянет. Да мне и самой интересно. Начну уборку делать, влезу в эти бумаги да и застряну на целый день: перебираю, смотрю, вспоминаю. Это вот, Вася, ты паровоз нарисовал на газетном листе. ФД — большой паровоз был, такие уже и не бегают, все больше электровозы да тепловозы... А это вот Алешины рисунки, когда он учился на художника... Танины фотокарточки, когда она уже заневестилась. Письма читаю. Особенно вот эти, твои, с фронта мне дороги — плачу над ними всякий раз. — И пальцем пригрозила: — Ты уж эти не трогай — не выбрасывай. — Спросила: — А рази тебе не интересно? Ты ж вот что-то вспомнил?

— Да... Отца. Забыл его лицо, хотел найти фотографию. Сохранилась?

— Есть, — мать открыла нижний ящик старого шифоньера, достала оттуда пачку бумаг, перетянутую бельевой резинкой, развязала, стала перебирать пожелтевшие карточки. — А эту вот рази тебе не хочется посмотреть? Это какой класс?

Гурин взял карточку, всмотрелся в давние лица, некоторые с трудом ожили.

— Восьмой...

Свет, падавший в чулан, кто-то неожиданно заслонил, Гурин оглянулся и увидел на пороге крестную.

— Вы че это в чулане схоронились? Сухари перебирае-

те нешто? — пошутила Ульяна и засмеялась добродушно.

— Не, не сушим,— сказала мать.— Все одно на всю жизнь не напасешься.

— А я нет-нет да и иссушу какой заваливший кусочек, да и брошу в чувал — нехай лежит, он есть не просит.

— Отца вот вспомнил... Посмотреть хочет... Карточку шукаем.

— Отца... — погрустнела Ульяна.— Я вот тоже уже не помню его, какой он был... Встретился б на улице — не узнала, ей-богу.

Гурин разглядывал школьную фотографию, улыбался чему-то.

— Шо там? — спросила мать.

— Так... Розу Александровну вспомнил. Красивая была!

— Твоя любовь,— напомнила мать.— Чуть из-за нее с учителем не подрался.

— Это из-за этой заразы? — удивилась Ульяна.— О, она тут давала жизни при немцах, штоб ей пусто было.— И рассказала: — Ото ж, как пришли немцы, она сразу стала переводчицей в комендатуре. Форму немецкую надела. Красивая была, ничего не скажешь. Ездила с комендантом в тарантасе. В пилоточке, в хренчике... Юбочка узкая, коротенькая, коленками все светила. С немцами и уехала. Она ж сама немка, так што ж тут... Они ей свои были.

— А Александр Федорович Куц?

— А Куц... как ушел в первые дни на войну, так и не вернулся. Слух прошел, будто погиб.

— Н-да... Дела... — ухмыльнулся Гурин.— А это вот Жек Сорокин, мы дружили с ним. Война в первый же день развела нас по разным дорогам. Как он?

— А я рази не писала тебе? — спросила мать.— В прошлом году схоронили. Выпивал с каким-то мужиком, заспорили, задрались, а тот и ударь Жеку бутылкой по голове... Сутки помучился в больнице, и все. Две девочки остались...

— Жаль. Талантливый был парень... — Гурин закусил губу, ему сделалось не по себе от услышанного — будто он был чем-то виноват в Жекиной трагедии. Он догадался: мать нарочно не написала ему об этом, знала, что это его расстроит.

— Вот тебе и талант! — подхватила Ульяна решительно. — Талантом тоже надо уметь распоряжаться. А шо толку, если талант дураку достался? Так и спился со своей гармошкой, срамно смотреть уже было на него, как побирушка стал. Ей-богу, мне дак и не жалко его...

— Нашла, — перебила мать Ульяну. — Отца нашла. Гляди...

Гурин взял фотографию. Со снимка на него смотрели совсем чужие глаза молодого мужчины. Гурин долго вглядывался в отца, искал сходства с собой и не находил. Спросил:

— Разве он носил усы?

— Носил, как же... Только не такие, как теперь, а маленькие, аккуратненькие.

— Забыл совсем его лицо.

— Подольше погляди — вспомнится, оживет в памяти.

— А кепка его?.. Помните, я донашивал?..

— Цела, — быстро сказала мать и достала из того же ящика целлофановый мешочек. — Храню, как же.

Взял Гурин кепку — она! Растянул ее на кулаках, встряхнул и стал примерять.

— Тесновата.

— Перерос отца... Да ты ж теперь уже и старше его лет на двадцать?

— Я возьму ее? — попросил Гурин.

— Носить будешь?

— На память.

Мать долго молчала, потом сказала:

— Выбросите ведь вы ее... Поваляется, поваляется — и выбросите... Тут она целее будет. А? — Она стала снова увязывать фотографии, засмотрелась на мужа: — Отцову карточку надо б переснять, увеличить, да все руки не доходят. Раньше фотографы ходили по домам, предлагали, а теперь не ходят, самой надо ехать аж в город.

Гурин держал в руках отцовскую кепку, а в душе его звучала, нарастая, песня:

Марш, марш вперёд,  
Рабочий народ!..

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

### ВМЕСТО ЭПИЛОГА

*Недавно я снова оказался в родных краях. Было жаркое сухое лето. Если здесь даже в нормальные годы уже в июле трава хрустит под ногами, как яичная скорлупа, то теперь август и вовсе был похож на осень: на огороде все пожухло. Грядки с луком пожелтели, листья на клене мелки и обвислы, а тень под ними, как под рыболовной сетью. В саду под деревьями земля усыпана сморщенными недозрелыми сливами. Скворцы уже большими стаями шныряли по садам, склевывали случайно оставшиеся на верхушках деревьев спекшиеся вишни. Разморенные воробьи, распушив перья, дремали в дорожной пыли. Лишь изредка какой из них пошевеливался, вытягивая затекишую лапку или крыло.*

*Жарко. Все накалено, от всего пышет зноем — от стен, от черепицы, от земли. На Карпову крышу опустился голубь с раскрытым клювом и тут же юркнул в голубятню — в тень, в прохладу.*

*У матери все двери настежь: погреб, сарай, летняя кухня — все раскрыто. Только в комнату из сеней дверь завешена одеялом. Ставни же, наоборот, еще с ночи не открывались, и от этого в комнатах стоит приятная прохлада.*

*У Карпа во дворе ни души, видать, жара всех поразогнала по прохладным закуткам. В конуре, положив на лапы мохнатую голову, спит сердитый песик Серко. Его Карпо принес домой из посадки — выследил там гнездо какой-то одичавшей суки в лисьей норе и выкрал у нее щенков — одного себе оставил, а другого своему свату отдал. Я тогда укорял Карпо: зачем он это сделал? Пусть бы было, как было: гляди, и появились бы у нас длинношерстные маленькие серенькие зверьки — дикие собачки Серко. В ответ Карпо только усмехнулся и сказал: «Не... Их бы все одно кто-нибудь либо поймал, либо убил. Народу у нас тут дужа густо».*

*Заслышав мои шаги, Серко продрал сквозь нависшие брови глаза, взглянул на меня и тут же сонно смежил их — то ли поленился встать и облаять, то ли признал во мне своего. Я прошел в сенцы — тут, как и у матери, двери на все четыре стороны настежь: в комнату, в чулан, в сарай.*



Везде гулял приятный сквознячок. Я невольно бросил взгляд в чулан — там было совершенно пусто и необычно чисто: стены побелены, пол подметен. Только в дальнем углу, где когда-то стоял куль с сузарями, на ряднине лежала куча яблок. Не поверив глазам своим, я сунул голову в дверь, обшарил все углы — куля не было. «Как же так? В другое место, наверно, перенесли, от чужих глаз подальше?» — подумал я и ступил в комнату.

Вдали, в горнице, мельтешил экраном небольшой телевизор. Включенный на полную мощность звук сотрясал комнаты выстрелами, взрывами и воинственными криками. Шла детская передача.

Я прошел к горнице и там увидел крестного — он сидел на диване и увлеченно следил за событиями на экране. Побрит, в голубой в полоску рубаше, в белых шерстяных носках без ботинок, Карпо был спокоен и по-домашнему уютен. Чтобы привлечь его внимание, я легонько постучал о прилоку. Он нехотя оторвался от телевизора, обернулся на стук:

— А, это ты... — И тут же снова уставился в телевизор.

Только через какое-то время, что-то сообразив, он оглянулся, и то лишь на мгновение, улыбнулся и, не вставая, протянул руку. Я подошел, поздоровался.

— Приехал? — спросил он как-то машинально, все еще следя за телевизором.

Прошло немало долгих неловких минут, пока он снова заговорил со мной:

— Когда ж ты приехал?

— Сегодня... Ну и жара у вас тут!..

— Да, лето ненормальное...

Однако разговор явно не клеился. Я уже начал заводиться, досадовал, что помешал ему, и хотел уйти, когда он наконец встал, убавил звук и пригласил меня сесть рядом с ним на диване. Но и теперь он нет-нет да и отвлекался на телевизор, прислушивался к нему, и я подумал, что лучше бы он не убавлял звук.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришла крестная. Увидев меня она заулыбалась радостно, расставила руки, подошла, поцеловала.

— Сынка приехал!.. А наш рядом, в Краматорске, и уже два года носа не кажет — все некогда... — Глаза ее наполнились слезами.

— Кто? — спросил я.

— Да Петро, кто ж...

— Ниче, приедет... Можа, и правда некогда,— вступился за сына Карпо.— Это мы сидим без дела, дак нам кажется, что и людям также время некуда девать.

— Э-э... Не выгораживай,— отмахнулась Ульяна и, отступив к телевизору, выключила его.

Карпо вскинулся было помешать ей, но она решительно, словно раскрылатившийся воробышек, загородила аппарат:

— Ишо не нагляделся! Днями сидишь, уставаясь в него!.. Очуметь можно.

Карпо крякнул недовольно и снова опустился на диван.

— Не садись, беги в магазин,— не унималась Ульяна.

— А че бегать? У нас все есть.

Карпо заулыбался довольный.

— А есть, так давай стол налаживай, не томи людей.

Я стал протестовать, просил не беспокоиться и не затевать никакого стола, но все было напрасно.

За столом я заметил, что закуска вся была магазинной — колбаса, сыр, ветчина. Спросил, держат ли они свиней.

— Не, сынка! — весело ответила крестная.— Давно не держим. Отчертовались! Наступил отдых и покой.

— А как же?..

— Шо как же? — спросил Карпо.— Обходимся,— кивнул он на стол и пояснил: — Магазин всем снабжает. Да и тяжело стало нам с ими возиться — мы ж не молодые уже. А его три раза в день надо покормить, а корм надо приготовить...

— Много, много возни, што там и говорить,— поддержала мужа Ульяна.— Одни чугульки с варевом потаскай — так пупок живо надорвешь. Да и резону нема держать, с кормом трудно.

— Это одно,— поддержал Карпо жену.— А другое... Ото ж как запретили держать, отвыкли, так теперь уже и охоты нема вертаться к тем делам. Были бы мы с бабкой помоложе...

— Жаль... А кому ж вы будете сухари скармливать?

— Какие сухари? — удивился Карпо.

— Да те, что в полосатом чувале у вас хранятся.

— Э-э!.. Вспомнила баба курочку рябу,— засмеялась Ульяна.

— А ты иди в чулан и погляди — стоит тот чувал или, может, его уже там нема. — Карпо потянулся за сыром.

— В чулане нет, я видел. На чердаке, наверное?

— И на чердаке нема, — спокойно сказал Карпо.

— Вспомнил! Давно нема тех сузарей, — сказала Ульяна. — И чувал тот я давно на тряпки порвала — полы мыть.

— А как же?..

— Опять «как же»! — Карпо двинул плечами. — Шо как же? — И сощурил хитро глаза: — Ты, разом, не из глуши какой приехал? Шо-то ты от жизни дужа отсталый. Рази ты не слышишь, — кивнул он на телевизор, — што в мире по всем статьям идет замирение?

— Замирение — да, а сушь вот, неурожай?

— Неурожай тут, в нашем краю, а в другом — урожай. Держава наша огромная, не может так, шоб на всей территории был неурожай. Мы ж не Хранция какая-нибудь. А если даже и на всем Союзе неурожай, так все одно не страшно: купим у других держав. Шо мы, бедные? Будя жалиться, бедковали когда-то, теперь не то время. Ишь нашел чем пужать! Мы, брат, тоже в политике разбираемся, грамотнаи стали.

Уходил я от Карпа в каком-то удивительно спокойно-приподнятом настроении. Он всегда действовал на меня как барометр, предсказывающий то бурю, то ясно. Сегодня было ясно, так ясно, что, зайдя на улице самого младшего Неботова с голубем в руках и с задранной вверх лицом, я подошел к нему и попросил поддержать голубя. Он удивился такому желанию взрослого, но охотно отдал мне крупную, тугую птицу, которая не вырывалась, а только беспокойно крутила головой и то и дело косила глазом вверх.

— Там летают? — спросил я.

— Ага, — сказал гордо мальчишка и, сощурившись, уставился в небо.

Я тоже стал искать в глубокой синеве голубей и с трудом увидел в самой вышине ее несколько еле заметных черных точек.

— Сколько там?

— Не знаю.

— Ого! У тебя так много голубей? Сколько?

— С полсотни, — сказал он.

— Богач! У нас бывало пары по две, по три, а уже если пять пар!..

— Вы держали голубей? — обрадовался чему-то мальчишка.

— Держал! У меня была парочка влюбленных. Вспугну, бывало, голубя одного, взлетит вот так же — не видно. А как только вынесу голубку, подниму, она крылом взмахнет, и всё — голубь тут же снижается.

Заулыбался младший Неботов, показал мне доверчиво свои зубы с щербатинкой:

— И у меня есть такая пара! Вот эта голубка, а голубь там. Поднимите ее, пусть крылом помашет...

Я сделал, как учил мальчишка, и вскоре одна точка стала быстро увеличиваться в размерах и приближаться к земле. А еще через какое-то время крупный с красными боками белый голубь опустился мне на вытянутую руку и принялся ворковать.

Вслед за ним стали снижаться и другие. Голуби, словно выдерживая кем-то установленные интервалы, парили столбиком один над другим и по одному, красиво и спокойно, опускались на крышу, возвращаясь из далекой и чистой голубизны...

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . .	103
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . .	263

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

*Михаил Макарович Колосов*

### ТРИ КУЛЯ ЧЕРНЫХ СУХАРЕЙ

ИБ № 8619

Ответственный редактор *В. М. Писаревская*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *Г. В. Гагарина*. Корректоры *Т. В. Беспалая, И. В. Козлова*. Сдано в набор 24.02.86. Подписано к печати 04.09.86. А10204. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 21,32. Уч.-изд. л. 21,31. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2952. Цена 90 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр. М. Чернявский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





